

НОВЫЙ МИР

ж,
177525

9

МОСКВА

1943

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Москва, 1943 г.

№ 9

Год издания XX

СОДЕРЖАНИЕ

| | Стр. |
|---|------|
| СЕРГЕЙ МИХАЛКОВ — Стихотворения | 2 |
| АЛЕКСАНДР КРОН — Глубокая разведка, пьеса в 4-х актах. | 4 |
| МАРИЯ КОМИССАРОВА — Прощанье, стихотворение | 39 |
| ИВАН НОВИКОВ — Пушкин на Юге, роман. Продолжение | 40 |
| АЛЕКСАНДР ДРОЗДОВ — Зеленый сад, повесть. Окончание | 67 |
| ГАЛИНА МОРОЗОВА — Земля родная, стихотворение | 99 |
| МИХ. ГОЛОДНЫЙ — Из новых стихов | 100 |
| | |
| Е. ТРОЩЕНКО — Поэзия поколения, созревшего на войне. Статья вторая: Мargarита Алигер | 102 |
| ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ — Долг писателя | 111 |
| А. ДЕРМАН — «Генерал Багратион» | 117 |

БИБЛИОГРАФИЯ

| | |
|---|-----|
| Н. ГУСЕВ — Русские писатели о пруссачестве | 119 |
| О. РЕЗНИК — «Железная дорога» | 122 |
| В. КИРПОТИН — Алишер Навои и его поэма «Фархад и Ширин» | 123 |
| А. Д-Н — Слабая книга о сильном человеке | 126 |
| Коротко о книгах | 127 |

СТИХОТВОРЕНИЯ

СЕРГЕЙ МИХАЛКОВ



СОЛДАТ

— Солдатык мой, касатык мой,
Товарищ дорогой,
Я своего ждала домой,
А вот зашел другой.

Зашел: — Хозяйка, есть попить?
— Найдется, в добрый час.
Кого встречать, кормить, поить
Сегодня, как не вас!

— А можно валенки разуть,
У печки просушить,
Да крепкой ниткой как-нибудь
Шинель в плече зашить?

Летела пуля — порвала.
И надо же задеть!
Как будто в поле не могла
Сторонкой пролететь.

— С утра в печи дрова горят,
Чтоб ты обсохнуть мог.
Садись к огню, сушишь, солдат,
Снимай, солдат, сапог.

Как дома, будь в моей избе,
Давай шинель свою.
Я, как хозяину, тебе
Сейчас ее зашью.

И где-то он, хозяин мой,
Когда мне ждать его домой?..

Присел солдат на табурет,
Солдата клонит в сон.
Трофейных пачку сигарет
С трудом вскрывает он.

Хозяйка смотрит на стрелка:
— Да ты устал, видать?
Приляг, сынок, вздремни пока.
— И то, прилягу, мать..

...А шел боец издалека,
И все с боями шел.
Была дорога нелегка
От городов до сел.

И было некогда ему
Ни есть, ни пить, ни спать.
Все надо было моему
Солдату воевать.

Его бомбили — он лежал,
К нему летел снаряд,
В него стреляли — он бежал
Вперед, а не назад.

— Чем дальше я пройду вперед,
Мечтал солдатик мой, —
Тем больше хлеба в этот год
Засеем мы весной.

— Чем больше немцев уложу, —
Смекал он на ходу, —
Тем раньше путь освобожу,
Скорей домой приду.

При немцах на моей земле
Мне не бывать в родном селе.

И беззаветно потому
Солдат мой воевал,
И было некогда ему,
И он ночей не спал

А то, что пачку сигарет
Он поднял на пути,
Так это просто мочи нет
Без курева итти!

Лежит солдат, храпит солдат,
Командует во сне.
Рукою обнял автомат —
Привык ведь на войне!

— Проснись, солдат, хоть сон глубок,
Как ни мягка постель.
Просушен валеный сапог,
Зачинена шинель.

— И то, встаю. Спасибо, мать!
Наспаася за троих!
Мне не придется догонять
Товарищей своих!

Хозяйка смотрит на стрелка:
— Когда ж войне конец?
— Определить нельзя пока, —
Ответствует боец.

— Но все же думается мне,
Что недалек конец войне..

Сказал солдат и вышел он
На улицу села,
А по селу со всех сторон
Дивизия текла.

Коням на гривы падал снег,
В степи мела метель.
Вперед шел русский человек,
Ремнем стянув шинель.



ТЫ ПОВЕДИШЬ

Когда тебе станет тяжело
В упорном и долгом бою,
Возьми себя в руки, товарищ,
И вспомни свою семью.

Отца своего седого
И мать, если мать жива,
Ты вспомни ее простые
Напутственные слова.

Она твои письма прячет
И пусть со слезами, пусть,
Тобою гордясь, соседям
Читает их наизусть.

Ты вспомни еще, товарищ,
Жену, если есть жена,
Как ждет она, не дождется,
Как любит тебя она.

Как в доме твоём семейном
Заметна ее рука,
Как люди ее называют
Женою фронтовика.

Ты вспомни, товарищ, сына
И дочь, если дети есть,
Портрет твой в военной форме —
Их гордость, их детская честь.

Они тебе пишут письма
И видят тебя во сне,
Они говорят сегодня:
— У нас отец на войне!

Но если, товарищ, ты холост
И нет у тебя семьи,
И умерли самые близкие
Родственники твои,

То есть у тебя, я знаю
(не могут не быть у бойца!),
Преданные товарищи,
Испытанные сердца.

Может, сидевшие в школе
С тобой на одной скамье,
Может быть, росшие вместе
С тобою в одной семье.

Те, которым ты дорог,
Которые рады знать,
Что жив ты и что воюешь,
Не думая умирать.

Ты вспомни о них, товарищ,
В тяжелый и трудный час,
Когда ты на поле боя,
Как будто в последний раз.

Они в твои силы верят
И в храбрость твою, и в честь,
И в то, что ты твердо знаешь
Горячее слово: мечь!

За колос, в полях несжатый,
Потоптаный сапогом,
За голые, черные трубы
В селе твоём дорогом.

И если ты это вспомнишь,
То силы к тебе придут,
И штык твой станет острее
За несколько этих минут.

И немец, бравший Варшаву,
Входивший маршем в Париж,
Погибнет в твоей России,
А ты в боях — победишь!

ГЛУБОКАЯ РАЗВЕДКА

Пьеса в 4-х актах

АЛЕКСАНДР КРОН

★

РОЛИ:

| | |
|--|-------------------------------------|
| Александр Майоров | Теймур, инженер, его помощник |
| Андрей Гетманов, начальник нефтеразведки | Газанфар, чернорабочий |
| Гулам Везиров, его первый заместитель | Семен Семенович, комендант |
| Морис, геолог | Марго, жена коменданта |
| Мехти Ага Рустамбейли, главный инженер | Марина Гетманова |
| Иван Яковлевич Андреянов, буровой мастер | Ольга Петровна Андреянова |
| | Клава Андреянова, шофер |
| | Фатъма-Ханум, жена Гулама, радистка |

Отдаленный район Азербайджана. Нефтяная разведка. Лето 1941 г.

Акт I — «День»

Акт II — «Вечер»

Акт III — «Ночь»

Акт IV — «Утро»

Между III и IV актами проходит 1½ месяца.

★

АКТ I — «ДЕНЬ»

Квартира начальника разведки в деревянном бараке. Досчатые неструганные стены. На всей обстановке отпечаток случайности, временности, как будто здесь еще не начинали жить. На столе разбросанные полотноша диаграмм, рулоны чистой кальки. Старомодный телефон с ручкой. На табурете таз с мыльной водой.

В глубине дверь, ведущая на застекленную веранду. Боковые двери скрыты портьерами из выгоревшего ситца.

Беспощадное азербайджанское солнце осаждает барак. Сквозь висящие на окнах влажные простыни, сквозь щели цыновок и дыры москитных сеток оно врывается в полумрак комнаты десятками жарких зайчиков. В световых потоках плавают рои раскаленных пбблинок.

Марго. В ползабытье откинулась на спинку стула. Ей около сорока, она опустилась и располнела, но еще очень красива. Ее буйная крашенная шевелюра подхвачена бечевкой, пестрый сарафан расстегнулся на спине.

Комендант. Приготовился диктовать. Пот катится по отполированной коже бритой головы. Он в наглухо застегнутой гимнастерке и высоких сапогах. Его мохнатые брови и литые челюсти имеют очень внушительный вид.

Марина. Бытирает только-что вымытые волосы. В своей белой майке она кажется по-девичьи юной.

Они изнемогают от жары.

Комендант (помолчав). Ну, Маргарита! Не перегирай время. Поехали дальше. Так? (Пауза). Ну, ну, Маргоша. Давай, нажми. (Пауза) А ну — с новой строчки... Так?

Марго. Отстань.

Комендант. А я тебе заявляю — есть установка повернуть в штурмовом порядке. Понятно, нет? По распоряжению, лично, Андрей Михайловича. Все! Кровь из носу, вопрос исчерпан. (Пауза) Так?

Марго. От-стань.

Комендант. Тебе же авторитетно разъясняют... Тьфу! Я, Марина Григорьевна, с детства на руководящей работе. С подчиненным человеком я всегда могу толковать, и случая того не было, чтоб он меня не понял. А вот жена — так с ней я хуже затрудняюсь. Стараешься подойти со всей чуткостью, бьешь на то, чтоб человек осознал, толкуешь, толкуешь и всё одно, что с монументом каким безответственным. Эффект, равный нулю. (Взглянул на часы.) Времени — тринадцать часов. Так? Вот и считайте. Сорок второй прибывает из Баку — десять пятьдесят две. Так? Шсфер у меня с утра на станции. От станции, через Соленую балку, у нас считают — три часа. Так? Всё! Шуточное дело — такая комиссия! Вы думаете — она это понимает? Она этого не понимает.

Марина. Ох, я тоже что-то плохо вас понимаю. Вы извините... Да успеете вы. Еще опоздают, наверно...

Комендант. На поезд я ничуть не возлагаю, Марина Григорьевна. Шсфер — тот, объективно, может. Это еще возможно надеяться. Пошлешь машину — так это обязательное дело, где-нибудь ввернется. Это бывает.

Марина. Ого!

Комендант (строго). Ну это тоже — знаете — не следует обобщать. Так? Бывают отдельные факты. Так нет — нынче, как на-зло, Андреянову на рейс назначил. Ударницу. Это такая карьеристка — она вам по гвоздям проедет. (Вздвинул). Нет, не опоздают.

(Марина смеется.)

Комендант. Не знаю, что вам смешно. Вот вы спите до полдня, а Андрей Михайлович с раннего утра носится — жару поддает.

Марина. Ну, хорошо, хорошо...

Комендант. Вот именно, что ничего хорошего нет. Добро, была бы простая комиссия. Так? Обыкновенная комиссия для нас ничего не составляет. К этому-то мы привыкли — к обыкновенным.

Марина. А эта — необыкновенная?

Комендант. Как? Нет, похлеще. Высоко-авторитетная. Имеет от треста все права. Постановят разведку прикрыть: все! Никакая сила!

Марина. Глупости.

Комендант. Извините! Вполне. Пятый год сидим на земле, семь миллионов всадили, а нефти не видели. Теперь подходят очень строго. Маргарита! Воскреснешь, нет? Андрей Михайлович с меня требует. На разведке надо по-военному. Приказано — значит хоть гут земля провалится...

Марго. Ну и пусть.

Комендант. Что — пусть?

Марго. Пусть провалится.

Комендант. Маргарита! Я с тобой официально говорю.

Марго (открыла глаза). Да ты что — сбесился от жары? Официально! Очнись. Ты с кем говоришь? Кто я тебе?

Комендант. Вот это так! Ну, ну? Кто?

Марго. Кто? Никто. Жена здешнего коменданта. Всё! Стучу одним пальцем, чтоб время убить, а надоест — наплюю и брошу. Официально!

Комендант. Обывательская установка.

Марго. Я и есть — обыватель. Не знал? И успокойся. Ты меня лучше не трогай. Я, сейчас, либо разревусь, либо начну ругаться, как... персидский амбал.

Марина. Ну, нет, Марго. Пожалуйста.

Марго. А ну его! Вы подумайте, Мариночка. Он все злится, что я его долдон зову. А разве не долдон? Вчера вечером захожу я к Морису. Он хороший старик, очень ласковый. Лежит большой, целый день один. Сажу на кровати, плету небылицы, просто так, для смеха. Он тоже про что-то мелет. Вдруг слышу — за окном сапоги поскрипывают. Знакомый такой скрип — что-то родное... Прихожу домой — скандал. Морис — то, Морис — сё!.. Попал пальцем в небо. Ревновать тоже надо с толком, а фантазий я знать не хочу. Поймаешь — ну, твое счастье, тогда молчу. Кричи в голос, грози, называй шлюхой, но опять — говори настоящие слова. А о чем он горюет? Авторитет я ему, оказывается, подрываю.

Комендант. Маргарита! Ну, ладно... Всё!

Марго. Все равно скажу. Пристал, нет мочи: обещай, что прекратишь с ним всякие встречи. А мне лень спорить. Ладно, говорю, нужны-то вы мне оба... Гляжу, сует мне какую-то бумажку. Я сначала не поняла. Оказывается, он с меня расписку требует.

Марина (смеется). Семен Семеныч! И вам не стыдно?

Марго. Осрамила — так теперь стыдно.

Комендант. Дура и больше нет ничего.

Марго. Дура? Скажи мне кто другой — я бы обиделась. А ты дурачка от умного отличить можешь?

Марина. Марго!

Марго. Дура, дура. Мужики виноваты. На моей жизни умный мужик, обязательно, либо подлец, или же тряпка. При белых, жила я в Ростове, у теток. Девчонка была совсем. Ну, познакомилась с одним. Чорт его знает, кто он был. В общем — тип. Слов — полон рот. Называл меня — белокурая королева Марго. Сволочь! Он-то знал, что я красная телка и больше ничего, а я так весь век и прожила, белокурой королевой.

Командант. Это все — психология.

Марго (не слыша). Была помоложе — так мужики за мной стаями ходили. И от умных столько же проку, что от дураков. Со мной глупели. Ни в чем отказу, — что ни соврешь, все мило. Ангел, и тот сгниет. Второй мой муж — с высшим образованием, член и корреспондент каких-то там наук. А я знаю свое — захочу, будет у меня в ногах валяться и жалостные слова молот. Теперь угоминилась и вижу — перехитрили меня умники. Никто от моей красоты не помер, у всех жизнь дальше катится, каждый при своем деле. Одна я какая-то... (Неожиданно закрывает лицо руками и начинает громко всхлипывать.)

Командант (спокойно). Истеричка.

Марина (внимательно посмотрела на него, покачала головой). Удивительный вы человек. Каждый день вас вижу, а все не могу привыкнуть. Принесите воды. (Наклонилась над Марго). Марго! Маргоша, не надо, милая! Успокойтесь. Все-то вы выдумали... Семен Семеныч, ну где же вы?

Командант. Иду. (Вернулся с веранды с кружкой воды в руках. Взял трубку загудевшего телефона.) У аппарата — командант поселка. Говорите. Как? Слушаю вас, Андрей Михайлович. Тсс! (Вытянулся у аппарата, забыв про кружку.) Как? Докладная? Сейчас будет готова. Страничек шесть, больше не будет. Есть, Андрей Михайлович, я отлично понимаю. Тут объективная причина — жена ревет. А? Разве у них поймешь? Как?

Марина (возмущенно). Семен Семеныч!

Командант. Тссс! Как? Машина с утра на станции. Вскоре ожидаю. Сейчас будете? Слушаюсь. (Кладет трубку, вытирает лоб и механически отхлебывает из кружки. Затем, спохватившись, отдает ее Марине). Андрей Михайлович приказал воды горячей заготовить, для бритвы. Уж вы поймите заботу. Рубашечку чистую...

Марина. Хорошо, хорошо. Выпейте, Марго. Теперь, улыбнитесь. Прошло?

Марго (улыбнулась). Не понимаю, что со мной делается. Жара, наверно. Мехти говорит — от здешней жары даже овцы шалеют. Кружатся, кружатся, а

потом хлоп наземь. (Пьет.) Фу! Теплая, противная... Из-за тридевять земель возят и такую дрянь. Весь поселок стонет от этого пойла, и ни одному дьяволу в лоб не вскочит позаботиться. Хамские порядки — только людей злит.

Командант. Ну, этого мы здесь не будем обсуждать. Так? Надо будет — мне укажут.

Марго (засмеялась). А я разве про тебя, Семен? Тогда молчу. А пить все-таки хочется. (Пьет). Я в Баку видела машину — делает лед из электричества. Такие ровные кубики. Называется... блюминг, крекинг?

Командант. И опять — дура. Реф-же-ратор.

Марго. Может быть. Чорт их разберет. Достань, Семен. Это ты умеешь.

Командант. Не имею указания. Мне было бы сказано. Я нажму. Вот, надо было машинку с большой кареткой. Поищите! Я из горла вырвал. (Взглянул на часы, ужаснулся.) Ты меня зарезала, Маргошка! Комиссия с меня спросит. Так?

Марго. Так, так, так. Не нуди. (Рванула каретку). Ну, что там дальше?

Командант. В результате глубокой разведки пластов... (Стук в дверь, с веранды). Кто? Что надо?

Газанфар (появился в дверях. Молодой геркулес с детски добродушным лицом. Одна рука забинтована). Салам. Начальник — есть?

Командант (важно). Как видишь. Ну, ну? Что надо?

Газанфар. Ты есть — я вижу, да. Елдаш Гетманов, Андрей Михайлович — есть?

Командант. Нет его. Сколько раз надо говорить, чтоб не шлались к нему на квартиру?!

Газанфар. Зачем кричать? Ишак кричит — так он говорить не может. Подожду, да. (Вышел.)

Марина. Грубо, Семен Семеныч. Я у себя дома. Никто вас не просит распорядиться.

Командант (убежденно). Нельзя, Марина Григорьевна. Иначе вам жизни не будет. Большое дело — Газанфар! Обыкновенный некультурный кочевник — и больше нет ничего.

Марина. Не кочевник, а кочевник.

Командант. Это разницы не составляет. Все равно — чудак. Увидел буровую — давай канючить: возьми. Взяла его глину мешать, так он теперь и ест, и спит на буровой, чуть ли не молится на эту вышку.

Марго. Не молится, а песни поет.

Командант. Вчера на «Саре» обшивка загорелась. Ему бы тушитель взять — так? Куда! С гольями руками полез. Ну — спалил лапу. Дикий народ!

Марина. Сами-то вы дикий. Надо уважать людей — понимаете?

Комендант (вздыхнул). Слушаюсь. Марго. Ничего не понял. Давай дальше, Семен.

Комендант. Запятая. Написала запятую? Вычеркни ее к шуту. Пиши — установлено... (Стук с веранды). Кто? Что надо?

Голос Майорова. Мне нужно видеть товарища Гетманова.

Комендант. Нет его. Установлено... вот теперь запятая, что... (Опять стук). Марина. Войдите.

Комендант (вскочил). Сколько раз надо говорить!.. (Сталкивается в дверях с незнакомым человеком и отступает). Вы откуда, гражданин? Ваши документы?

Майоров (вошел. Ему лет тридцать шесть. Покрытое темным загаром лицо. Одет в засаленный комбинезон, белый от пыли. Неторопливо оглядел коменданта, потом увидел Марину). Марина?!

Марина (вздрыгнула). Сашка?! (Подбежала, порывисто обняла и расцеловала). Сашенька!

Майоров (радостный и слегка смущенный). Погоди... Ты что здесь делаешь?

Марина (расхохоталась). Что я здесь делаю? Я здесь живу.

Майоров. Постой, постой... Ага — понял. Ты — с Андреем?

(Марина молча кивнула головой. Пауза.)

Комендант. Ваши документы, гражданин.

Майоров. Обождите. Ах, шут вас возьми. Я ничего не знал. Давно?

Марина. Пять лет. Или нет—больше. Комендант. Ваши документы.

Майоров. Обождите. Я никуда не убегу. Вы же видели — мы целовались? Значит — мы знакомы.

Марго. Да отстанешь ты, Семен?

Марина. Сашка! Черный, толстый, лобастый какой-то... А грязный! Ты меня всю выпачкал, а я-то вымылась. Ты надолго? Вот Андрюшка удивится! Сейчас я тебя буду мыть. Вот тебе таз, вылей, сполосни. На тебе полотенце. Где твои вещи?

Майоров. Там. В этой... как ее... в конторе. (Идет на веранду). Куда выливаеть?

Марина. Прямо на улицу. Не беспокойся — высохнет. Возьми чайник с керосинки, Сашка! Ты встречал кого-нибудь с нашего курса? (Ответа нет). Марго! Это Саша Майоров. Сразу понял? Он чудный парень — я его обожаю. Мы с Сашкой в институте были первые тупицы, а Андрей нас тянул за уши. Ужасно я рада. Даже не знала, что могу так обрадоваться. Сашка! Ты где? Иди сюда, Покажись.

Майоров (вернулся). На — смотри. Ну — как?

Марина (после паузы. медленно).

Какой ты стал... удивительный. Совсем какой-то другой.

Майоров. Я уже слышал: толстый, лысый...

Марина. Не дури. Я помню — ты был всегда какой-то скованный, напряженный... Вот не могу найти точного слова.

Майоров. Ну, скажем, — дубоватый?

Марина. Опять? А теперь ты как-то стал просторнее. Я не умею объяснить. Ну, ты понял?

Майоров. Приблизительно. Это что — хорошо или плохо?

Марина. Дурень, ну что с тобой говорить, Сашенька! Ты зачем сюда?

Майоров. Работать.

Марина. Честное слово? Андрей будет страшно рад. Ему так люди нужны.

Майоров. Зачем? Толпа народу, а бурят один пятый номер.

Комендант. Много, а работать не с кем.

Марина. Познакомьтесь. Семен Семенович — наш комендант. Марго — моя подруга. Майоров Александр... Александр...

Майоров, Гаврилович. (Взглянул на облачение коменданта). Слушайте, зачем вы себя так мучаете? Жарко ведь.

Комендант. Военная привычка.

Майоров. Долго ли служили?

Марго. Вы меня спросите. В командирской столовой, завхозом, шесть месяцев. И то — выгнали.

Комендант. Маргошка!.. Ну, хорошо. Мы поговорим... в другом месте.

Марина (тихо). Слушай, Сашка. У тебя какие-нибудь неприятности?

Майоров. У меня? Нет. Откуда ты взяла?

Марина. Ты извини, пожалуйста. Просто я подумала... зачем тебя — сюда?

Майоров. Здравствуйте! Это говорит разведчик! Армия оказывает солдату честь, посылая его в разведку.

Марина. Это очень красиво звучит. Все это, конечно, верно. Верно — вообще.

Майоров. А что здесь — плохо?

Марина. Сашенька, а что же хорошего? Живем у чорта на рогах, ни воды, ни дорог. Джейраны кругом бегают — видел? Такие дикие, что даже машин не боятся. Пустыня. Дни, как стертые пятки, — один похож на другой. Как в ссылке. Что ты улыбаешься? Что-нибудь не так говорю? Ну, конечно, А жара! Такая, что кочевники и те летом уходят. На эти... ну как их... такие горные пастбища, вроде альпийских?

Майоров. На эйлаги.

Марина. Верно — эйлаги. Я забыла. Откуда ты знаешь?

Майоров. Знаю, да.

Марина. Ты говоришь совсем, как настоящий бакинец. (Передразнила). Знаю, да.

Майоров. Я и есть настоящий бакинец.

Марина. Ах, еслиб не Андрей, я бы пешком ушла отсюда. «Елу-тапе!» Мертвая долина. От одного названия можно загосковать. Кочевники говорят — долина несчастий. Легенда какая-то есть. Ты знаешь — похоже на правду.

Майоров. Разведчик впал в мистику.

Марина. Разведчик? (Отвечает на молчаливый вопрос). Я не работаю, Саша. Ты же знаешь, я ушла с третьего курса. Андрей кончил институт, его сразу послали в Баку. И я тоже поехала. Ты не догадался?

Майоров. Нет. Постой. Ты мне говорила, что едешь на год к своим. То ли в Сальск, то ли в Ейск? У тебя заболела мать...

Марина. Я и думала — на год. А вышло — совсем. (Нервно). Марго! Знаете что — переезжайте туда, ко мне. Здесь мы вам мешаем. Семен Семенович, помогите же ей, (Командант и Марго переносят машинку в соседнюю комнату). Не знаю, зачем я солгала тебе насчет матери. Глупо.

Майоров. А здесь вы давно?

Марина. Почти год. Ты знаешь — у Андрея выговор.

Майоров. За что?

Марина. Я не очень понимаю, Андрей тебе лучше объяснит. Для меня, до сих пор, все очень странно. Он работал в Баку, начальником промысла. Был страшно увлечен, вдвое перевыполнил план, должен был получить повышение. Вдруг его снимают, записывают выговор — знаешь, за что? За хищничество. Ты подумай! Смешно. Просто зависть, интриги. Теперь загнали в эту страшную дыру...

Майоров. Андрей опротестовал выговор?

Марина. Нет. Ты ведь знаешь, какой он. Признал себя виновным и даже мне грубит, когда я возмущаюсь. Ты что-нибудь понимаешь?

Майоров. Так, может быть, он на самом деле был виноват?

Марина. Андрюшка — хищник?!

Майоров. Видишь ли... В нашем деле это слово имеет особый смысл. Бывает, что люди хотят блеснуть и начинают грабить недра. А природа халтуры не терпит. Нынче — двести процентов, а через полгода скважина истощена и всё к черту.

Марина (задумалась). Я понимаю. (Быстро). Сашка! Чайник кипит, марш мыться, разговоры потом.

Майоров (бросился на веранду, слышен грохот таза, плеск воды и фырканье). Маринка!

Марина. Что?

Майоров. Хорррррррррррр!

Марина. Дурень. Слушай, Сашка. Скажи честно — ты что-то знаешь?

Майоров. Ой!

Марина. Что ты?

Майоров. Мыло в глаза.

Гетманов (стремительно вошел, ему лет тридцать, он очень четок и быстр). Приехали?

Марина (все еще задумавшись). Кто, Андрюшка?

Гетманов. Как кто? Комиссия. Мехти вернулся?

Марина. Нет еще. Послушай, Андрюшка...

Гетманов. Стоп, некогда. А чья машина стоит у конторы?

Майоров (с веранды). Моя.

Гетманов. Кто это?

Марина. Не угадаешь. Саша Майоров.

Гетманов. Что ты говоришь! Саша! Ты с поезда?

Майоров. Здравствуй.

Гетманов. Что?

Майоров. Во-первых — здравствуй.

Гетманов. Извини. Саша. Тут голову потеряешь. Ты с поезда?

Майоров. Да нет же — на машине.

Гетманов. Прямо из Баку? Однако ты — героический мужчина. Один?

Майоров. Один.

Гетманов. Работать?

Майоров. Точно. (Появился в дверях. На нем отличный светлый костюм)

Гетманов (обнял его). Ну, здравствуй. Очень рад. Скажи, пожалуйста, какой костюм! А диплом у тебя есть? Инженер? Слышишь, Марина? Поздравляю. Ты мне нужен. Надоело тащить этот воз одному.

Майоров. Как одному? А заместителя нет?

Гетманов. Три.

Майоров. Вчера кто-то из твоих пытался вырвать у треста семьсот метров буровых труб сверх лимита. Крупный наглец.

Гетманов. А, Мехти! Как инженер — не горяч уголек, но это — может. Мехти — еще туда сюда. Другой — геолог — тот просто сумасшедший.

Майоров. Весело. Кто первый заместитель?

Гетманов. Везиров Гулам. Мой выдвиженец. Азербайджанец, орденносец, из буровых мастеров. Все качества.

Майоров. Толковый?

Гетманов. Что? Ты Мехти видел? Так вот Мехти — Бисмарк против моего Гулама.

Майоров. Весело.

Гетманов. Увидишь, что здесь за публика. И всю эту банду нужно держать в руках. До меня здесь шорт знает что делалось. Кладбище. (Схватил чертеж). Вся надежда на «Сару».

Майоров. Кто это «Сара»?

Гетманов. Марина, есть вода? Ру башку — после. Я потный, как... не знаешь кто. Самому противно. Что ты говоришь.

Саша? Кто такая «Сара»? Угадай. «Сара» — это буровая. Пятый номер. Заложена в день, когда у нашего Гулама родилась дочка. Тоже — Сара. Вот смотри. Когда я пришел сюда, было пробурено шестьдесят метров. А на сегодня пройдено около двух тысяч. Подходим к проектной глубине. Если всё — тьфу, тьфу — будет в порядке, я ставлю рекорд скоростного бурения в условиях глубокой разведки. Понимаешь, чем это пахнет? Семен Семеныч!

Командант (высунулся). Слушаю, Андрей Михайлович.

Гетманов. Докладная готова?

Командант. Сейчас будет готова.

Гетманов. Копаются. Давайте пока приказ об увольнении этого пьяницы... как его... Курочкина, Марина! Срочно — бриться. Ты извини меня, Саша. Откровенно сказать — не до тебя. Ты меня поймешь.

Майоров. Уже спял. Пожалуйста, обо мне не беспокойся.

Гетманов. Располагайся, как дома, отдохни, почитай что-нибудь. А насчет того, куда тебя определить, я что-нибудь придумаю. (Командант приносит бумаги). Так, так, так... Правильно. Курочкин — а пьет. Сухой закон на разведке еще никем не отменен. Стоп! Что сие значит?

Командант. Как?

Гетманов. Почему вы изволите подписываться — начальник комендатуры? Что это за новости? И откуда у нас в поселке взялся комендатура?

Командант (смущен). Я полагал... так будет авторитетнее.

(Майоров сдавленно фыркнул.)

Гетманов. Вздор. Исправьте. Вы — прелестный комендант, но вам недостаёт юмора. (Пауза). Ну, что вы надулись?

Командант. Андрей Михайлович, если с моей стороны есть какие недостатки или упущения — укажите. Так? А зачем же при посторонних?

Гетманов (засмеялся). Это не ваше упущение, Семен Семеныч. Юмор — это уж, так сказать, от бога. Не обижайтесь. (Командант вышел). Тоже — номер! (Увидел входящего Газанфара). Что тебе, Газанфар? Быстро.

Газанфар. Салам¹, елдаш начальник. (Подает бумагу).

Гетманов. Салам. (Просматривает бумагу). Стоит научить человека грамоте — первым делом он пишет заявления. Шучу. Значит — в бурильщики? Понимаю — вместо Курочкина? Не рано ли, Газанфар?

Газанфар (умоляюще). Елдаш начальник... Менелюм².

Гетманов. Вижу — не терпится. Надо подумать. Чорт! Момент-то уж очень ответственный. Последние дни. Ты не боишься, Газанфар?

Газанфар. Меня Теймур учил. Зачем бояться? Могу тормоз держать лучше твой Курочкин. Ты свое дело знаешь — разве ты боишься?

Гетманов. Вот что — с этим к Гуламу. Его компетенция — пусть решает. Понял? До свидания.

Газанфар. Вот Гулам пришел.

Гулам (вошел. Он худ и невзрачен. Лет около сорока, одет в рабочий комбинезон. Говорит тонким голосом). Салам, Андрияша.

Гетманов. Салам. Знакомся, Саша. Гулам — моя правая рука. Один из лучших мастеров на Апшероне. Ты почему орден перестал носить? А. Гулам?

Гулам (угрюмо). Так.

Гетманов. Надень. Обязательно — слышишь? И почему тебя в конторе никогда нет? Вот все и лезут ко мне.

Гулам. Я на «Сару» ходил.

Гетманов. Зачем? Там без тебя люди есть. Говоришь ему, говоришь, а отвернешься — он контору запер и шасть... (Передает бумагу). На, решай.

Гулам (прочел, взглянул нерешительно на Гетманова). Можно, Андрияша?

Гетманов. Вот ты и решаешь. В своей сфере — ты полный хозяин. (Пауза). Если хочешь знать мое личное мнение... В общем — подумай.

Гулам (поколебавшись, виновато взглянул на Газанфара). Нельзя. Бери бумагу.

Газанфар. Ай, Гулам! Зачем нельзя?

Гулам. Нельзя, да.

Гетманов. Стоп, Гулам. Разрешил — напиши. Отказал — тоже напиши. Это документ. Приучайся.

Гулам (мрачно вздыхая, пишет резолюцию). Нельзя, дорогой.

(Газанфар молча уходит.)

Гетманов. Как знаешь. Собственно говоря... Впрочем, тебе видней.

Гулам (решившись). Андрияша. Я пришел тебе сказать. Освободи меня. Не могу — даю честное слово.

Гетманов. Опять. Нашел время. Не болтай чепухи.

Гулам. Я опять ночь не спал — даю честное слово. Дай мне буровую, дай бригаду — я тебе рекорд сделаю. Что хочешь требуй — головой буду отвечать. А этого я не могу — бухгалтерии, канцелярии. Боюсь — я честно говорю. Так боюсь, как вот — маленький был — злого духа боялся.

Гетманов (Майорову). Видал? (Гуламу). Чудак. Привыкнешь. Что, я тебе не помогаю?

¹ Азерб. «Привет». Елдаш — товарищ.

² Азерб. непереводаемое. Вроде — «умоляю».

Гулам (уклончиво). Я ничего не говорю. Конечно, помогаешь.

Гетманов. Советую?

Гулам. Советуешь, конечно...

Гетманов. Стоп! Поддерживаю?

Гулам. Я тебе очень благодарен.

Гетманов. Ну?

Гулам. (упрямо). Менелюм, я тебя очень крошу, Андрюша.

Гетманов. О-ох! Ну, не приставай. (Поставил зеркало рядом с телефоном. Намылил лицо и взял трубку). Контра? Это вы, Фатма-Ханум? Вернулась машина? Нет? Что?

Теймур (заглянул в дверь. Молодой парень, курчавый и быстроглазый. Он тянет за рукав упирающегося пожилого мастера. Мастер солиден. В его бригом, мягком лице и всей фигуре сквозит ощущение собственного достоинства). Иди, Иван Яковлевич! Маэстро! Я тебя прошу. Иди, пожалуйста.

Иван Яковлевич (упираясь, ворчит, жо-ярославски окая). Оставь, Тимка. Сказал — оставь. Не буду я говорить. Все уже говорено. У меня тоже — самолюбие.

Теймур. Э, не будь мальчиком, знаешь.

Иван Яковлевич. Отпусти рукав. У меня дети старше тебя. Кому я говорю? Мальчишка!

Теймур. Э, э! Давай будем уважать друг друга.

Гетманов (в телефон). Хорошо. Приедут — сразу же звоните. (Бросил трубку). А! Ты мне нужен, Теймур.

Майоров (обернулся). Теймур?!

Теймур. Али! (Отпустил мастера и бросился обнимать Майорова). Здравствуй, отец.

Майоров. Ты здесь? Слушай — где старик?

Теймур. Старик тоже здесь. Мы с маэстро Иван Яковлевичем вместе при всех обстоятельствах жизни.

Иван Яковлевич (появился). Кто — старик? Я те дам старика! Здорово, сын. Показился. Вид у тебя очень прелестный. Конечно, не так, чтоб молоденький... (Целуются)

Гетманов. Как? Ты его тоже знаешь?

Майоров. Настоящие разведчики, как старые морские волки, — все знают друг друга.

Теймур. Пойдешь к нам на «Сару», Али? Вот это будет бригада: маэстро, ты, я, еще есть замечательный парень Газанфар. Четыре поколения разведчиков. Между прочим, уважаемая дирекция, — с Газанфаром будет конец? Ну, утвердила? (Пауза).

Гулам (мрачно). Нет.

Теймур. Почему?

Гулам. Подождем, да.

Теймур. Я поражаюсь — что такое с тобой стало, дорогой Гулам? Скажи —

ты разведчик, большевик или чиновник? Что подождем? Кого подождем? Человек пришел с кочевки, вырос у тебя на глазах, работает, как буйвол... Что тебе еще надо? Хочешь, чтоб обратно ушел — баранов гонять? (Рассердился). Саол, не надо ничего. Сегодня поставлю Газанфара к тормозу, под свою личную ответственность. И напишу в ЦК — пусть скажут, прав я или нет.

Гетманов. Тихо, тихо. Только без самоуправства. Выращивать местные кадры надо — это дважды два, и никто с тобой не спорит. Возможно, в данном случае, Гулам чего-то не додумал.

Гулам. Андрюша! Разве я...

Гетманов. Помолчи. И все-таки — я обязан выдвигаться за Гулама. Гулам сам выдвигается, он учится руководить. Я могу отменить его решение, но что тогда получится? Выходит: одной рукой я создаю ему авторитет, а другой его подрываю. Вот, сдадим «Сару», через пару недель решится вопрос о новых скважинах — пусть подает заявление. Правильно, Гулам?

Гулам. Конечно.

Гетманов (Теймуру). Правильно я ставлю вопрос?

Теймур. С одной стороны — правильно...

Гетманов. Инцидент исчерпан. И прошу тебя проследить, чтоб в эти дни на «Саре» стояли у тормоза только опытные бурильщики. Ясно? (Вытащил из стола папку). Теперь я тебя буду ругать. (Майорову). Куда ты, Саша? Ты нам не мешаешь.

Марина (уводя Майорова). Зато вы нам мешаете.

Теймур. Ругать? Я думал — хвалить. Ты смотрел наш проект?

Гетманов. Очень внимательно.

Теймур. Мы с маэстро Иваном Яковлевичем возлагаем большие надежды на твою поддержку.

Гетманов. Кажется, я их не оправдаю. Вредная затея, Теймур (Пауза).

Иван Яковлевич (махнул рукой). Эх! Говорил я тебе...

Теймур. Тш, не торопись. Можно узнать — почему?

Гетманов. Скажу. Я должен тебя предостеречь от серьезных ошибок. Ты молодой инженер, молодой парторг, горяч, и можешь, не разобравшись, наломать дров. По поселку уже ходят слухи, что «Сара» под угрозой аварии чуть ли не на краю гибели. Что Мехти-де загубил скважину, я зажигаю проект, указывающий единственный путь к чудесному спасению. В ответственной момент, когда решается судьба разведки, кому-то нужно порочить Мехти, меня, Гулама и сеять обывательскую панику. Объективно — это вражеское дело.

Теймур. Э, только не надо пугать. Побеседуем спокойно. Скажи, есть на

«Саре» кривизна? Я только хочу знать — есть или нет?

Гетманов. Я тебя вызвал не для того, чтобы ты мне задавал вопросы.

Теймур. Саол. Это правильно. А все-таки — есть?

Гетманов. При глубоком бурении незначительное искривление скважины неизбежно. И вообще — мне надоела твоя демагогия! До нефти осталось пройти каких-нибудь полсотни метров. По-вашему, я должен остановить все работы, потерять триста метров проходки, потерять рекордные сроки — для чего?

Теймур. Для чего? Здесь написано. Для того, чтоб выпрямить скважину, которую запорол твой дорогой Мехти.

Иван Яковлевич. Погоди, Тимка. Не лезь. Я, Андрей Михайлович, окончил двухклассное училище в городе Ярославле в одна тысяча восемьсот девяносто третьем году. В науке слаб. Но если трубы в забое трутся, — я это прелестно вижу. Кривизна есть большая и день ото дня ходит — этого я не могу вам объяснить. Но — добра не жду. И трубы надо сменять — это хоть кого спросите.

Гетманов. Трубы будут. Мехти обещал достать. (Прищурился). Трусито, мастер? Все аварии мерещатся?

Иван Яковлевич. Я не за себя боюсь, если желаете знать. Полста метров, с опаской, я и со старыми трубами пройду. Я вам так скажу — кривизна, она навсегда себя потом оказывает. Нынче вы скважину сбывли с рук — ан через год обязательно она вам сюрприз поднесет. Самый пакостный.

Гетманов. Я не понимаю одного — вы-то чего хлопочете? За повторное бурение трест не заплатит вам ни копейки.

Иван Яковлевич (приподнимаясь). Это вы без шуток говорите?

Гетманов. Кажется, вы приуныли, мастер? То-то и оно. Знаю я вас. Скажу больше, теряете рекорд — теряете премию. Устраивает?

Иван Яковлевич (медленно). Вот из-за этого, Андрей Михайлович, я и не люблю с вами говорить. Я тридцать пять лет в разведке и никто меня так не обижал. Меня нобельский приказчик грязной свиной ругал — зло меня брало, а обиды не было. Безобразно вы о человеке судите. Теперь делайте, как знаете, — я вам слова не скажу.

Гетманов. Ну, хорошо, хорошо. Прекратим разговор.

Теймур. Пожалуйста.

Гетманов (вдруг вспыхнул). Без угроз, пожалуйста. Ты вчера кончил институт и уже хочешь делать политику. Не выйдет!

Теймур. Э, давай будем уважать друг друга. Он — шкурник, я — карьерист, зачем так думать?

Гетманов. Я этого не говорил.

Теймур. А я никому не угрожал.

Иван Яковлевич. Ну, я пойду.

(Идет к двери. В это время на веранде топот ног и возбужденный голос.)

Морис. Это возмутительно! Это потрясающе! (Ворвался в комнату. Широкоплечий сутулый человек лет пятидесяти. Обветренное, с резкими крупными чертами лица, глаза разбойника из детской сказки и гудящий хриплый бас астма-тика). Это чорт его знает что такое! Я бы подобных субъектов лично расстреливал пулеметными очередями! Без всякой жалости!

Гетманов. Начинается беда! Спокойно, Морис. То же самое, но в два раза тише. Что-нибудь случилось?

Морис. Да! Да! Вот именно. Это невероятно!

Гетманов (вздрыгнул). Вы шутите.

Морис. Конечно — я шучу! Это гомерически смешно! Стоит мне свалиться, и все начинает итти вверх ногами. А Мехти Ага сидит в «Новой Европе» на крыше, пьет аперитив со льдом и плюет на все с девятого этажа.

Гетманов. Стоп, стоп, не надо бросаться словами. И не устраивайте паники. Можно подумать, что случилась авария.

Морис. Нет еще! Пока еще нет! Я хочу знать — какой грязный прохвост делал последний замер кривизны на «Саре»?

Гетманов. Тише, тише. Замер делал Мехти. Допустим, он не точен. Это еще не основание лезть на стену.

Морис (Вытаскивает смятые записки). Смотрите! Если вы разведчики, — вы должны видеть. Куда вы, мастер? Я хочу, чтоб вы посмотрели. (Иван Яковлевич уходит). Мехти Ага делает чудеса. Кривизна не прогрессирует, а становится меньше. Это не лезет ни в какие ворота! Я берусь доказать любой комиссии из юных пионеров, что замер производил не инженер, а налетчик. Это чудовищное вранье! Если Мехти не умеет работать с аппаратурой, так я сам буду это делать. Он запрет мне скважину, этот ваш красавец. Я требую — слышите, требую — остановить на «Саре» все работы и сделать точный замер по Шлюмберже. Вы что хотите — аварию?

Гетманов. Я хочу, чтоб прекратилась склока. Не проходит дня, чтоб вы не грызлись. Я не могу остановить буровую только потому, что у вас какие-то счеты.

Морис. Это чудовищно! Я шесть лет, как сукин сын, роюсь в этой земле. Я вижу ее насквозь с закрытыми глазами, и меня даже не спрашивают! Я здесь не нужен! К чертовой матери — я уеду отсюда. Дайте мне бумаги — я сейчас же могу написать заявление. (Садится к столу и быстро пишет).

Гетманов (улыбаясь). Это, кажется, двенадцатое.

Морис. Последнее. Не подумайте, пожалуйста, что Морис пошумит и отойдет. Нет! Я вам не игрушка. Мне пятьдесят лет! Если вы опять разорвете заявление, я напишу снова, я не выйду на работу — можете делать, что хотите. (Подает листок). Вот, пожалуйста.

Гетманов (меняет тон). Кажется, я теряю терпение, Морис. Раньше я относился все эти вопли и демонстрации исключительно за счет вашего анархического темперамента...

Морис. Да! Да! Я был анархо-синдикалистом! Был! Две недели в своей жизни, Это у меня болит до сих пор, хотя после этого я прожил еще тридцать лет. Зачем вам нужно каждый раз об этом вспоминать?

Гетманов. Вы сами об этом напоминаете. Но это к слову. Я вижу — вы сознательно ищете предлог, чтоб уйти.

Морис. Я?! Предлог?!

Гетманов. Да, предлог. А как еще прикажете вас понимать? Вы открыли «Еду-Тепе». Вы первый сказали вслух, что здесь нефть.

Морис. Да! Да! Я это сказал!

Гетманов. Так платите до векселя. Вы прекрасно знаете, что если «Сара» не даст нефти, никто не позволит нам закапывать в землю новые миллионы. «Сара» — ваша последняя ставка. А вдруг-пшик? Вот этого вы и боитесь.

Морис (опешил). Вы говорите чудовищные вещи!

Гетманов (веско). Подумайте над вашим заявлением. При создавшейся конъюнктуре оно очень скверно может выглядеть... политически.

Морис. Вы не имеете права так дурно меня понимать! Разведка — мое кровное дело! Я не наемник, а большевик, чорт вас возьми! Я был в партии, если бы моя дурость, которая мне стоит много крови и без ваших намеков. (Задохнулся, взмахнул руками и выронил принесенную с собой склянку. Из разбившейся склянки потекла глина. Теймур и Гулам молча усадили Мориса на стул).

Марина (выглянула на шум). Что случилось? Зачем вы встали, Морис? Вам надо лежать.

Гетманов (мягче). Идите домой, матвей Леонтьевич. Будем считать, что ничего не произошло. Отдохнете — будем работать.

Морис. Хорошо. Я остаюсь. Вы правы. Вы всегда правы.

Марина. Хотите воды?

Морис. Спасибо, голубка. (Целует ей руки). Спасибо. (Пьет). Я, наверное, вас перепугал своими воплями. Вы знаете, раньше в каждом глухом местечке был свой городской сумасшедший. Так вот я — здешний сумасшедший. (Наклонил-

ся к осколкам). Погибла свежая проба. (Озирается, увидел стеклянную банку). Детка, вам нужна эта банка? Отдайте ее мне.

Марина (смеется). Там же еще компот.

Морис. Чорт с ним — я доем. Отдайте? Чудная вы женщина. А я... я больше не буду шуметь.

Гетманов. Ну и отлично. Семен Семеныч! Готово?

Командант (выглянул). Сейчас будет готово.

Гетманов (Морису). Ну, что говорит проба?

Морис. Проба говорит, что нужно менять буровые трубы. Вот, смотрите. Это железные стружки. Да! Не забудьте включить в докладную, чтоб нам увеличили проектную глубину на двести метров.

Теймур. Двести метров!

Гетманов. Вы с ума сошли, Морис! Это невозможно.

Морис. Вздор! Если через двести метров мы не вскроем нефтеносного песка, значит, я старый болван и мне место в богадельне.

(Автомобильный гудок.)

Гетманов. Хорошо. Мы еще поговорим. Прошу товарищей меня извинить. Сейчас я буду занят.

Командант (не выдержал). Граждане! Сколько раз надо говорить!..

Гетманов. Семен Семеныч — я здесь. Не увлекайтесь.

Клава (вбегает. На ней шоферская куртка, штаны и сапоги. Юная, раскрепанная и злая, как ведьма). Андрей Михайлович, я к вам! Это же чистое безобразие...

Гетманов. Кто приехал, Клава?

Клава. Мехти. Полюбуйтесь — рогатого привез.

Гетманов. Что за чепуха! Какого рогатого?

Клава. Мехти моду взял на машине за джейранами гонять. Говорю — запрещено, а он ржет. Для него законы не писаны.

Гетманов. Ничего не понимаю. А где комиссия?

Клава. Не знаю — не видала. Вы хоть увольняйте меня, а я так работать не буду. Обучила всех машину водить, так теперь житья нет. Кого ни повезешь, чуть отъехали — Клаву от руля долой. Все лето, как дура, катаюсь. Разговоры всякие, конфетами кормят. Что я — барышня для прогулок? Я рабочая. Вы скажите Мехти, чтоб он ко мне не лез, а то у меня есть один человек, так он на него не посмотрит...

(Хохот.)

Теймур (очень смущенный). Клава, прошу тебя, Ты уже не девочка.

Мехти (появляется в дверях. У него вид стареющего красавца-бонвивана. Седящие виски и черные усики. Яркий бирюзовый костюм. За ним на палке внесли тушу убитого джейрана). Салам. (Клаве). Ты все кричишь, малявка? (К Марине). Каюсь — я убил. Клянусь честью, было невозможно утерпеть. Повергаю этого джейрана к вашим ногам и молю о защите. Не смею взглянуть в глаза вашего уважаемого супруга.

Гетманов. Ты когда-нибудь нарвешься, Мехти. Я вовсе не намерен за тебя отвечать.

Мехти. Не кричи на меня. Подумай! Клянусь, я не понимаю, как можно видеть джейрана и держать в голове все эти обязательные постановления. Для пустыни они не годятся. В пустыне действует закон: что видят мои глаза — все мое. Мои предки были охотники. Это в крови.

Теймур. Первый раз слышу, чтоб феодалы охотились на казенных машинах.

Гулам. Безобразия, даю честное слово.

Мехти. Хорошо, я хищник, браконьер. Посадите меня в тюрьму. Сегодня вы все будете есть шашлык и пить за мое здоровье. Я привез джину рислинга. Сухой закон требует сухого вина. Вы глухие люди, клянусь честью. Слава стучится в ваши двери, а вы поносите ее гонца. (Потрясает в воздухе газетой). А это видели?

Гетманов. Есть статья, Мехти?

Мехти. Сто строк. Бронза и мрамор. О перспективах развития «Еду-Гапе». О скоростном бурении на «Саре». И о тебе. «Нужно надеяться, что с приходом молодого и энергичного руководителя, смело выдвинувшего...» и всякие прочие добавочные слова. Это наша победа, клянусь честью.

Гетманов. Тихо, тихо! Не увлекайся. Дай сюда газету.

(Все окружают Гетманова, просматривающего газету.)

Мехти. (вошедшей Марго). Зайдешь сегодня?

Марго (тихо и зло). Нет.

Мехти. Почему?

Марго. Потому что ты — дрянь. Пристаешь к Клавке, выкаблучиваешься перед Мариной. А меня ты стесняешься. Я для тебя — на всякий случай.

Мехти. Психологические разговоры. Это на тебя не похоже, Маргоша.

Марго. Пусть — не похоже.

Гетманов (отдал газету). Читайте. Отличная статья. Где же комиссия, Мехти?

Мехти. Не понимаю. Мы должны были выехать вместе. Можно тебя на минутку. (Тихий разговор). Теперь, что хочешь, со мной делай. Можешь меня повесить.

Гетманов. За что?

Мехти. Ты наивный человек, клянусь небом. Я тебя настолько уважаю, что не посмею солгать. Пришлось повести восточную политику. Нашел своего парня, посидели мы с ним в «Европе» — на утро была статья.

Гетманов. Мерзавец твой шарень.

Мехти. Клянусь тебе, я сам это глубоко ненавижу. Азия, мой друг. Иначе ничего не сделаешь.

Гетманов. Ладно. Я скажу Гуламу — он оплатит. Трубы достал?

Мехти. Нет.

Гетманов. Нет?

Мехти. Катастрофа, клянусь честью. Ты же знаешь Исаева. Он бы для меня все сделал. Сунулся к нему в кабинет, а на его месте сидит какой-то незнакомый субъект.

Гетманов. Кто такой?

Мехти. Не знаю... Хам исключительный. Его фамилия... (Вспоминает. Его глаза остановились на Майорове, вошедшем с книгой в руках). Слушай, Андрей. Это он.

Гетманов. Кто?

Мехти. Он. Вот этот.

Гетманов. Ты что-то путаешь. Не может быть.

Мехти. Клянусь тебе честью.

Гетманов. Как глупо. (Громко). Саша! Майоров. Я — Саша.

Гетманов. Послушай, ты — главный инженер?

Майоров. Я главный инженер.

Гетманов. Что же ты молчал?

Майоров. А ты меня спрашивал?

Гетманов. Чорт знает что такое! Марина! Ты знала?

Марина. О чем?

Майоров. Комендант был прав. Надо предъявлять документы.

Гетманов (взглянув на бумаги, обращается к присутствующим почти торжественно). Товарищи! К нам приехал наш хозяин, главный инженер и заместитель управляющего трестом, товарищ Майоров.

Клава (тихонько). Ой! Дядя Саша!

Майоров. Объясните мне почему у вас всех такой натянутый вид? (Пауза). Понимаю. Ждали комиссию?

Гетманов. Откровенно говоря — да.

Майоров. Ладно же. Если я выгоню своего секретаря, не жалейте его. Он поставляет вам несвежую информацию. Комиссию я отменил еще вчера. (Захохотал). А ты помолодел от бритвы, Андрей. Такой же, как был раньше. Помнишь, как мы ночью перед зачетом варили вермишель в чайнике?

Гетманов (улыбнулся). Да. Что-то такое было...

Майоров. У меня хорошая память, Андрей. Ты мне здорово помог тогда. Этого я никогда не забуду.

Мехти. Для нас ваше мнение будет исключительно ценно. Вы, конечно, обследовать?

Майоров. Работать. Здравствуйте, товарищ Рустамбейли. Мы с вами знакомы.

Мехти. Имели даже маленькое столкновение. Должен сказать, — вы человек с большим характером. Я уже трепещу.

Майоров. А есть причина?

Мехти. Нет — привычка. Здесь было десять комиссий, и каждая начинает с меня, Я, так сказать, здешний несменяемый классовый враг.

Гетманов. Вздор. Мехти.

Мехти. Я не жалуюсь. Это справедливо. Сын бека, за границей дядю имеет, общественной работы не ведет — что за человек? Так, Теймур? (Теймур молчит). Характер, к сожалению, тоже плохой, скандальный характер.

Гетманов. Ну, довольно, довольно, Мехти.

Мехти. Молчи, пожалуйста. У тебя характер еще хуже моего. Клянусь честью — вот единственный человек, который меня умеет угнетать. Ругаюсь с ним, до крика дохожу, но... (разводит руками). Конечно, нужно признать — волевой человек. В Азии любят твердую руку.

Гетманов. Ну, Мехти. Я сказал — довольно.

Мехти. Молчу. (Майорову). Так что загляните в мое личное дело. Советую.

Майоров. Для инженера личное дело — это его буровая, Клабочка! На тебе ключ — пригони сюда мой шарабан. (Клава выбегает). Ты не возражаешь, Андрей? (Загудел телефон. Гетманов взял трубку).

(Пауза.)

Гетманов (хрипло). Да. Что? Что? Не слышу. (Крутит ручку телефона). Дайте «Сару». Да, да. Испорчен? (Выпускает из рук трубку).

Морис. Что на «Саре»? Авария? Обвал? Да? Да? Говорите — здесь же не истуканы, а живые люди! (Бросается к трубке). Алло! Алло!

Гетманов. Вздор. Не может быть. (Шатаясь, бежит к выходу и сталкивается с Газанфаром). Ты оттуда? Что там? Говори.

Газанфар (умоляюще). Елдаш начальник! Менелем, не сердись, пожалуйста... (Протягивает ему заявление).

Гетманов. Говори! Авария?!

Газанфар (изменился в лице). Авария? (Обводит глазами встревоженных людей и, вдруг поняв, что случилось недоброе, закрывает лицо руками).

Гетманов (вне себя, трясет его гигантскую фигуру). Это ты виноват, негодяй. Кто тебя допустил к тормозу? Я знал, чем это кончится. Ты хотел быть бурильщиком, тупая сила? А теперь ты пойдешь под суд. И не ты один. Все — старик, Теймур, вся банда!

Гулам. Оставь его, Андрияша. Ты за это ответишь — даю честное слово.

Теймур. Прекрати немедленно!

Марина. Успокойся.

Марго (истерически). Не трогайте его — он раненый, Андрей Михайлович! Мехти. Газанфар тут не при чем. Ты погорячился.

Гетманов (отрезвел). Так что же ты дрожишь? Что ты реवेशь, я тебя спрашиваю?

Газанфар. Жалко, да.

Гетманов (с удивлением воззрился на Газанфара). Идиот, что ли? (Бросается к телефону).

(Сирена автомобиля.)

Майоров. Едем на «Сару».

(Выходят: Мехти, Морис, Гулам, Теймур.)

Товарищ Газанфар, едем со мной? Мы тебя ждем, Андрей.

Гетманов (бросает трубку). Иду.

(Майоров и Гетманов выбегают. Хлопает дверь. От удара обрушиваются занавеси на окнах. В комнату врывается солнце. Сквозь стекла веранды виден залитый горячими лучами величественный и строгий пейзаж пустыни и туманные от непереносимого блеска очертания стальной вышки.)

Марина (смотрит вдаль). Гиблое место. Можно сойти с ума от этой пустыни, от этого осатаневшего солнца.

Комендант (помолчав). Ну, Маргарита. Не перетирай время. Поехали дальше. Тыфу! Забыл спросить — за чьей подписью пойдет докладная записка.

Конец первого акта



АКТ II — «ВЕЧЕР»

Огромная дымно-оранжевая луна встает над поселком. Песчаная площадка перед жилым баракком. Сбоку — застекленная веранда Гетмановых, в центре широкое крыльцо. У крыльца врыты в землю досчатый стол, узкая скамейка и столб с электрическим фонарем. Фонарь мигает, то светит в полнакала, то чуть брезжит. На крыльцо вышла Ольга Петровна — пожилая, сурового вида женщина, речью и повадкой очень похожая на Ивана Яковлевича. От Гетмановых вышла комендант с пишущей машинкой в руках.

Ольга Петровна. Эй, начальник! Ты опять нас без света морить будешь? (Комендант скрылся). Ишь, долдон. Уж до того раздулся, что и ответить тяжело.

Марина. (Выглянула. В руках книжка). Ольга Петровна. Ваши не вернулись?

Ольга Петровна. Жду. Третий раз самовар греется. Миленкья, покрутите им на «Сару». Ведь это что же — с утра не евши.

Марина. Я звонила. Говорят, уехали.

Ольга Петровна. Сашка-то хорош, вернется, уши оборву. Еще ко мне не являлся, а уж всюду поспел.

Марина. А вы давно Сашу знаете?

Ольга Петровна. Не так давно. Хотя, лет, наверное, двадцать. Еще Клавки на свете не было.

Марина. Он очень изменился. Очень.

Ольга Петровна. Ну, изменяться он не смеет. Мы с Иваном ему, как родные, были. Будет нос драть — выгоню.

Марина. Что вы, Ольга Петровна. Меня не понимай.

Ольга Петровна. А не поняла — так слава богу. Миленкья, ну что там на «Саре»? Выходит, со слепу в набат ударили?

Марина. Да, кажется.

Ольга Петровна. Ну, скажи на милость. Только зря народ перебулгачили. Андрей Михайлович, как ошпаренный, выскочил.

Марина. Да. Он очень нервный стал.

Ольга Петровна. Нервный, нервный. Заботы одолели. Мой Иван отродясь нервный не был, а тут тоже заблажил. (Скрылась в доме).

(Марина вернулась на веранду. Где-то рядом остановилась подъехавшая машина. Свет ее фар достигает площадки. Хапнула дверца. Появились Гетманов, Иван Яковлевич и Теймур. Гетманов, дойдя до своей двери, обернулся.)

Гетманов. Я вас предупредил. Докладывать ваш проект Майорову, через мою голову, — запрещаю. И вообще, если вам дорога разведка, — болтовню о кривизне, авариях и прочих ужасах надо прекратить. Ясно? Продолжайте работать.

Теймур. Но, позволь..

Гетманов. Я знаю, что ты хочешь сказать. Возможно, я сам доложу ваш проект Майорову. Но сначала я должен разобраться в позиции треста. Майоров — мой товарищ, и не мешайте мне говорить с ним так, как я считаю нужным.

Иван Яковлевич. Саша нам тоже не чужой.

Гетманов. Саша, Саша!. Вы все воображаете, что Майоров — это Саша.

Теймур. Разве нет?

Гетманов. Нет, Майоров — это трест. А тресту до смерти надоело с нами возиться.

Теймур. Это он говорит?

Гетманов. Нет, это я говорю. Ты что притворяешься чудаком или в самом деле ничего не понимаешь? Новая метла чисто метет. Саша хороший парень, но себе не враг. Он десять раз подумает, прежде чем вешать себе на шею такое наследство. Тем более, что встает вопрос об увеличении проектной глубины. Если это непонятно, — я ничем помочь не могу. (Вошел на веранду, хлопнув дверью).

Теймур. Э, слышал?

Иван Яковлевич. А, прожари все пропадом! (Пошел).

Теймур. Иван Яковлевич! Мастро! Я тебя прошу. Зачем ты себя расстраиваешь? Али зайдет, посидим, все спокойнo обсудим.

Иван Яковлевич (остановился). Зайдет — милости прошу. А о деле говорить не стану. И тебе не советую. Видно, спелись. Теперь, как Андрей Михайлович рассудит, так и делать будем. Он голова, а мы руки. Зарок себе положил — не соваться.

Теймур. Так разведчик не может говорить.

Иван Яковлевич. Извините, что не так сказал. Куда нам! Вот вы — вы навсегда все претолчно знаете.

Теймур. Э, давай будем уважать друг друга!

Иван Яковлевич. Тимка! Не зли меня. Не задевай. Я тебе, мальчишке, неслыханную над собой волю дал. Мне шестой десяток идет, а я, как сопляк малолетний, за книжку сел. На собраниях речи говорю, до того дошел, что на самом деле на вечеру публично на балаалайке играл! А тут не трогай. Заело.

Теймур. Ты Клаве хоть не говори. Она смеяться будет.

Иван Яковлевич. О Клавке ты — лучше молчи. Молчи. Тихоню-то не строй. Очень мне понятно. (Ушел, оставив Теймура в недоумении.)

(Фары потухли. Усталой походкой идет домой Клава.)

Теймур. Клавочка! Подошел, хочет обнять.) Не пушу.

Клава (взяло высвобождаясь). Пусти. Тима. Ну тебя.

Теймур. Злая?

Клава. Будешь злая, когда опять целый день каталась. То Гулам за руль возьмется, то Мехти. Морис на ровном месте чуть рессору не сломал.

Теймур. А я виноват?

Клава. Да нет. Просто так — на душе паршиво.

Теймур. Из-за этого?

Клава. Из-за всего. Отец тут еще тоже.

Теймур. Что, что отец?

Клава. Сказать? Косится он, ворчит... насчет нас с тобой. Прямо не говорит, а...

Теймур. Ну, ну? Как думаешь — почему?

Клава. Заметил? Ну — почему?

Теймур. Я не знаю.

Клава. И я не знаю. Я только думаю, Тима, он не хочет, чтоб мы женились, потому...

Теймур. Почему?

Клава. А почему — потому — даже говорить неохота. Наверно, потому, что ты не русский. Вот.

Теймур. Ты что?.. Э, подумай — о ком говоришь!

Клава. Я думала, Тима. Приятно мне, что ли, так говорить. Ну, а еще почему? Скажи, если знаешь. Отец все-таки старый. У старых людей очень чудные понятия. Он ведь тебя любит, Тима. Очень любит, ну и не хочет сказать.

Теймур. Значит, он меня обманул. Клава, ведь я его в партию готовил. Когда старик анкету взял, я танцовать хотел. Как же теперь? Надо наверное знать. Я привык ему верить, Клава. Мне нельзя его сразу разлюбить.

Клава. Не знаю, не знаю, Тимочка. Если я верно думаю, так и не посмотрю на него. Уйду к тебе — и все. А все-таки горько. (Всклинула).

Теймур (рванулся с места). Я с ним поговорю.

Клава. Тимка, не смей!

Теймур. Я ему скажу...

Клава. Не смей, говорю! Распетушитесь оба, а что толку? Сядь. (Теймур садится.) Вот что — ты пока ко мне не очень лезь. Глади на меня равнодушно. Можешь? У, глазича черные! Если отец что выведать захочет — увилвай. Будет ничего и нет. А уж я его размотаю. Упрямства во мне не меньше, а что до хитрости — так я, все-таки, баба. (Теймур смеется). Рассмешила? Ну, прощай, жених! (Быстро его целует и взбегает на крыльцо.)

(На площадку упали лучи автомобильных фар. Хлопнула дверца. Появились Морис, Мехти, Майоров.)

Морис. Да! Да! Приходите в час, в два, в три — когда хотите. Вы должны видеть мою коллекцию. Две тысячи проб — это красноречиво. Я не хочу вас уговаривать. Вы разведчик — вы поймете. «Еду-Тепе» — сокровище! Это жемчужина, феномен. Молчу! Вы увидите. (Берет Майорова за плечо.) Нефть здесь — у нас под ногами. Ее нужно уметь взять — вы понимаете?

Ольга Петровна (с крыльца). Матвей Леонтьевич! Тима! Идите поживей — ши простынут.

Морис. А ты здесь, Теймур? Идем. Я голоден. Я способен сожрать целого джейрана.

Теймур. Джейрана сегодня будет кушать кто-то другой. Жирная пицца и нечистая совесть — источник дурных сновидений. Так говорит народная мудрость. Спокойной ночи, Мехти Ага. (Уходит с Морисом.)

Мехти (тихо). Свинья! (Майорову) Александр Гаврилович! Одну минуту. Будет справедливо, если вы посетите и меня. Мы бы с вами в тесной компании посидели, побеседовали. Для меня ваше мнение будет исключительно ценно.

Майоров. К сожалению, не смогу. Иду к геологу осматривать пробы.

Мехти. У меня будет наш общий друг. Трудная разведка, тяжелые условия. Вы должны ему помочь.

Майоров. Я для этого приехал.

Мехти. По-настоящему, по-дружески...

Майоров. Знаете что, уважаемый товарищ Рустамбейли. Давайте упрощать отношения. На кой черт нам с вами эта Женева? Мы с вами друг другу не нравимся. Зачем нам дружить? Давайте говорить прямо. Вам нужно знать, что я думаю о положении на разведке? Вы и спросите.

Мехти. Я считал неудобным...

Майоров. Напрасно. Могу ответить. Нужно ли продолжать разведку? Не знаю. Хочу разобраться. Похоже на то, что на проектной глубине мы нефти не обнаружим. Как вы думаете?

Мехти. Мне трудно судить.

Майоров. Вот видите. Ваш геолог требует продолжать бурение. Но вам мало моего благословения, вам нужны деньги и материалы. Поэтому я и не горююсь решать. Завтра мне придется уехать, но у нас еще много времени. Сделайте милость — дайте мне вашу докладную записку сегодня же.

Мехти. Я в восторге от нашей беседы, Александр Гаврилович. Признаю — я был глубоко неправ в нашем печальном столкновении из-за этих несчастных труб. Клянусь, я могу оценить данный вами урок, несмотря на его, признаться, довольно резкую форму...

Майоров. О форме сожалею. Не в трубах дело. Если нужно, — дадим трубы. Попросту говоря, — я не люблю арапства. Извините. Пока не закрылась контора, я хочу съездить за своим чемоданом. (Быстро уходит.)

(Зашумел включенный мотор. Машина отъехала.)

Мехти. Страшный человек.

Гетманов (вышел с папкой в руках и сел на крыльцо своей веранды. Он жует, запивая еду чаем из кружки). Хочешь есть, Мехти? Отличный джем, — как семга.

Мехти. Сердечно благодарен. Не люблю сухоматки. Брюсь эту дрянь, — сегодня у меня шашлык. Звал твоего друга, но он не удостоил.

Гетманов. Ты гворил с ним?

Мехти. Да. Он большой дипломат. Не могу понять его линии.

Гетманов. Мне он раньше казался туповатым. А парень он неплохой.

Мехти. Хорошего я пока мало вижу. А что он не глуп — могу тебя уверить. Ты подписал докладную?

Гетманов. Я хотел с тобой посоветоваться. Морис хочет бурить еще двести метров.

Мехти (после паузы). Клянусь небом, у меня все-таки неплохая голова. Я был прав, как пророк Магомет.

Гетманов. Не понимаю.

Мехти. Здесь нечего понимать. В «Елу-Тапе» нефти нет. Нобель тут разведывал еще в двенадцатом году и только потерял время. Морис — этот психопат — вообразил здесь чорт знает что, а теперь боится признаться, что это блеф. Сегодня он требует бурить еще двести метров, завтра захочет пятьсот...

Гетманов. Ты этого раньше не говорил.

Мехти. Не говорил, пока имел хоть на волос надежду. Клянусь, ты меня удивляешь. Неужели не ясно, что такое Морис? Человек до семнадцатого года работал где-то в Мексике. Бывший анархо-синдикалист...

Гетманов. Ну, ну! Оба вы хороши. Будем говорить объективно. В Мексику он попал не от хорошей жизни и вернулся сразу после Октября. И какой он анархист? Мальчишкой, две недели ходил на какие-то сходки...

Мехти. Однако ты сам...

Гетманов. Знаю. Иногда полезно наступать на любимые мозоли. Но Морис — честный человек.

Мехти. Не хочу спорить. А зачем он вопит, что еще в прошлом году дал бы нефть, еслиб ему не загубили скважину? Ты не думал? Он хочет заставить нас отвечать за свою ошибку. Он готсв взыскать вину на нас за то, что разведка не дает нефти.

Гетманов. Это другое дело. По-человечеству, даже можно понять. В таких делах — все люди дрянь. Ну, ладно. Что ты предлагаешь?

Мехти (помолчав). Отсюда надо уходить.

Гетманов. Как?!

Мехти. Как уходить? Немедленно. Мы подошли к проектной глубине. Нефти нет и нечего валять дурака. Каждый день стоит тысячи рублей. Надо срочно передавать докладную и дать ее Майорову. Он поддержит, потому что итти против всех и вешать себе на шею камень ему так же нужно, как мне, например, жениться на Марго.

Гетманов. Скажи, Мехти, — ты убежден, что нефти нет? У тебя нет других соображений?

Мехти. Я поражаюсь тому, как ты угадываешь мои мысли. Я только-что задавал себе такой вопрос. Конечно, — я только человек. Как знать — думаешь так, потому что так думаешь, или потому, что хочешь так думать?

Гетманов. Не напускай туману, Мехти. Я этого не люблю. Да или нет?

Мехти. Я разве не сказал — да? Не смотри на меня такими страшными глазами. Моя совесть чиста, как ручеек.

Гетманов. Не из этого ли ручейка наш командант берет воду? (Резко выплеснул чай из кружки и поднялся). Ты за кого меня принимаешь — за дурака или за прохвоста?

Мехти. Ты меня оскорбляешь.

Гетманов. Оскорбляю. Почему ты не хочешь бурить дальше? Страшно?

Мехти. Я тебя прошу...

Гетманов. Не во-время стал обижаться. Ты что же воображаешь, я слеп, глух? Я не понимаю, что кривизна втрое больше, чем ты показываешь, и каждый день, каждый метр приближает аварию? Видел бы ты свое лицо, когда сегодня поднялась эта идиотская паника.

Мехти. Зачем? Я видел твою.

Гетманов. Ага! Значит, я праз?

Мехти. Абсолютно.

Гетманов. Почему же ты молчал?

Мехти. Из-за тебя. Тебе удобнее было не знать.

Гетманов. Служебный такт?

Мехти. Нет, дружба. Меня рекорды не интересуют. Для твоего успеха я рискнул бы пройти еще полсотни метров. Но это — предел.

Гетманов. Дорогой Мехти Ага. Я очень советую не забывать, что ты говоришь не с проходивцем, а с коммунистом. Ни на какие темные махинации я не пойду.

Мехти. Я редко прошу такие слова. Объясняю их твоим искалеченно нервным состоянием. Где ты видишь махинации? В «Елу-Тапе» нефти нет. Я повторяю это еще раз. Бурить дальше бессмысленно.

Гетманов. Как? Ты, действительно, считаешь?..

Мехти. Это мое глубокое убеждение. А раз так — абсолютно безразлично, есть ли на «Саре» кривизна и что было бы, если бы... Это «бы» никого не интересует. И лучше, если об этом никто не будет знать.

Гетманов. Для кого?

Мехти. Для тебя. Ты волен поступать, как хочешь. Можешь принести меня в жертву и броситься в объятия к Теймуру, с его проектом. А ты уверен, что он сумеет исправить кривизну? Я не умею. А ты сам-то знаешь, как это делается? Ты сломаешь себе шею, и я

уже не в силах буду тебе помочь. (Пауза.) Ты умный человек, но не знаешь Востока. У нас есть такое слово «менелюм». Это непереводаемо. Если друг сказал другу «менелюм» — ему не смеют отказать. С этим словом можно сделать многое. Мне некому его сказать. Я растерял свои связи. Кругом новые люди. Сгин ты пропадешь. У тебя выговор. Поставь ты завтра рекорд на «Саре», дай первую тонну нефти, — тебя ждет слава и отпущение грехов, надо уходить с честью.

Гетманов. Невелика честь (задумывается).

Командант (появился). Андрей Михайлович, для товарища Майорова квартира готова.

Гетманов. Где?

Командант. Во втором бараке. Там в угловой холостые мужчины живут. Так? Ну, я их попросил оттуда. Было заругались, ну да ничего. Я враз урегулировал. Все! Пусть вас не беспокоят.

Гетманов. Что за хамство! Кто вам позволил?

Командант. Я полагал, так будет удобнее. Как хотите. Это не составляет. Сейчас все обратно покидаем и больше нет ничего.

Гетманов. Да нет, теперь уже не стоит.

Мехти. Марго дома?

Командант. Дома. Скучает.

Мехти. Очень хорошо. Пришли ео ко мне.

Гетманов. Что ты хочешь?

Мехти. Ничего особенного. Хочу продиктовать несколько страничек. Наши выводы. Потом ты просмотришь и если согласишься — подпишешь. Впрочем, лучше, если подпишет Гулам.

Гетманов. Гулам-то подпишет. Но Морис?

Мехти. Подпишет. Это я беру на себя. В его шатком положении лучше уйти с миром. Он пошумит, но в драку не полезет.

Гетманов. Прошу тебя быть с ним очень корректым.

Мехти. Клянусь тебе. Я приду к нему с оливковой веткой в руках.

Гетманов (отдает ему докладную). На, возьми.

(Мехти и командант уходят.)

Марина (вышла). Кто приходил, Андрюша? Ты что молчишь? Расстроен чем-нибудь?

Гетманов. Нет. Устал.

Марина (гладит его по голове). Можно тебя пожалеть? Дурень, замучился, задергался... Как ты меня сегодня перепугал.

Гетманов. Пожалуйста, не жалей меня. Терпеть этого не могу.

Марина. Андрюшка, мне обидно. Почему, когда тебе плохо, ты всегда от ме-

ня прячешься? Точно ты боишься показать себя слабым. Разве это стыдно — когда жалеют?

Гетманов (мягче). Дустяки, Марина. Выдумываешь.

Марина. Нет, не выдумываю. Ты никогда мне ничего не рассказываешь такого...

Гетманов. Что значит — такого?

Марина. Такого, где ты слаб, неуверен, неправ... Я не умею сказать. Ну, почему ты скрыл от меня, за что тебе дали выговор?

Гетманов. Не говори вздора. Ты не знаешь, за что? Сколько было разговоров из-за этого, что я признал свою вину. Вспомни.

Марина. Андрюша. Значит, ты был виноват? Это правда?

Гетманов. Нелепый разговор. Что же, по-твоему, я каялся так, здорово живешь? Из христианского чувства смирения? Другой вопрос, что многие делали так же, как я, и им сходило с рук. Мне не сошло.

Марина. Знаешь, ты так себя вел, что я тебе не верила. Я думала — ты просто оскорблен и не хочешь оправдываться.

Гетманов. Я не знаю, что ты думала. Я тебе не лгал.

Марина. Да, ты прав. Я не могу возразить.

Гетманов (вскипел). Чорт возьми, наконец! Я не понимаю — почему все говорят мне, что я прав, таким тоном, будто уличили меня в преступлении. Что ты от меня хочешь? Хватит с меня того, что я с утра до ночи должен драться, лавировать, нападать и защищаться, видеть подозрительные взгляды людей, готовых в любую минуту подставить ногу, стоит только мне покачнуться. Неужели я не могу требовать, чтобы, когда я приползаю в свою конуру, мне не учиняли домашнего следствия, чтобы я был прав, не представляя никому доказательств?

Марина. Как ты странно говоришь, Андрюша. Никому! Как будто меня не существует.

Гетманов. Вот именно — ты существуешь. Очень правильное слово. Ничего не делаешь и проводишь время с этой... дурой Марго.

Марина. Ну, знаешь, Андрей. Не тебе об этом говорить.

Гетманов. Ах, даже так? Ну, ну? Интересно.

Марина. Потому что ты в этом виноват. Нет, что я говорю — виноват! Ты прав, во всем прав, у тебя передовые взгляды, наши отношения основаны на равенстве и доверии, а вот я прежила с тобой пять лет и чувствую себя ограбленной. Ни профессии, ни друзей, ни ребенка (Всклинула). Я готова украсть у Фатимы-Ханум ее Сару.

Гетманов. Фу! Мы же решили, что как только вернемся в Баку..

Марина. Молчи, молчи. Сейчас ты начнешь говорить и я опять буду неправа. Но я чувствую... это хищничество, Андрей, — вот что. Теперь я многое понимаю. Так нельзя. Почему у Фатмы-Ханум есть Гулам, Сара, работа — все, а у меня — ничего. Я как бесплодная земля. Разве я всегда была такая? Когда Саша меня увидел здесь, — я сгорела со стыда.

Гетманов. Судя по вашей встрече, это не было заметно. По-моему, ты вела у него на шее.

Марина. Как тебе не стыдно! Ты ругаешь Мерго, а сам дружишь с ее мужем, которого она выше в тысячу раз. Ты выслушиваешь от него донесения о поведении твоей жены. Престо — позор!

Гетманов. Я с ним дружу? Я выслушиваю?

Марина. Ты сам себя сейчас выдал. Сколько раз я тебе говорила, что комендант — хам и непроходимый дурак. Ты смеешься над ним, но им тебе нужен. Он избавляет тебя от труда быть грубым. Это черная работа, а ты любишь быть чистым. Разве тебе нужны люди? Ты же никого не любишь, кроме себя. (Рыдает.)

Гетманов. Женщина может наговорить чорт знает что, но стоит ей заплакать — ее же нужно утешать. (Шомочав.) Ну, успокойся. (Притягивает ее к себе. Марина вырывается.)

(Яркие лучи фар подошедшей машины падают на них. Хлопнула дверца. Появился Майоров с чемоданом.)

Майоров. Ну, мои дорогие.. Не помешал? (Марина скрывается в доме). Куда ты, Маринка?

Гетманов. Она что-то скисла. Плохо переносит жару. Сбедал?

Майоров. Спасибо. Я сейчас должен явиться к Ольге Петровне. Буду безропотно есть все под ряд и при этом хвалить и ахать. Иначе — двадцатилетней дружбе конец. Там же меня уложат спать.

Гетманов. Зачем? Тебе приготовили комнату.

Майоров. Да, я знаю. Это лишнее. Не люблю никого стеснять. Я уже сказал этому твоему.. (Заметил папку). Что читаешь?

Гетманов. Ничего. Кой чорт, тут сидишь. Когда приходится управлять людьми — не до беллетристики.

Майоров. Мне показалось, что ты вообще.. как бы тебе сказать..

Гетманов. Да ты не таяни. Отстал, что ли? Конечно. Что, ты не знаешь административной работы?

Майоров. Я не очень верю в существование самостоятельного искусства администрации. Не помню где, я ви-

дел объявление: «ищу работу в качестве директора». Смешно? Начальник — это не профессия.

Гетманов. Все это, конечно, верно. Верно — вообще. Извини, не хочется сейчас об этом говорить. Дай руку.

Майоров (протягивает руку). За что?

Гетманов. Просто так. Я мало верю в дружбу, благодарность и прочее, но мне приятно.

Майоров. Здравствуйте!

Гетманов. А ты — веришь? Тебе, например, не приходило в голову, что тогда в Институте я занимался с тобой.. наполовину из-за Марины.

Майоров. Пусть даже на три четверти. Если тебе когда-нибудь будет нужна моя помощь..

Гетманов. Когда-нибудь? Послушай, Саша. Мне бы надо с тобой поговорить.. (Нерешительно вглядывается в лицо Майорова. Свет фонаря замигал, бросая колеблющийся свет.) Н-нет, как-нибудь в другой раз. (Наступила темнота). Чортов долдон! Ну, вкачу же я ему завтра выговор.

Майоров. Как знаешь.

(Возникает звон струн и высокий фальцет певца.)

Кто это поет?

Гетманов. Это Газанфар. Он всегда. Майоров (прислушивается). Ты знаешь, о чем он поет?

Гетманов. Нет. Всегда одно и то же.

Майоров. Не думаю. Он поет о «Сере».

Гетманов. Любопытно.

Майоров. Он поет о мертвой долине, которая расцветает и будет прекраснее всех долин Юга. Ты можешь гордиться, Андрей, — в «Елу-Тале» уже есть свой ашуг.

Гетманов. Я не знал.

(Песня замолкает.)

Майоров. Ну, что ж — отложим. Ладно, я пошел. Сейчас перебегаю стариков. (Подхватывает чемодан, крадучись, поднимается на крыльцо и исчезает в темноте.)

(Пауза. Затем раздается шум, хохот, голоса, визг Клавы. Гетманов уходит домой. Через несколько секунд на крыльцо выходит Иван Яковлевич. За ним Майоров, Морис, Теймур, Клава. Ольга Петровна выносит посуду.)

Иван Яковлевич. Можешь себе представить — как вечер, всегда нам комендант египетскую тьму устраивает. Я уж тем доволен, что луна от него не зависит. (Подходят Газанфар и Гулам.) Милости прошу. Присаживайтесь.

Майоров. Ты лучше скажи — о чем давеча со мной хотел говорить? Потолкуем?

Иван Яковлевич. Нет — забастовал. Хватит. Стар я воевать. Так что объявляю — нынче о делах я не разговариваю. Прошу себе заметить.

Теймур. Мазстро!..

Иван Яковлевич. Тимка, молчать. Кому говорю? Тащи-ка музыку — играть будем. (Теймур идет в барак.) И вообще — хватит. Уеду я вот — на родину.

Ольга Петровна. Ты что, Иван? Захворал?

Морис. Это потрясающе! Какую еще тебе надо родину? Что здесь — Мексика? Разве ты не на родине?

Иван Яковлевич. Не спеши, Матвей Леонтьевич! Я прелестно понимаю. Есть, брат, большая родина — советская земля. Родина всех трудящихся. И опять же — есть малая. Где ты, так сказать, родился. К примеру — город Ярославль. (Теймур приносит балалайку и гитару. Иван Яковлевич пробует строй). Вот мы с Ольгой Петровной из наших мест молодыми ушли, вроде как в свадебное путешествие. Голод выгнал. А все — память храним. Всякую речь слышали, а так уж видно до смерти окать будем.

Ольга Петровна. И песни у нас свои. Не забываем, Я всякую песню уважаю, а только нигде так не поют, как в наших местах. Иван был молодой, ловко песни играл.

Иван Яковлевич. Нет, почему? А эту помнишь? (Напевает.)

Гулам. Ай, Иван. Тебе не нравится у нас?

Иван Яковлевич. Нет, Почему? Нравится. Край хороший. И люди здешние — очень приличные люди. Даже к солнцу привык. Здешнее солнце — огонь. Газанфар. Горячее солнце. Быстрое. (Вполголоса напевает.)

Морис. Хорошо. А слова, Гулам?

Гулам. «Под пламенным солнцем быстрее созревает здоровая лоза, быстрее пораженная недугом». Так, Газанфар?

(Газанфар смущенно улыбается.)

Иван Яковлевич. Вот, вот. Это правильно. Нет, помирать надо — на родине.

Морис. Это чудовищно! Куда ты родишься, Иван? Вот у меня — астма, печень, эндокардит — все на свете. И то — буду жить. И очень долго.

Иван Яковлевич. Ну, уж похоронили. Я поживу. Клаву с собой возьму — учиться будет.

Теймур (встребенулся). Кого? Куда? Клава (делает холодные глаза). Ти-ма!

(Теймур умолкает.)

Иван Яковлевич. Тридцать шесть лет в разведке. И детей раскидал. Антон

в Балаканах, Яков — на Эмбе, Варвара с мужем — в разведке. С меня — получено сполна. Клаву возьму — обязательно.

Клава. Меня-то спросил?

Теймур (тихо). Кла-ва!

(Клава умолкает.)

Гулам. В Ярославле — нефти нет. Скучно.

Иван Яковлевич. Это верно. А может, — найдут. Теперь она всюду. Я, Гулам, немного хочу. Хибарка чтоб была. И — огород. Огурцы буду сажать. Цветочков под окнами разведу, каких подуточков.

Майоров. А здесь нельзя?

Иван Яковлевич. Пробовал. Да тут такая земля — ничего не родит. Без воды-то и лопух не расцветет. (Наигрывает на балалайке, Теймур и Газанфар ему вторят.)

Майоров (вытащил записную книжку и углубился в нее). Вода — вздор. Воду взять можно.

Иван Яковлевич. Сказать все легко. Где?

Майоров. Отсюда до реки — далеко ли?

Клава. Сорок.

Майоров. Точно. Дорогой по спидометру глядел. Даже прикинул на глазок, сколько и чего тут потребуется. Объем земляных работ. Можно поднять.

Иван Яковлевич (почтительно). Задание имеешь?

Майоров. Нет — так.

Иван Яковлевич. Как это — так?

Майоров. Так. Гимнастика для души. Люблю пометать с карандашом в руках.

Иван Яковлевич. Хо-хо! Мечтатель. Значит — воображаешь?

Майоров. Точно. В нашем деле человек без воображения только зря будет штаны протирать. Что ты на меня уставился?

Иван Яковлевич. Ничего. Богатая мысль. Вали дальше.

(Появляются Мехти и Марго. Мехти с бумагами в руках быстро подходит к Гетманову. Марго неслабыно подходит к столу и присаживается на скамейку.)

Майоров. Не воображают — суслики. А человек — всегда. Даже если знает, что мечте его не быть. А мы — разведчики. Мы можем мечтать конкретно. По-хозяйски, с карандашиком.

Морис. Именно! Не можем, а должны. Да! Да! Обязаны.

Майоров. Сколько лет эта долина называется «Елу-Тапе»? Может быть, тысячу лет. А вот нынче Газанфар в песне назвал ее «Саба-Тапе». Цветущая долина. Вот он — разведчик! У него — есть

воображение. И, может быть, через десяток лет мы впишем это название во все географические карты. Вы что-то хотели сказать, товарищ Марго?

Марго (испуганно). Нет, нет. Говорите, пожалуйста.

Майоров. Теймур, ты читал Саади? «Утренний ветер и земля Шираза — огонь. Кого он схватит — тот уж не знает покоя». Ты знаешь, где Шираз, старик? Я тебе покажу на карте. Это в эдешских широтах. Сотни лет тому назад там цвели в феврале розы и гиацинты, а славу ширазских плодов поэты разнесли по всему миру. А ты тоскуешь по логуху. За водой дело! Так неужели я не дам тебе воду?

Иван Яковлевич. Позволь. Как это ты разговариваешь? Ты кто — депутат?

Майоров. Нет. Обыкновенный разведчик.

Иван Яковлевич. Ну вот депутатом будешь, — тогда и говори. А дразнить — не следует.

Майоров. Надо. А-то вы тут засохнете. Мечтать — так уж крупно, как государственные люди. Здесь, старик, мы построим город. Утопающий в листве. Последним кочевкам придет конец, и вокруг города зазеленеют виноградники. Это будет город разведчиков. Вот от этого города я хотел бы быть депутатом.

Иван Яковлевич (плюнул). Шут тебя совсем раздери! Как ты все прелестно объясняешь, будь тебе неладно. Уж и город построил, и реку отвел. А что для этого надо? Ай? Ты подумал?

Майоров. Что для этого надо? Нефть.

Морис. Нефть! До нефти двести метров. Я залью вас нефтью. Вы поставите здесь тысячу вышек и крекинг-завод. «Еду-Тапе» — сокровище! Молчу. Я дал себе слово, что не буду вас уговаривать. Вы увидите. Это жемчужина, феномен.

Гулам. Нефть есть. Много.

Майоров. Где же сна? Вы — командиры армии разведчиков. Действующей армии. Давайте говорить по-военному. Европа воюет. Я не пророк, но я обязан думать о том, что, может быть, скоро наши корабли, танки и самолеты двинутся в бой. Им нужна нефть. Вы готовы?

(Молчание.)

Гулам (хмуро). Нефть есть. Взять надо.

Майоров. Можно взять?

Теймур. Конечно, можно! Э, отец, поверь, прямо зло берет смотреть... Это каменное сердце нужно иметь...

Иван Яковлевич (предостерегающе). Тимка!

Теймур. Саол, не буду... (Оглядывается на Марго). Э, хотел я сказать... Ладно, поговорим.

Марго (встает, дрожа). Я уйду. Уйду.

Майоров. Пойдите. Куда?

Марго. Они думают, что я нарочно слушаю, а потом пойду к Мехти, доносить. Ну и пусть думают. Я уйду. Говорите.

Ольга Петровна. Маргошка, не дури!

Морис. Сядьте, Марго. Причем Мехти? Вы ничего не поняли.

Марго. Поняла. Я не вовсе дура. А зачем Иван Яковлевич Тимке мигал — осторожней, мол.

Майоров. Правильно, — осторожней. Только не с вами.

Марго. А с кем же?

Майоров (спокойно). Со мной. (Пауза). Верно, старик?

Иван Яковлевич. Ну, ну, это ты брось...

Ольга Петровна. Ох, уж не ври, Иван. Смолodu не врал — теперь поздно.

Майоров. Короче — как взять нефть? Что там у тебя за проект? Слушаю.

Иван Яковлевич. Ой, ты хитер! Ишь, куда подвел. Нет, насчет дела разговору не будет. Отказ.

Майоров. Отказ?

Иван Яковлевич. Отказ.

Майоров. Ну, так прощай.

Ольга Петровна. Куда ты, Сашенька? А я ши разогрела.

Иван Яковлевич. Постой. Так не годится.

Майоров. А, по-твоему, — годится? Двадцать лет дружили — пришло время ссориться. У дезертира в доме есть не желаю, И ночевать я тоже место найду. (Берется за чемодан).

(Пауза.)

Газанфар (встает). Мастер, слышишь, да? Если он уйдет — я тоже уйду.

Марго (горестно вскрикивает). Ой!

(Неожиданно вспыхивает свет. Теймур, Гулам и Морис тоже приподнимаются вслед за Газанфаром.)

Иван Яковлевич (удивленно оглядывает всех. Пауза). Ну, ладно. Всех не переспоришь. Вот фонарь зажгется — командант знамение подает. Идем в комнату — есть разговор.

(Со смехом все поднимаются на крыльцо. Последними идут Гулам и Марго.)

Мехти (вышел). Гулам! Одну минуту! Маргоша, ты меня подожди, Андрей! Он здесь.

Гетманов (вышел с бумагами). А Гулам! Я тебя не задержу. Тут надо кое-что подписать.

Гулам (подождал, нерешительно взял бумаги). Что это, Андрюша?

Гетманов. Мехти привез счета. Я просматривал. (Гулам, не глядя, подписывает). А это — докладная о состоянии разведки. Стоп! Да ты хоть посмотри, что ты подписываешь, чужак.

Гулам (берст записку и долго читает, не обращая внимания на нетерпеливые жесты Мехти. Затем он возвращает записку). Нет.

Гетманов. Ты что?

Гулам. Извини меня, Андрияша. Не могу, даю честное слово.

Мехти. Ты обалдел, Гулам?

Гетманов. Оставь, Мехти. Слушай, Гулам. Ты, конечно, можешь не подписывать. Твое право. Но тогда уже действуй на свой страх и риск, не рассчитывай на мои советы и поддержку.

Гулам (прикладывая руку к сердцу). Андрияша! Зачем говорить — страх? Мне и так повторить страшно, что я тебе сказал. Разве ты когда-нибудь слышал от меня — нет? Только я не могу подписать. Даже не проси.

Гетманов. Объясни — почему.

Гулам. Почему? У меня дочка Сара есть. Знаешь, да? И это — тоже «Сара», да? Для меня одинаково. Могу я подписать, чтоб их совсем уничтожить?

Мехти. Клянусь — он идиот. Ты понимаешь, какую ты чепуху говоришь?

Гулам. Может быть, я пасхо выражаюсь. Ты не ругайся, Мехти. Мне только решиться было страшно, а теперь я никого не боюсь. Андрияша! Зачем ты меня снял с буровой? Я думал, ты учить будешь, а ты из меня игрушку сделал. Кабинет имею, бумаги подписываю, а что подписываю, зачем подписываю? Я не понимаю ничего. Раньше я ходил гордо — люди говорили: вот идет Гулам, орден имеет — он хороший мастер. А теперь я кто? Орден не смею надевать, людей стесняюсь, даю честное слово. Вот гляди. (Вытаскивает из кармана бережно свернутый платок). Вот — все здесь. Орден, книжка, партийный билет. Пойду в Центральный Комитет, к Мир-Джафару, положу все на стол и скажу: я виноват, но сам не знаю, сколько виноват и в чем виноват. Надо — возьмите орден, отнимите партийный билет. Мало — судите меня, дайте лопату — буду землю копать. Я не чужой, я азербайджанский рабочий. Может быть, когда-нибудь вы захотите мне вернуть и билет, и орден.

Концу второго акта



АКТ III — «НОЧЬ»

Комната Мориса в одном из баракв. Просторная, она кажется тесной из-за огромных полок во всю высоту стен. Полки заставлены рядами стеклянных банок. На полу стоят ведра и мешки с породой, среди которых приютилась узкая железная кровать, продавленное кресло и фанерный ящик, служащий Морису рабочим столом. Морис склонился над пробой. Его душит кашель. Он высыпает на жестянку щепоть порошка, поджигает его и с отвращением вдыхает густой дым. За стеной топот, смех, музыка. Патефон играет «Персидский базар» — излюбленный мотив бакинских ресторанов.

Морис (свирепо стучит в переборку). Послушайте! Прекратите базар! Да! Да! Третий час ночи. Что? Ах, это «Персидский базар»? Так вот прекратите этот персидский базар — у меня от него будет припадок! Что? Почему, я не сплю? Это потрясающе! Идите к черту! Что? Пожалуйста. Только не надолго. Через десять минут я буду занят.

Мехти (входит). В одной руке у него бутылка, в другой железный шампур с насаженным на него куском жареного мяса). Салам, Фу! Ну и начадили же вы, Морис.

Морис. Не нравится — уходите. Это астматол. Ужасная мерзость. Рекомендую на случай, если вас хватит кондрашка. А как пазывается та дрянь, которую вы давали курить Марго? Как вам не стыдно — зачем вы ее портите?

Мехти. Хо-хе! Ко всем моим порокам я еще обвиняюсь в разращении малолетних. За что бы меня так ненавидите, Морис?

Морис. Уберите подальше ст бумагу эту вашу штуку. С нее каплет сало. Можно подумать — вы зашли в каску к медведю. Что вам надо?

Мехти. Не рычите. Я пришел с вами мириться. (Снимает мясо с шампура и разливает вино в стаканы).

Морис. Мы с вами не ссорились. Напрасно мне наливаете. Я на диете.

Мехти. А я думал — вас кормят сврым мясом. Вы кидаетесь на людей, как зверь. Клянусь честью — вы удивительный тип. Слушайте, Морис. Хотите — мир? Мы оба старые разведчики, старые холостяки с пятнышком — что нам делить? Марго? Верите.

Морис. Вы болван. У вас в голове черт знает какие помои. Марго — мой друг.

Мехти. Осторожнее, Морис. Выбирайте выражения.

Морис. Я не хочу выбирать выражения. Я у себя дома. Не трогайте банок — вы мне все перепутаете.

Мехти. Мир не меняется. Извечная война профессий. Во все времена, на всех разведках мира, инженер и геолог живут, как скорпион и фаланга, которых посадили в одну банку. (Зевает). Будьте человеком, Морис. В два часа ночи можно перестать быть геологом.

Морис. Я всегда геолог.

Мехти. И никогда не бываете человеком?

Морис. Я всегда человек. Именно профессия отличает человека от свиньи. Люди — это геологи, инженеры, пахари, каменщики, артисты. Они изменяют мир. Человек вне профессии — только позвоночник, после которого не остается ничего, кроме продуктов распада. (Сердито ткнул ногой в мешок с землей). Вообще, философия не ваша область. Мир не меняется! Это чудовищно! Если вы не умеете видеть нового, то не лезьте в разведку, а поступите в банщики. Вы — да! Вы не меняетесь. Вы живете только для себя.

Мехти. Справедливо. Я живу для себя. А вы? Только — менаем — не надо митинговать, — мы здесь одни.

Морис. Ну, знаете!... Не нахожу слов...

Мехти. И не найдете. Вы очень хороший геолог, Морис. Вы ищете нефть. Вы ищете ее для себя. Вы никому не уступите чести открытия. Все мы — от начальника разведки до последнего амбала — для вас только орудия. Вы очень честолюбивый человек, Морис, и это заслуживает уважения. (Морис молчит. Мехти продолжает, фехтуя шампуром). Я средний инженер, но человек я очень умелый. Я мог бы сделать карьеру шута, не надрываясь, как вы. Клянусь, еслиб я закотел, десять лет тому назад, я был бы главным инженером треста. У меня были связи, меня тянули. И вот я — рядовой специалист, двадцать два года болтаюсь по разведкам, где меня жрут москиты. Во имя чего? Я делаю это для себя. Я охотно уступаю другим опасные лавры. Я веселый человек, который ценит свой выходной день. Я люблю командировки в международных вагонах и бархатный сезон на побережье. У меня никогда не будет своего дома, своей жены и обеда, пахнущего керсином. Мне нравятся ресторанный еда, подкрамаленные протыни в отелях и деклассированные девчонки, которые всегда стоят дешево, — ибо поскй дороже денег. Клянусь вам, мы оба — прекрасные люди, но, понят-

но, нас нельзя оставлять без присмотра. И вот появляется третий человек. Человек — контроль. Если наши интересы начнут слишком явно расходиться с видами государства, — он возьмет нас за шиворот. Он сделает это для себя. Он будет счастлив изловить вас на ошибке, ибо наши грехи — его подножный корм. Такова его профессия. Все мы работаем на себя, наши дела работают на историю, а история, как доказано наукой, работает на коммунизм. Истина рождается в муках противоречий. Клянусь честью, я тоже кое-что понимаю в диалектике.

Морис (тихо). Не помню кто — кажется, Гёте — сказал Гегелю после его лекции: «Ваша диалектика прекрасное истрое оружие. Бойтесь только, чтоб оно не попало в недобросовестные руки».

Мехти. Неплохо! Смотрите — он парирует. На вас это не похоже, Морис. Вы всегда ужасно кричите.

Морис. Я не имею права на вас кричать. Вы говорили со мной очень откровенно.

Мехти. Конечно.

Морис. Это печально. Неужели я чем-нибудь заслужил вашу откровенность, Мехти Ага? Над этим стоит задуматься. Да! Да! Я обязательно подумам об этом, когда вы уйдете.

Мехти. Я вижу — вы плохо понимаете шутки.

Морис. О, вы не шутили. Я слишком вас знаю, чтоб вам не позерить.

Мехти. Психология — не ваша область, дорогой Морис. Ваше дело — ископаемые.

Морис. Допустим. Для того, чтоб постигнуть вас, — достаточно геологии. У меня есть карта, по которой я читаю ваши мысли.

Мехти. Хотел бы я видеть вашу магическую карту.

Морис. Хотите? Пожалуйста. (Широким жестом показывает на стену). Вот.

Мехти. Я ничего не вижу.

Морис. Естественно. Заго я вижу. Это моя подземная карта. Вон в тех банках, под самым потолком, собраны отложения современного Каспия. Ниже — древний Каспий. Вот глины Акчагильского яруса. Пока я не имею к вам претензий, Мехти Ага. Впрочем, вы не следите за промывкой скважины и изнашиваете трубы — я нахожу в пробках стружки металла. Вот вы вступаете в песок продуктивной толщи. Вступаете с мыслью вырвать рекорд любыми средствами. Это видно по тому, как вы жмете на забой, не считаясь с грунтом. Вы надеялись дойти до проектной глубины прежде, чем кривизна приведет к катастрофе. Но сегодня я увеличиваю проектную глубину еще на десяти метров, и карта мне говорит, что в данную ми-

нугу вы думаете о том, как выпутаться из этого положения.

Мехти. Ну, договаривайте. Кто же я, по-вашему? Диверсант? Вредитель?

Морис. Нет. Только плохой инженер. А плохому инженеру нужно быть особенно честным, чтоб не приносить вреда.

Мехти. Благодарю вас.

Морис. Пожалуйста.

(Пауза.)

Мехти. Что вы хотите, Морис?

Морис. Я хочу нефть.

Мехти. Что вы хотите от меня?

Морис. Я хочу нефть. Я хочу, чтоб вы не прятали кривизну на «Саре», а исправили ее. Я знаю — вы не умеете. Не мешайте другим.

Мехти. Римляне говорили: «нападая, защищаюсь». Впрочем, теперь все это не имеет никакого значения. Икс равен нулю.

Морис. Что вы городите? Какой икс?

Мехти (вынул докладную записку). Иксом в математике обозначается искомая величина. В данном случае она равна нулю, ибо нефти нет. Вы это знаете так же, как я. Мы можем сколько угодно обманывать друг друга. Но обманывать государство опасно, а природу бессмысленно. Надо покориться, Морис. Мой искренний совет.

Морис. Это чудовищно! Вы сместе утверждать...

Мехти. Тссс! Менелюм, не надо шуметь. Бурение идет своим порядком еще три-четыре дня. На указанной вами проектной глубине мы опробуем скважину. Если мы получим нефть, — я первый с радостью, покаюсь в своем неверии.

Морис. Прсектная глубина будет увеличена.

Мехти. Это исключено. Прочтите.

Морис (выхватил записку, читает). Это невероятно! Это потрясающе! Чорт знает, какое варварство! Чья это работа? Ваша?

Мехти. Вопрос чисто академический. Все уже согласовано.

Морис. С кем? С Майоровым?

Мехти. Не знаю. Может быть — да. Я не умею читать в мыслях. Я знаю одно — Майоров близкий друг Андрея Михайловича. Андрей Михайлович подпisał. Для меня — достаточно.

Морис. Я этого не подпишу.

Мехти. Подпишете. Не бойтесь — к вам не будут придирааться. В нашем деле ошибки неизбежны. Андрей Михайлович обещал вас крепко поддерживать. Но если вы начнете борьбу, — он вас уничтожит. Взвесьте свои силы.

Морис. Вы врете. Он этого не говорил.

Мехти. Я не собираюсь вас убеждать.

Морис. Я сам поговорю с ним. Я уверяю вас, он скажет, что вы лжете.

Мехти. Несомненно.

Морис. Вот видите!

Мехти. Может быть, вы хотите, чтоб он повторил свои слова на общем собрании? Или опубликовал в стенгазете? Редкая наивность в столь зрелом возрасте.

Морис. А вы будете молчать?

Мехти. Я скажу, что вы меня не поняли. Только и всего.

Морис. Но это нечестно!

Мехти. А разве честно выдавать меня — человека, который оказывает вам услугу? Я не собираюсь ссориться с хозяином.

Морис. Это какая-то западня! Я не хочу участвовать в вашей темной игре, слышите! Я плаю на его угрозы, понимаете вы? Если он смеет ставить мне такие условия, — я знать его не хочу. Он для меня не начальник, не коммунист, не разведчик — никто! Видите ли, он меня уничтожит, этот гангстер! Это чудовищно! Я перестану себя уважать, если не дам ему по морде!

Мехти. Вы любите громкие фразы. Вам надо остыть, Морис. Вы невменяемы.

Морис. Нет! Нет! Ложь! Мне надоело быть посмешищем. Мне пятьдесят лет — я не бросаю слов на ветер. Пустите меня! Я не сумасшедший, чорт зас возьми. Пустите меня или я вас ударю! (Выбегает из комнаты.)

(Мехти делает движение вслед, затем останавливается, не торопясь, возвращается к столу, берет свой шампур. Взмахивает им в воздухе, делает фехтовальный выпад и уходит очень довольный.)

Майоров (он постучал и, не получив ответа, заглянул в комнату). Все в порядке — я договорился. Они за нами заедут. (Вошел ит, осмотревшись, пожал плечами). Теперь этот куда-то сгинул. (Понохал бутылку). Кхм! Что ж это — для анализа? (За переборкой движение, повышенные голоса). Какго чорта они так гадают?

(Шум усилился. Теперь нет сомнения — это скандал. Звякнула упавшая тарелка, взвизгнула женский голос, загрохотали доски под ногами бегущих людей. Затем все стихло. Майоров двинулся к выходу и столкнулся в дверях с возбужденной, тяжело дышащей Мариной.)

Марина. Мехти! Ну, что же вы! (Увидела Майорова и схватила его за руку). Саша? Почему ты здесь? Пойдем сейчас же... Ох как это все омерзительно...

Майоров. Что случилось?

Марина. Ничего. Сейчас скажу. Пусты — я хочу сесть.

Майоров (довел ее до кресла и усадил). Что случилось, Марина?

Марина. Не знаю, Укрой меня чем-нибудь. Мне вдруг стало холодно. Ты видел Мориса?

Майоров. Полчаса тому назад. А что?

Марина. Ничего не понимаю. Мы сидели у Мехти и немножко кутили. Ты не думай — совсем чуточку — у нас это очень редко. Потом пришел Андрей. Мехти пошел звать Мориса. И пропал. Вдруг сбегает Морис и набрасывается на Андрея с кулаками. Если б Семен Семенович его не удержал, не знаю, наверно, произошло бы что-то непоправимое. Мы все знаем Мориса, но таким я его никогда не видела. У него было такое бешеное лицо, он ругал Андрея такими ужасными словами, что мне вдруг стало страшно. Ты слышал, как я закричала?

Майоров. Морис там?

Марина. Нет, он вырвался и выскочил на улицу. Мужчины побежали за ним, Морис способен разбудить весь поселок.

Майоров. Я пойду разыщу его. Как бы старика не хватил удар.

Марина. Нет, нет, не уходи. Посиди со мной. Слышишь?

Майоров. Ладно, Маринка. Ты только не волнуйся.

Марина. Я не волнуюсь. Просто у меня отвратительное ощущение... Не хочу никого видеть, ни с кем говорить.

Майоров. Здравствуйте! И со мной?

Марина. Сядь. Вот тут, чтоб я тебя видела. Дай мне папиросу. И помолчи.

(Марина закуривает папиросу, не сводя глаз с Майорова. Майоров, покорный и несколько смущенный, молчит, искоса поглядывая на нее.)

Майоров (после паузы). Ну — чево?

Марина (вдруг расхохоталась). Ой, Сашка! Наконец-то!

Майоров. Ну, что там еще?

Марина. Наконец, я тебя узнала. Вот сейчас ты тот — прежний. Я вдруг ясно себе представила, как ты заходишь в комнату девочек на Пироговке и стараешься смотреть мимо меня. А я злилась и нарочно таранила на тебя глаза. Тогда ты милостиво обращал на меня внимание, а глаза все равно ласковые — ласковые... Саш-шень-ка!

Майоров. Чево?

Марина. Ничево.

Майоров. Ну — повеселела?

Марина. Нет. Я сегодня первый раз за весь год выпила чуточку вина. Полстакана, даже меньше. И как-то оживилась. Почувствовала себя ясной, легкой, совсем, как тогда... Как будто я студентка, Андрей — мой муж, а просто студент, и ты тоже... В общем, вздор. А потом — спать. Хорошо, что ты не пошел

к Мехти. Кстати, ты как смел не притти? Я тебя ждала. Хотя понимаю — тебе неудобно. Ты теперь такой важный.

Майоров. Нет, просто — ни к чему. Не нравится мне этот ваш Мехти.

Марина. Ага! Я так и знала, что ты поймешь. Знаешь, ты очень хороший парень, Саша. Очень настоящий.

Майоров. На такие слова никогда не знаешь, что отвечать. Одинаково глупо и соглашаться, и спорить.

Марина. Раньше тебя нехватало бы и на такой ответ. Сашка! Ты очень меня любил тогда?

Майоров. Ну, это не твое дело.

Марина. Я тебя не спрашиваю — любил ли ты меня, или нет. Я спрашиваю — очень? (Майоров молчит). Если ты скажешь правду, я тоже скажу тебе кое-что... Очень?

Майоров (тихо). Очень.

Марина (так же). Я знала. И я тебя тоже. Очень.

Майоров. Это неправда.

Марина. Правда.

Майоров. Как? А Андрей?

Марина. Андрей? Андрей мне нравился.

Майоров. Прости, у меня на языке вертится глупый вопрос. Почему же ты... с ним?

Марина. Ну вот — почему. Так получилось. Выходят же замуж по-расчету.

Майоров. Мне не хочется шутить, Маринка.

Марина. Я не шучу. Разве расчет — это обязательно значит деньги? Я тебя любила и боялась мысли, что мы можем быть вместе. Мне стыдно сознаться, но я думала, что никогда не привыкну к твоим ужасным словечкам, ситцевым галстухам и тысяче мелочей, которых уже не могу вспомнить. А когда ты пукался в рассуждения об искусстве, — я тебя просто ненавидела.

Майоров. Могу себе представить.

Марина. Все это, конечно, чепуха. Не думай, что я уж такая пошлая индюшка. Главное, что я не могла угадать нашего будущего. Я знала, что с тобой будет трудно и беспокойно. И потом, в тебе была какая-то пугавшая меня нестерпимость. Я могла измываться над тобой в пустяках, но всегда понимала, что если тебе придется выбирать между мной и тем, что ты внутренне будешь считать для себя... Ну, залезла в дебри и не знаю, как вылезть. Ты понимаешь. А я бы этого не простила.

Майоров. А разве Андрей...

Марина. Опять — Андрей! Андрей — это совсем другое. Он принимал меня такой, какая я есть. С ним было легко. По крайней мере, мне так казалось.

Майоров. Ты счастлива?

Марина. Не знаю. Нет. Разве ты не видишь? (Сквозь слезы). Мне очень худо, Сашка.

Майоров. Что ты, Маринка? (Подождал, гладит ее волосы). Ну, поди сюда. Расскажи. Пожалуйся.

Марина. Молчи, молчи, молчи... Мне не на что жаловаться. Я сама во всем виновата. А все оттого, что ничего настоящего не умею хотеть... и много рассуждаю.

(Пауза.)

Майоров. Нет, это я виноват, Бездарный генерал, уклонившийся от боя, через многие годы узнает из учебника тактики, что мог его выиграть. Говорят, любовь похожа на войну, но тогда я мало что смыслил в этом. Сейчас я с удовольствием бы высек себя, еслиб это только помогло.

Марина. Почему ты молчал?

Майоров. Я растерялся. Появился Андрей, и ты очень изменилась ко мне. Я не мог понять — откуда этот холод, враждебность. За что? Потом я понял: третий — лишний.

Марина. Много ты понял!

Майоров. А тут еще Андрей стал поверять мне свои сердечные тайны и связал меня по рукам и ногам. Когда перед отъездом ты прщалась со мной, я хотел сказать тебе все. Но ты пришла вся в слезах, я видел, что у тебя свое горе, — и я не посмел.

Марина. Воже мой, какой дурень. Молчи, молчи, молчи...

(Они сидят молча, очень близко друг к другу.)

Майоров. Я хотел забыть тебя. Я был на Колыме. Искал нефть в башкирской степи и за полярным кругом. И, как видишь, не смог.

Марина. Я тебе верю. Но, знаешь, я как-то не представляю тебя несчастным.

Майоров. Я был бы неблагодарной скотиной, еслиб считал себя несчастным. Я очень тосковал по тебе, понимаешь. Тосковал — и все же бывали дни, когда мне недоставало тебя, чтоб поделиться своим счастьем. Все-таки, лучшая в мире профессия — это разведчик.

Марина (улыбается). Лучшая?

Майоров. Лучшая в мире.

Марина. Нефть?

Майоров. Причем тут нефть? Разведчиком можно быть везде. По существу, вся наша жизнь — разведка. Разведка в будущее.

Марина. Не знаю. Я боюсь таких слов. Мне они кажутся немного трескучими. Иногда меня охватывает такая тоска...

Майоров. Это все от безделья, Маринка. Ты не живешь, а прозябаешь. Надо вставать на рассвете и заниматься делом. Тогда появляются друзья и враги, желания и поступки. Жизнь сурова к прасядным наблюдателям — она казнит их скукой. Они разглядывают ее с уны-

лым высокомерием богатых туристов и им кажется, что их обкрали. Но это вздор. Они просто нищие.

Марина. Ох! (Закрывает лицо руками.)

Майоров. Прости. Я не хотел тебя обидеть.

Марина. Верю. Это-то и обидно. Я вдруг почувствовала, что ты считаешь меня таким ничтожеством... Со мной никогда в жизни никто еще так не говорил. Ты меня просто зачеркнул. Как же можно любить женщину, которая так никчемна, эгоистична, я уж не знаю, что еще... Ведь это так по-твоему? Да полно, проверь себя, может быть, тебе просто показалось? Ну, немножко нравилась, немножко ревности, упрямство, задетое самолюбие? Но тогда это оскорбительно. Зачем же я тебе нужна такая? (Пауза). Ну — что ты молчишь?

Майоров. А что говорить? Оправдываться? Не буду.

Марина. Прекрасно. Значит, ты еще подтверждаешь?

Майоров. Я не хочу ни подтверждать, ни отрицать. Ты сама знаешь, что наговорила чепухи. Набор слов, который означает, что ты обижена и хочешь обидеть.

Марина. Сашка! Мы сейчас поссоримся!

Майоров. Может быть. Если мы поссоримся, значит, нас действительно ничего не связывает, кроме пустяков.

Марина. Ты говоришь таким тоном, как будто у тебя появились какие-то права на меня.

Майоров. Только одно. Право не лгать. Но я могу замолчать.

Марина (жалобно). Ты знаешь, что я тебе верю и — пользуешься. Нет, пожалуйста, говори мне всегда только правду. Я, кажется, не очень умею ее слушать, но ты должен это понять и не быть таким резким. Надо бережнее.

Майоров. Совсем не надо. Я и так переложил сахару.

Марина. Ух, проклятый упрямец! (Она смотрит на него почти с восхищением). Почему ты не женился, Саша?

Майоров. Правду?

Марина (сердито). Правду, правду!

Майоров. Ты знаешь.

Марина. И ты никого не любил после меня?

Майоров. Любил? Нет. Никого.

Марина. Мой дорогой! (Она обнимает его и крепко целует.)

(Майоров подхватил ее на руки и легко поднял в воздух. Зазвонил телефон. Марина выскользнула из рук Майорова и отскочила, поправляя волосы.)

Майоров (взял трубку). Да. Это ты, Андрей? Нет, его нет. Марина здесь. Что? Очень хорошо. (Кладет трубку).

Марина. Си сейчас сюда придет?

Майоров. Да.

Марина (подходит к Майорову и кладет ему руки на плечи). Сашка! Скажи мне, только честно. Когда Андрей, в институтские времена, откровенничал с тобой, он не сказал тебе... Словом, он говорил, тебе, что мы с ним... что я уже его жсна?

Майоров. Нет. Не говорил. Все равно — я знал.

Марина. Ты не мог знать.

Майоров. Я знал, что он не договаривает. Но для меня было ясно.

Марина (задумалась, ее лицо стало жестким). Да — это Андрей. Он всегда полагает.

Майоров. Ну, будь справедливой. Я бы его не уважал, если он проболтался. В чем ты видишь ложь?

Марина. Он тебя обманул, не сказав ни слова жи. За три года в институте он меня поцеловал один раз. А ты... Ох, теперь я понимаю. Нет, нет, не будем ворошить старье, Сашка! (Прижалась к нему). Ты чудная нелепая зверюга. Такой суровый, прожженный разведчик — и наивный, как девочка. Я хочу, чтоб ты сегодня поезди меня в степь. Слышишь? И мы будем вместе до самого утра.

Майоров. Вместе? В степь?

Марина (быстро). Ну да. Может быть, завтра я буду жалеть, но сегодня меня тянет созерничать.

Майоров. Это невозможно, Маринка.

Марина. Ты не хочешь?

Майоров. Я должен работать всю ночь. Завтра я еду. И потом — вообще невозможно.

Марина (вздрыгнула). Да, конечно, это дикость. Я говорю глупости. Все-таки мне обидно, что ты так благодарен. Хочешь — я приеду к тебе в Баку? Ага! Ты рад?

Майоров (радостно растерянный). Но... ты решила? Ты уверена, что сможешь?

Марина (шопотом). Я постараюсь. (Пауза). Почему ты стал такой мрачный?

Майоров (он действительно потемнел). Видишь ли... Боюсь, что я все-таки не смогу обмануть Андрея. Нет, даже не то. Быть может, я бы мог. Понимаешь — я, кажется, слишком сильно тебя люблю, чтоб теперь завести с тобой интрижку.

Марина. Понимаю. И напрасно унижалась. Ты просто трус. (Пытается его оттолкнуть).

Майоров (вспыхнул). Трус? Хорошо. Ты слышишь на улице шаги? Это идет Андрей. Сейчас он войдет. Не вырывайся, я тебя никуда не пушу, пока не откроется дверь. Нам придется объясниться и порешить все разом. Так лучше. Мы товарищи и сумеем поговорить, не навострив грязь. Андрею будет тяжело, но он поймет. Хочешь так?

Марина (испуганно). Ты с ума сошел! Пусти немедленно! Сию минуту, слышишь? Я требую...

Майоров (несколько секунд смотрит ей в глаза и потом сразу отпускает руки). Я пошутил. Конечно, я бы этого не сделал.

Марина (пытается улыбнуться). Нельзя же быть таким отчаянным.

Майоров. Да? (С горечью). Едва ли видела, какие у тебя сейчас были злые глаза. (Вошел Гетманов). Хорошо, что ты зашел, Андрей. Есть вопрос, который мы должны разрешить втроем.

Гетманов. Втроем?

Майоров. Точно. Я хочу сказать — вместе с геологом.

Марина. Я уйду. Ты надолго, Андрей?

Гетманов. Не знаю. Ложись спать — у тебя зеленое лицо.

Марина. Да. Я очень устала (уходит).

Гетманов. Я захватил с собой нашу докладную записку. Ты можешь уделить мне несколько минут?

Майоров. Ага! Наконец. (Перелистывает). Постой! Чья это подпись?

Гетманов. Где?

Майоров. Вот — вторая. Какой-то древне-иранский иероглиф.

Гетманов. А! Это — Рустамбейли. Ему временно поручен геологический надзор.

Майоров. Обожди... А куда девался Морис?

Гетманов (помолчал). Морис у нас больше не работает.

Майоров. Здравствуйте! Как так — не работает?

Гетманов. Сегодня утром он подал заявление об уходе.

Майоров. Ты не имел права его отпустить.

Гетманов. Я не имел права задерживать его ни минуты. Морис очень большой человек. Если он продолжал работать, на то была его добрая воля.

Майоров. Пусть возьмет обратно свое заявление. Корми его сливками и черной икрой, зимой мы пошлем его лечиться. А сейчас — он нужен.

Гетманов. Ты меня ставишь в очень трудное положение. Я сам рассчитывал удержать его, несмотря на то, что последнее время он способен вывести из терпения ангела. Но после того, как он позволил себе... Тебе говорила Марина?

Майоров. Да.

Гетманов. Ты бы слышал. Он назвал меня негодяем, интажистом и грозил разоблачить перед всем светом. Чорт знает что! У меня нет ни малейшего желания сводить личные счеты, но как-то сградить себя от наскаков я обязан.

Майоров. Очень странная история. Нет, ты прав. Морис должен взять свои слова обратно и извиниться. Он так и делает.

Гетманов. Хорошо. У него есть время до десяти часов утра. Пять минут одиннадцатого будет вывешан приказ. Но должен тебя откровенно предупредить — ты не знаешь его характера. Морис упрям, как бык.

Майоров. Ничего. Это я беру на себя.

Гетманов. Как знаешь. (Пауза). Послушай, Саша. Нам надо поговорить вполне откровенно.

Майоров. По-моему, это единственный метод разговора, который чего-нибудь стоит. Во всяком случае — по служебным делам. Слушаю.

Гетманов. Я считаю разведку безнадежной. (Пауза). Думаю, это ясно не мне одному, но и кое-кому в тресте. Если у Мориса нет необходимого мужества признать свою ошибку, то моя прямая обязанность заговорить об этом открыто. Ты что-то хотел сказать?

Майоров. Нет. Я слушаю.

Гетманов. Подумай и рассуди сам. Четвертый номер стоил около двух миллионов рублей и оказался трупом. Теперь через несколько дней будет закончена «Сара». Я положил на нее много труда, еще больше нервов, но судьба ее предрешена. Когда я припер Мориса к стенке, ему пришлось сознаться, что на проектной глубине мы нефти не получим. А теперь, — так сказать, неофициальная сторона. Сегодня ты сказал, что если когда-нибудь мне понадобится твоя помощь... Только пойми меня правильно. Мне очень неловко, что я с места в карьер начинаю эксплуатировать твое обещание, но...

Майоров. Ладно. Не занимайся пустяками. Я очень хочу тебе помочь.

Гетманов. Я тебе очень благодарен, тем более, что мне в самом деле не легко. Я отлично понимаю, что меня закинули в эту океанскую дыру не случайно. Есть люди, которым мало убраться меня с промысла, где я намозолил им глаза. Им хотелось бы добить меня до конца, да так, чтоб я лег и не встал. К счастью, это не так просто. Моя работа отмечена в печати, «Сара» держит переходящее знамя. И если мои усилия идут прахом, я в этом несколько не виноват.

Майоров. Так. Значит — крест?

Гетманов. Я не вижу другого выхода.

Майоров. Тогда чем же я могу тебе помочь?

Гетманов. Сейчас скажу. Вероятно, до тебя уже дошли слухи о том, что на «Саре» кривизна несколько выше нормы. Майоров. Да. Это — правда?

Гетманов. Правда.

Майоров. Хорошо, что ты мне сказал. Если бы это выяснилось при контрольном замере, я бы чувствовал себя в больших дураках. Это Мехти?

Гетманов. Неважно. Я начальник разведки и отвечаю за все. Единственное мое оправдание — вернее, не оправдание, а смягчающий довод, — что моя ошибка на сегодня не имеет никакого практического значения. Конечно, если во-время не пресечь демагогии вокруг этого дела, его раздут до невероятных размеров и тут я не соберу костей. Теперь моя совесть перед тобой чиста. Буде же ты сочтешь возможным своей властью предотвратить поток грязи, готовящийся излиться на мою голову, ты сделаешь доброе дело, которого я тебе не позабуду, как говорится, по гроб моей жизни. Вот все, о чем я тебя прошу.

Майоров. Не многого ты просишь. (Задумывается.)

Гетманов. Учти, что я отнюдь не имею в виду предложить тебе что-либо, идущее в разрез с твоей совестью. Поскольку предстоит ликвидация разведки, достаточно этого вопроса не уточнять.

Майоров. Погоди. Я сейчас думаю совсем о другом... Андрюша! Скажи мне по-чести: не завелось какой-нибудь кривизны в тебе самом? Ты чего-нибудь недоговариваешь?

Гетманов. Почему ты спрашиваешь?

Майоров. Потому что мне действительно хочется помочь. А как — я не знаю.

Гетманов. Ты мне не доверяешь?

Майоров. Нет — я верю. Но не все понимаю.

Гетманов. Например?

Майоров. Например, почему ты так худо живешь с людьми?

Гетманов. А! С какими там еще людьми?

Майоров. С хершими. Конечно, у них есть недостатки, как у всех смертных.

Гетманов. Все, что ты говоришь, очень хорошо в теории. Теоретически я тоже горжусь, что Гулам мой ученик, выдвинут на ответственный пост и все такое прочее. А на практике это нуль, человек, за которого всё вынужден делать я сам. Мне бы тоже очень хотелось, чтоб геолог и главный инженер заключили между собой договор о социалистическом соревновании и мирно паслись рядом. А в действительности, они бегают по очереди ко мне с доносами, и это еще хорошо, потому что я, по крайней мере, в курсе их замыслов. Конечно, ты понимаешь, что это разговор, который могут позволить себе два коммуниста...

Майоров. Нет.

Гетманов. Что — нет?

Майоров. Не могут себе позволить. Обывательский разговор.

Гетманов. Знаешь что, скажи лучше прямо, что ты не хочешь мне помочь. Когда моральные обязательства в отношении другого человека становятся в тягосты, начинаешь изыскивать в нем недостатки. Так легче отказаться. Скажи. Я не обижусь.

Майоров. Зато если мне был бы нужен повод обидеться, то лучшего не подберешь. Андрюша! Ты мне друг, и я хочу тебе помочь. У меня есть предложение.

Гетманов. Да?

Майоров (берет записку за два конца). Давай порвем к свиньям эту грамотку и будем бурить дальше. Вместе. Гетманов (поражен). Ты хочешь продолжать разведку?

Майоров. Да. Я немного разобрался в этом посудном магазине. (Жест в сторону полок). Получается убедительно. Идет?

Гетманов. Что ж — ты думаешь, что я?..

Майоров. Я ничего не думаю. Я думаю, что тебе стоило посоветоваться со мной, прежде чем ставить свою подпись. Ну?

Гетманов (поколебавшись). Моя точка зрения тебе известна.

Майоров. Андрюшка, плюнь. Это фраза для истории, а я с тобой попросту.

(Гетманов молчит.)

Майоров. Ну, что ж. Придется мне решать единолично.

Гетманов. Как знаешь. Подумай, Подумай, Саша. Риск большой.

Майоров. Без риска в нашей профессии не ступишь. Продолжать, конечно, хлопотно. Можно нажить неприятности. Бросить — рискуешь заморозить резервы. Мы, разведчики, — люди почти что военные. Будем рисковать.

Гетманов (встает, нервничая, собирает бумаги). Я пойду. Ты извини — я нынче не в себе. Не сердись. Пойми, когда взрослый человек подписывает документ, где все сказано черным по белому, — нельзя требовать, чтоб он вдруг изменил свой взгляд на вещи.

Майоров. Ничего не бывает вдруг. Вот видишь — статья? Сегодня утром она мне казалась целиком правильной. А сейчас я вижу, что во многом ошибся.

Гетманов. Понимаю. В мой огород камень. Слабая аналогия. Какое тебе дело до этой статьи?

Майоров. Здравствуйте! Вот так — какое дело! Моя статья.

Гетманов (изменился в лице). Твоя? Майоров. Моя. Что ты на меня так воззрился?

Гетманов. Но Мехти...

Майоров. Что — Мехти?

Гетманов. Нет, ничего. До завтра, Саша. Спасибо. (Вышел).

Майоров. И-да! Грустно. (Стук в окно). Кто?

Иван Яковлевич (в окне). Свои. Ну что, Матвей Леонтьев — объявился, ай нет?

Майоров. Нет. Заходи.

Иван Яковлевич (вошел). Обьскались. Ничего — придет. Он навсегда так — развоется и убежит. Побегает свое время, отведет душу — и назад. Потом — ничего.

Майоров. А где Гулам, Теймур?

Иван Яковлевич. Ищут. А я куда — к тебе.

(Пауза.)

Майоров. Что это ты какой... Слово тебя воздухом накачали. Ну?

Иван Яковлевич (торжественно). Сашка! Слушай внимательно. Сейчас я с тобой буду вести разговор. Официальный.

Майоров. Я весь — внимание.

Иван Яковлевич. Ты — не балуй. Я с тобой серьезно. Отвечай мне откровенно.

Майоров. О-о!

Иван Яковлевич. Как на духу — ты мне доверяешь?

Майоров. Здравствуйте! Что так поздно спохватился?

Иван Яковлевич. Сашка, не верти. Отвечай твердо. Доверяешь или же не доверяешь.

Майоров. Доверяю. Дальше?

Иван Яковлевич. Теперь такой вопрос: ты мне рекомендацию можешь написать?

Майоров. Вот оно что! А в Ярославль поедешь?

Иван Яковлевич. Да шут его дери-то совсем! Куда я поеду? Тут у меня вторая родина — сорок вышек моих стоит. Труд моих рук вложен. Я еще в городе поживу.

Майоров. В каком городе?

Иван Яковлевич. А вот в этом твоём... который будет.

Майоров. Ладно, напишем. Кто еще рекомендует?

Иван Яковлевич. Гулам. Еще Григорьян — механик.

Майоров. Как? А Теймур? (Иван Яковлевич молчит). Что так, вдруг?

Иван Яковлевич. Да ну! Раз-такое отношение... Не хочу.

Майоров. Поссорились?

Иван Яковлевич. Не поссорились, а нехорошо.

Майоров. Рассказывай.

Иван Яковлевич. А и рассказывать-то нечего. Не хочет жениться — вот те и все.

Майоров. На ком?

Иван Яковлевич. На ком? На Клавке. Не на мне же.

Майоров. Почему же не хочет?

Иван Яковлевич. А вот поди — спроси. С малолетства вместе, а как выучился на инженера, то и забурел. Намекаешь — он в сторону. Я ему нынче прямо заявил: недостойно поступаешь. И это мне очень неприятно видеть.

Майоров. Ну? А он?

Иван Яковлевич. Окрысился, глазами засверкал и заявляет, да этак-то грубо, нетактично: ты мне не указ, захочу — так на тебя и не посмотрю, а ты идею отсталый. Отсталый! Сам-то давно ли стал больно учен.

(С улицы доносится сигнал подъехавшего автомобиля.)

Ну, молчок.

Майоров. Чепуха какая-то.

Иван Яковлевич. Как это чепуха?

Майоров. Потому что муть. Дребе-день. (Е окно). Теймур?

Теймур (с улицы). Али! Едем?

Майоров. Обождать. Мориса ищут.

Теймур. Есть обождать. А маэстро с тобой?

Майоров. Нет.

Иван Яковлевич (шопотом). Сашка! Ты брось.. Что я тебе для комедии дался?

Майоров. Т-ш-ш.. (В окно). Теймур!

Теймур. Ты что, отец?

Майоров. Поди сюда. Ты чего на Клаву не женишься?

Иван Яковлевич. Сашка!

Майоров (с ожесточением). Т-ш-ш! (В окно). Ну?

Теймур. Э, зачем кричишь? Скажу. Это долгий разговор.

Иван Яковлевич (шипит). Вот.. Слышал? Долгий..

Майоров. Да ты говори прямо — не хочешь, что ли?

Теймур. Отец, не кричи, умоляю. Какой дерблюд тебе сказал, что не хочу?

Майоров (бросает торжествующий взгляд на Ивана Яковлевича). Что у вас там за возня? Отвечай — за чем дело стало?

(За окном тихий спор, шушуканье, выделяется голос Клавы.)

Клава. Пуссти, я сама скажу. (Ее голова показывается в окне). А за тем, что отец мешает. Потому он — шовинист. Вот. (Видит отца и застывает от ужаса).

Иван Яковлевич (в гневе). Позволь! Я это слово проходил! Я его понимаю! Как же ты смеешь, малявка, отца бесчестить!

(Майоров садится в кресло и хохочет внаглую, закладываясь и дрыгая ногами. Он смеется все время, пока сконфуженная Клава и Теймур влезают в окно.)

Иван Яковлевич. Нет, пусть теперь сна объяснит свои слова! Это

обильное слезы! Откуда у ней на отца такой материал, что он, именно, является шовинист?! В каком смысле?

Теймур (горячо). В каком смысле? В том смысле, что очень стыдно, на сегодняшний день, допускать в сознании такой пережиток!..

Иван Яковлевич. Ах, оставьте! Конечно, если я отец и не желаю глядеть на твои безобразные поступки, — это пережиток. А как девуку в разгул совращать — это прелестно. Благодарю вас от всей души. Тебе, Тимка, стыдно! Ты у нас в доме, как сын, на глазах наших рос. Конечно, мы институты не кончали..

Теймур. Э, какой разгул, какой институт?.. (Кричит). Пойми — я жениться хочу!!

Иван Яковлевич (кричит). Тимка, не ври! Хотел бы, так давно женился! Никто тебе не помеха!

(Пауза.)

Теймур. Видишь, Клава. Говорил тебе — надо быть несколько выдержаннее.

Иван Яковлевич (Теймуру, сурово). А ну — иди сюда.

Теймур. Зачем?

Иван Яковлевич. Иди. Прощать буду. (Обнимаются).

Майоров. По такому случаю полагается.. Эге! (Все взгляды обращаются на бутылку). М-да. С одной стороны..

Теймур. Сухой закон.

Майоров. Ладно. В мою гласу. (Разливает вино). Прошу. (Чокаются). Ну, чтоб было хорошо. (Смотрит на Клаву, и его опять разбирает смех). Небось, обидно?

Клава. Что, дядя Саша?

Майоров. Хотелось пострадать. И не вышло. Будьте здоровы.

(Пьют.)

Теймур (прислушался). Морис!

(Распахивается дверь и в нее вихрем влетает Марго. Захлебываясь от рыданий, она падает на кровать Мориса и прячет лицо в подушку. Все молча перглянулись.)

Майоров (шопотом). Я буду ждать Мориса. Поезжайте — я поеду на своей (Выпроставивает всех и подходит к Марго). Кхм! Может быть, вам воды?.. (Дотронулся до ее плеча). Послушайте. (Марго молчит). Вы скажите — может быть, я могу вам помочь?

Марго (перестала всхлипывать). Кто это? (Приподнялась, разглядывая Майорова, пытается улыбнуться). А, это вы? (Опять разрыдалась).

Майоров. Нет, в самом деле, скажите — не могу ли я вам помочь?

Марго (вытерла глаза, лицо ее стало сосредоточенно мрачным). Мне помочь нельзя.

Майоров. Помочь нельзя только покойнику. С вами что-нибудь случилось?

Марго. А зачем я буду говорить? Я вас первый день знаю.

Майоров. Ничего. Это даже лучше. Тем более — завтра я уеду. А сегодня — вроде попа. Исповедую, благословлю, соединяю. Только вот еще анафему съевлять не пробовал.

Марго. Вы симпатичный. Все равно — не можете.

Майоров. Ну, ну, выкладывайте — что там у вас?

Марго (с трудом). У меня муж. И... любовник... (Испуганно взглянула на Майорова). Вам противно, да?

Майоров. Мне-то что! Вам, наверно, противно.

Марго. Вы не подумайте, что Морис. Я его очень уважаю. (Расстроилась). Что мне теперь делать?!

Майоров. Бросить надо.

Марго. Я и бросила.

Майоров. Кого?

Марго. Обоих.

Майоров. Здравствуйте! Это почему?

Марго. Потому что сволочи. Я дрянь, но такой пакости еще свет не видал. Я-то, дура, думаю: повинюсь мужу, жить — так по-чистому. А он — знает. И тот — тоже знает.

Майоров. Да. Погано. Тот — это Мехти?

Марго (с ужасом). И вы знаете?

Майоров. Нет, что вы? Просто так — похоже.

Марго (вскликивает). Что же делать? Что же делать? Скоро я буду старухой, одинокой старухой... Страшно. (Плачет).

Майоров. Ну, это вы напрасно. Я, конечно, не авторитет, но на мой взгляд вы, знаете, очень красивая женщина. Очень — это точно. И потом, мне известно, что блондинки очень долго не стареют. Это я вам точно говорю. Ну вот, вы и смеетесь.

Марго. Вы комик. Какая же я блондинка! Я — крашеная.

Майоров. Неважно. То-есть, наверно, очень важно, но я не хотел сказать. Я хочу сказать — все не так страшно. Будете работать. Поверьте моему слову — от всех скорбей.

Марго. Работать. Вам хорошо говорить, раз вы инженер или там геолог. А если я не умею?

Майоров. Я тоже раньше не умел. Научитесь.

Марго. Мне — поздно. Мне мой первый муж всегда говорил: «Ты, Маргарет, предмет роскоши». Факт, между прочим. Сносила вагон тряпок, вот и все мои труды. И не знаю, как это — работать.

Майоров. Отец работал?

Марго. Отец — всю жизнь. Он был водолаз. (Вздыхнула). К чему вы спра-

шиваете? О происхождении беспокоитесь? Или наследственность какую ищите? Научно?

Майоров. Видите ли. Наука, вообще, утверждает, что способность к труду у человека в крови. Ходят слухи, что когда наш древний обезьяноподобный предок перестал валять дурака, слез с дерева и начал заниматься делом, — именно тогда он и присобрал человеческий облик.

Марго. Вы очень хорошо объясняете. Эх! Мне наши все говорят — надо работать, надо работать. Только я им не верю.

Майоров. Что так?

Марго. Потому что все это один разгосер. Вы, может быть, с душой работаете, а они? Что Семен, что тот же Мехти. С утра орали одно, а чуть вы приехали — сразу на пятый. Не так глупа — снимаю. (Выбрасывает из кармана черновики). Да вот — глядите сами.

Майоров (быстро посмотрел черновики). Н-да. Грустно, грустно... Вы можете отдать мне черновики, Марго?

Марго. Берите.

Майоров. И не болтайте. Ладно?

Марго. Какое мне дело?

(В дверях показывается фигура Мориса. Вид у него мрачный и растерзанный, к бровкам пристали колючки, в руках подобранная где-то грязная банка. За его спиной — улыбающийся Гулам.)

Гулам. Вот — привел. Первый раз встречаю такой нервный характер, — даю честное слово.

Майоров. Ну, здравствуйте. Наконец-то. Надо ехать на «Сару», а геолог разыгрывает короля Лира и бегаёт по степи. Поздравляю вас — вы увлечены.

Морис. Как?

Майоров. Как? По собственному желанию.

Морис. Уже? Ну что ж — хорошо. Прекрасно. Тем лучше. (Устало садится на кровать).

Марго. Матвей Леонтьевич! Беденький!

Майоров. Совсем он не беденький. Извольте немедленно пойти к Гетманову, пока он еще не спит, извиниться и потребовать обратно свое заявленное.

Морис. Это потрясающе! Я еще должен извиняться. Молчите, вы ничего не знаете.

Майоров. Не пойдете?

Морис. Нет. Всему есть мера. Да! Да! С меня — довольно.

Майоров. Хорошо. Обойдемся без вас.

(Пауза.)

Морис. Вы будете бурить дальше?

Майоров. А вам какое дело?

Морис. Как вы смеете! (Проситсьяно). Всего двести метров.

Майоров. Не знаю. Наверяд ли.
Морис. Это чудовищно! Вы надо мной издеваетесь.

Майоров. Нисколько. Мы сначала исправим кривизну. Вероятно, этого будет достаточно. Ну, ладно, не устраивайте советской власти семейных сцен. Это очень пустое занятие. Идете?

Морис (поколебавшись). Нет! Нет! Это искилено.

Майоров. Ну, конечно. Мы готовы пожертвовать жизнью для общего блага, а вот когда надо поступиться копеечной амбицией, — тут-то нас и нет.

Морис. Вы нехорошо со мной говорите. Я старше вас. Поймите — я не могу. Это выше моих сил. (Стук в дверь). Да!

Командант (появляется в дверях). Маргарита. Пошли.

Марго. Я не пойду.

Командант. Пошли, Маргарита. Понятно, нет?

Марго. Сказала, что не пойду. Матвей Леонтьевич, скажите ему — пусть он уйдет.

Морис. Позвольте! Почему вы вламываетесь в дом среди ночи? Кажется, вы еще собираетесь здесь скандалить?

Командант. А вы, гражданин бывший геолог, полегче. Полегче. Так? Ваша роль нам довольно понятна. Все!

Морис (вскипел). Как вы смеете, бандит вы этакий...

Командант. Тише, тише. Не надо хулиганить. И не встревайте. Так? Вы теперь у нас не работаете, я вам не подчиняюсь и знать вас не желаю. Вы для меня нуль без пальчки. Ясно? Все! Пошли, Маргарита.

Морис. Я требую, чтоб вы ушли. Слышите?

Командант. Не кричите. Я по делу пришел. Нахожусь при исполнении. Так?

Морис. Что такое? Какие дела в три часа ночи?

Командант. А вот. (Показывает на полки). Этот инвентарь лично вам не принадлежащий. Так? Постарайтесь сдать. Я в поселке отвечаю за каждую вещь и, ежели что пропадет, — с меня первого спросят.

Морис. Вы с ума сошли. Что вы хотите делать?

Командант. Не беспокойтесь. Сейчас покладем в мешки и под замок. Целее будут.

Морис. Это чудовищно! Да я разобью вам череп, если вы прикоснетесь хоть к одной пробке. Товарищи! Объясните ему. Ведь это дикость!

Гулам. Неправильно делаешь, Семен! Разве можно? Уходи, пожалуйста.

Командант А бы мне не указывайте. Пусть мне Андрей Михайлович скажет, что я за этот участок не отвечаю, — тогда так. И больше нет ничего.

Морис. Я, кажется, в самом деле сойду с ума. Вы знаете, кто это перед вами? Это товарищ Майоров. Александр Гаврилович, почему вы молчите?

Майоров (спокойно). С своей точки зрения этот человек прав, у вас есть выход — пойти и взять обратно свое заявление. (Команданту). Надеюсь, вы подождете.

Морис (заметался). Хорошо. Сейчас я иду. Я сделаю все, что хотите, как хотите и когда хотите. Я только прошу вас, последите, чтоб пока я не вернулся, он не смел ничего трогать. (Выскочил на улицу).

Командант (после паузы). Вот вы правильно сказали — с своей точки зрения...

Майоров (резко повернувшись к нему). Да, с точки зрения кретина. И вообще — почему вы здесь? Вон отсюда! (Опешивший командант рстируется). К чертовой матери, чтоб духу вашего здесь не было... анафема. (Запирает дверь и набрасывается на Гулама). Ну? Нечего на меня глядеть, как на морское диво. Это вы должны были сделать, а не я. Вы первый заместитель. И бросьте ходить за мной и хныкать. Под суд я вас все равно не отдам, а за поездки этого вашего ферта в Баку вычту из жалованья. Обязательно. Надо глядеть, что подписываешь. Будете работать, а если будете работать плохо, вот тогда я позбочусь, чтоб вам крипаяли, как следует.

Гулам. Товарищ Майоров! Поверьте мне — не могу. Бюксь бумага. Дано слово — ногами не сплю.

Майоров. Чепуха. Ночью надо спать. А не спится — лучше займитесь. Механика не хитрая — можно изучить. Будет трудно — приходите ко мне.

Гулам. Куда приходите? Вы завтра уедете.

Майоров. Разве? Нет. Никуда я не поеду. (Снимает пиджак, вешает его на гвоздь. Засучивая рукава, ворчит). Разве тут уедешь? Тут никак не уедешь. Товарищ Марго!

Марго. Вы — меня?

Майоров. Да. Как вас по батюшке!

Марго. Маргарита Феофановна.

Майоров. Так вот, Маргарита Феофановна, — я вас беру на работу. Мне нужен на время секретарь. Постарайтесь соединить меня с радией. (Марго идет к телефону). И поживее. Пусть дадут радиограмму, что я остаюсь.

АКТ IV — «УТРО»

Контора разведки. Простые столы и табуреты, массивный, раскрашенный под красное дерево, несгораемый шкаф и распластанное по стене полотнище знамени придают обстановке некоторую официальность. В глубине — дверь, ведущая на крыльцо, сбоку — маленькая дверца поселковой радики. В незавешенном окне — кусок неба и далекий силуэт буровой вышки.

Утро. Неяркий, рассеянный свет.

Слышен громкий голос радио-диктора, читающего утреннюю сводку: «Авиация Черноморского флота подвергла успешной бомбардировке нефтяные промыслы в районе Констанцы и Платешти. Возникли большие пожары»...

У окна — Гулам. На нем выуженная пиджачная пара, твердый воротничок и галстук. На лацкане — «Знак Почета». Он выключил репродуктор. Напряженно вслушивается. Теперь, когда молчит радио, ясно слышится доносящийся издали глухой гул. Гул то замирает, то возникает с новой силой.

В приоткрывшуюся дверь радики выглянула Фатъма-Ханум с бланком радиogramмы в руках. Это маленькая женщина, мило-видная и застенчивая.

Фатъма (певуче). Гулам! Радио выключал зачем?

Гулам. Молчи да слушай.

Фатъма (подымает кверху улыбающиеся глаза и прислушивается). Сегодня Сара проснулась и тоже слушает, долго, долго. Смотрит на меня, смеется и говорит — гу-гу, гу-гу.. Э, ты не слушаешь, Гулам?

Гулам. Ай, женщина! Не можешь молчать, да?

Фатъма (помолчав). Гулам! Послушай — товарищу Али опять радиogramма. Трест сердится, спрашивает — когда будет выезжать?

Гулам. А? Положи вон туда. Пускай себе сердится. Меньше, помолчи, пожалуйста.

(Прислушивается. Гул обрывается. Тишина.)

Фатъма (робко). Что это, Гулам?

Гулам (схватил трубку телефона). «Сару» дайте. «Сара»? Везиров говорит. Теймура позовите там. Не может подойти? Кто это говорит? Товарищ Майоров? Э, погоди, что ты от меня хочешь, Фатъма? Товарищ Майоров, умоляю, одно слово скажи, больше ничего не хочу. Не слышу. Закружили фонтан?! Ай, саол! Задвижка держит? Не вывернется, говоришь? Ай, молодцы — даю честное слово. Погоди, дорогой. Ты что, Фатъма? Слушай, тебе опять радиogramма. Эге, трест, трест. Э? Зачем по телефону читать, я могу лично привезти. Кто хитрый? Я хитрый? Ты меня обижаешь, Нет, кроме шуток, дорогой, разреши, пожалуйста. Меньше — одним глазом! Э! Как — бригада голодная? Не может быть. Ничего нет? Возмутительное безобразия, даю честное слово. Конечно,

конечно. (Положил трубку). Подожди, Фатъма. (Опять схватил трубку). Склад дайте. Семен? Что такое — люди шестнадцать часов в степи не имеют горячей пищи? Э? Что значит — не ресторан? Не хочу ничего слушать. Зайди. Как — кто говорит? Везиров говорит!!! (Швыряет трубку).

Фатъма. Я уйду, Гулам.

Гулам. Сиди.

Фатъма. Ты не будешь кричать?

Гулам. Сиди, да. Не беспокойся.

Комендант (вошел). Звал?

Гулам. Звал.

Комендант. Ну?

Гулам. Сдавай дела, Семен.

Комендант. Как это так — сдавай?

Гулам. Сдавай все дела. Склад сддай, столовую, гараж. Уходи.

Комендант. Та-ак. Ну, это вы зря горячитесь. Согласуйте сначала. Так? Вот если будет от руководства указание, официальное, — я сдам. И больше нет ничего. (Хмыкнул). Как я могу уйти? Смешно.

Гулам (указывает ему пальцем на дверь). Вот тебе мое указание. Понял? (Грохнул кулаком по столу). Я здесь хозяин! Официально тебе говорю — ты мне надоел! Сколько можно терпеть: довольно, да? Сдавай дела. Уходи.

Комендант (начинает понимать). Та-ак. Это что же — согласовано?

Гулам (спокойнее). Я тебя предупреждал, Семен. Говорил — будь человеком. Ты не человек, Семен. Ты какой-то бесчувственный долдон, даю честное слово. Извини, пожалуйста.

Комендант. Согласовано, значит. (Вздыхает). Та-ак.

(Пауза.)

Гулам. Можешь итти, Комендант (хрипло). Гулам! Гулам. Что тебе? Комендант. Дай строгий, Гулам. Давал. Не помогает. Комендант. Дай с предупреждением. Ежели какие ошибки, то я осознаю. Перестроюсь. Теперь я на тебя ориентироваться буду.

Гулам (озадачен). Извини, как ты говоришь?

Комендант. А вот, когда я на разведку пришел, мне Мехти говорит: «Семен! Ориентируйся на меня. Не пропадешь».

Гулам. Якши, А я при чем? Комендант. Так вот, я теперь на тебя ориентироваться хочу.

Гулам (смеется). Не надо, Семен. Комендант. Так. Значит — все? Гулам. Все.

Комендант (не уходит). Могу по собственному желанию?

Гулам. А ты желаешь?

Комендант. Я?!

Гулам. Тогда нельзя.

Комендант. Так как же будет?

Гулам. Выгоню.

(Комендант, понурясь, идет к двери.)

Фатъма (потрясена). Ой, Гулам!

Гулам. Фатъма! Ориентируйся на меня. Не пропадешь. (Взял трубку). Квартира начальника? Марина-Ханум? Извините, пожалуйста. Да, да, Гулам. Мene-люм, покричите там Андрианову. Пожалуйста. Пусть в контору зайдет.

Марго (заглядывает в окно). Ушел Семен? Здравствуй. Зачем Андриануху звал?

Гулам. Какое твое дело — зачем?

Марго. Значит, есть дело, если спрашиваю. (Кличет). Ольга Петровна! (Она вошла. Постройневшая и посвежевшая, в мужском комбинезоне). Вот что, хозяин. Скажи Семену, чтоб не артачился. Чтоб сию минуту мне машина была.

Гулам. Зачем?

Марго. На «Сару» харч повезу. Вон, Ольга Петровна настряпала.

Ольга Петровна (вошла). Давай машину, не разговаривай.

Гулам. Ольга Петровна! (Прижимает руки к сердцу и кланяется). Даю слово, я вас так уважаю, как свою мать.

Ольга Петровна. Ладно, ладно. Какая я тебе мать. Новое дело — родственничек! Со своими мороки хватает.

Гулам. Провсжаем?

Ольга Петровна. Тимку-то? Собрала уж.

Гулам. Как Иван — ничего?

Ольга Петровна. А что Иван? Ничего. Говорит — парень молодой, должен воевать. Кряхтит — это само собой.

Зять, не своя кровь, а все родной человек.

Гулам. А Клава?

Ольга Петровна. Ничего. Конечно, ей тяжело — всего месяц-то и пожили. Ревела вчера.

Гулам. Э! Скажи, пожалуйста!

Ольга Петровна. За ним хочет ехать. Ну, не допускают. Ладно, не твое это дело. Пиши записку.

Гулам. Не надо записки. Скажи — Везиров приказал.

Ольга Петровна. Вона! Генерал! (Пошла к двери). Если не даст, я опять к тебе приду.

Гулам. Даст. Не беспокойся.

Ольга Петровна. А то прихожу нынче, говорю: «Семен. Повар в армию ушел, дай хоть я состряпаю». И-и, ни-почем! «Не могу доверить частному лицу. Все — и больше нет ничего». Это я-то частное лицо! (Вышла).

Гулам. Ай, Семен, Семен! Марго-Ханум, садись, пожалуйста. Фатъма, иди к себе, нам поговорить нужно.

(Фатъма уходит.)

Марго. Спасибо. (Садится). Закрыли фонтан?

Гулам. Эге.

(Пауза.)

Марго. Что ты на меня смотришь? Не видел раньше?

Гулам (улыбается). Не видел.

Марго. Смотри, смотри. Прощайся. Уезжаю нынче.

Гулам. Куда?

Марго. Совсем, от вас. Сначала в Баку, а там видно будет.

Гулам. Зачем, Марго-Ханум? Здесь теперь самая жизнь начинается.

Марго. А мне какая радость? Сегодня Майоров уедет — моей службе конец. Ты мне даром платить денег не станешь. И от Семена проходу нет. Нам двоим тесно тут, И ни к чему.

Гулам. Понимаю. Ко мне работать пойдешь?

Марго. Кем?

Гулам. Комендантом, поселка (пауза). Ну, по рукам?

Марго (не сразу). Ты что, Гулам, шутишь, что ли?

Гулам. Когда я с тобой шутил?

Марго. А я могу?

Гулам. Можешь. Что это — наука, геология? Душу надо иметь.

Марго. Стой! А Семен?

Гулам. Ай, не люблю десять раз повторять. Комендантом будешь, да. Комендантом.

Марго (встала). Ладно. Только смотри, Гулам. Если где хоть раз на собрании или в стенгазете шум подымут: бы-да такая, стала саяка, мы воспитали,

она воспиталась — убегу. И не сыщешь меня. Мне сейчас тихо надо пожить, строго. Всю себя продумать. Понял? Работать и все. Деньги нужны. Уговор?

Гулам. Уговор. (Протягивает руку.)

Марго. Спасибо, Гуламчик. (Она стоит спиной к зрителю.)

Гулам (с ужасом смотрит на ее лицо). Марго-Ханум?! Что с тобой?

Марго (подносит к лицу платок и сразу отнимает. На нем черное пятно). Ох, какая я дура!

Гулам. Что такое?

Марго (с нервным смешком). Ресницы с утра намазала. (Гудок автомобиля). Оленька Петровна, иду-у! Прощай, Гуламчик. (Выбегает).

(Слышен лязг отъезжающей машины и истошный крик Газанфара: «Стой! Стой! Возьмите меня обратно!»)

Газанфар (врывается в контору. Он в трансе, руки и лицо блестят от нефти). Кушать повезли — зря бежал. Здравствуй, начальник! Видел нефть, да? Смотри, да. Ньюай.

Гулам. Саол! Иди, помойся.

Газанфар (танцует). Не хочу. Целый день так буду ходить. (Вихрем вылетает на улицу, в ту же секунду подъехала машина, резко тормозит у крыльца. Раздается треск лопающейся доски и хриплый рев Мориса: «Это возмутительно! Это потрясающе!»)

Морис (в бешенстве). Это, черт его знает, что такое! Почему еще не повесили этого болвана?! Тридцать разведчиков работают всю ночь без передышки, и это никого не беспокоит. Люди хотят жрать! Что? Это не понятно?! Что ты молчишь, Гулам? Кому я говорю — тебе или этому шкафу?

Гулам (улыбаясь, протянул ему лист бумаги). Пиши, да.

Морис (схватывает бумагу, повертел, швырнул и завопил, как ужаленный). Что это такое? Зачем? Что это — издевательство?

Гулам (смирненно). Извини, пожалуйста. Я думал, ты хочешь писать заявление. Тринадцатое, да.

Морис (дико возрился на Гулама. Затем захохотал). Шалишь! Не поймал. Ты стал большой шутник, Гулам. (Хлопает его по плечу). Нет, серьезно: послали что-нибудь на «Сару»?

Гулам. Не беспокойся.

Морис. Так бы и сказал сразу. Из-за чего такой крик? (Увидел на столе банку). Тебе чужна эта банка? Будем считать, что она моя. Слушай, Гулам. Спаси меня от Клавы. Я увел у нее машину. Машина цела — это бесспорно, но, кажется, я сломал здесь перила.

(К крыльцу подкатила машина. Морис бросается к окну.)

Нет, Аллах велик — это не она. Так ты понял меня, Гулам?

Гулам. Якши. Ориентируйся на меня, Я сам тебя оштрафую.

(Хлопнула дверца машины. Вошли — Майоров, Гетманов, Мехти. Из двери рации выглянула Фатьма-Ханум.)

Майоров. Здравствуйте, кого не видел. Это мне? (Распечатывает радиogramмы). Прямо спасу нет — надо ехать.

Гулам. Поздравляю тебя, дорогой.

Майоров. Чего там — поздравляю. Ты скажи лучше — бригаду будешь кормить?

Гулам. Уже.

Майоров. То-то. Ты этого долдона, будь он трижды проклят, гони отсюда к лешему.

Гулам. Уже, дорогой.

Майоров (с любопытством взглянул на Гулама). И вот еще что. Оставляю на твоё попечение Маргариту Феофановну. Последи, чтоб к ней не приставали со всякой дрянью разные... любители. Она женщина одинокая. Матвей Леонтьевич, Фатьма-Ханум, вас тоже очень прошу. А главное — дай ей работу. Ты не смеяйся — она очень толковая.

Гулам. Уже, да.

Майоров. Опять — уже? Товарищ Везиров, если вы в ближайшее время не узнаете, — предсказываю вам блестящую будущность. Фатьма-Ханум! Пожалуйста сюда. Записывайте: «Выезжайте в Баку для отчета. Майоров, Гетманов, Рустамбейли». Передайте немедленно.

(Фатьма скрылась за дверью.)

Мехти (изумлен). Александр Гаврилович!

Майоров. Обождите минутку. Ты куда, Гулам?

Гулам. Дела, дорогой. Призывников провсжаю — двенадцать человек. Лично должен все проверить.

Майоров. Поедем вместе. Скажи там, чтоб мне налили бензину полный бак. И воды в радиатор. Вода чистая?

Гулам. Ты меня обижаешь. (Морису). Иди, да. Посмотрим, что ты там сокрушил. (Выходят).

Майоров (притворил дверь за ушедшими и вернулся обратно). Ну-с, давайте подводить баланс. (Пауза). Ты молчишь, Андрей?

Гетманов. Да.

Майоров. Тебе нечего сказать?

Гетманов. Не нечего, а очень трудно. Я еще не вполне понимаю, что произошло. Я все тот же, но мне кажется, что внутри меня что-то обрушилось и я, как мешок, набит осколками. Я плохо

объясню — ты не поймешь. Вероятно, так чувствует себя командир, который поддался панике и бежал с поля битвы. А в это время кто-то другой остановил его роту, повернул ее обратно и победил. Скверно!

Мехти. Клянусь небом, я тебя не понимаю.

Гетманов. Не бойся, Мехти. Я не собираюсь валять на тебя свои грехи. У тебя хватит собственных.

Мехти. Клянусь, меня поражает твое настроение. В такой торжественный день...

Гетманов. Я был бы большим наглецом, если бы пытался торжествовать. На разведке большой праздник, но на нем все отлично обходятся без меня. Я здесь лишний. Если ты захочешь посмотреть правде в глаза, то тебе остается сказать то же самое.

Мехти. Говорят, русский человек любит каяться. Исклчительно верно. Кто тебя просит устраивать Шахсей-Вахсей и бить себя по голове? А если уж не можешь удержаться, — говори, пожалуйста, о себе. Я не вижу оснований, чтоб мне плакать и терзать свою грудь скорпионами. Не отрицаю — мы ошибались. Надо особенно благодарить Александра Гавриловича за то, что он исключительно во-время помог нам заметить нашу ошибку...

Гетманов. Ты, кажется, хотел говорить только за себя.

Мехти. Хорошо. У меня была неправильная точка зрения. У меня. В конце-концов, я не геолог. Я заблуждался. Назовите меня маловеком. Нужно, чтоб я это признал? Хорошо. Я малове, отсталый человек. Мне очень жаль, это мое несчастье, но все-таки — не преступление. Правда? В конце-концов, мы победили. Мы дали нефть. Победителей не судят.

Майоров. Вы очень заблуждаетесь, Мехти-Ага.

Мехти. Именно?

Майоров. Судят.

Мехти. Вот как? Может быть, я должен сдать дела?

Майоров. Зачем? Вы давно уже не у дел.

Мехти. Вот как? Советую не забывать, что мы живем в Советской стране. На нашем языке ваше поведение имеет определенное название.

Майоров. Какое?

Мехти. Травля азербайджанского специалиста.

Гетманов. Замолчи, Мехти. Ты говоришь вздор.

Мехти. Мне не нравится, когда со мной говорят таким тоном. Когда ты в следующий раз захочешь обратиться ко мне, — потрудись тщательно выбирать

выражения. И не вмешивайся. Я отвечаю за свои слова.

Майоров. Точно. И за действия тоже.

Мехти. Да, если это нужно. Пока мне не в чем себя упрекнуть.

Майоров. Счастливым характер! (В его руках газета). Кстати, я давно хотел вас спросить. Какое отношение вы имели к появлению этой статьи?

Мехти. Это что же — допрос?

Майоров. А вы назовите, как вам нравится.

Мехти (высокомерно). Если это допрос, — я требую, чтоб его вели на моем родном языке. Вам известно, что это мое право?

Майоров. Это становится интересным. Пожалуйста. Сиз карадан билирсиниз бу магаланни? Билинизки Гетманов бурададыр, менбу меселе иле азджа танышан?¹

Мехти (бросает злобный взгляд на Гетманова). Хеч бир шей².

Майоров. Я тоже думаю, что никого. Мегалени мен язмышам³. Ну, это так, к слову. Сыз геологу горхутмушдынызмы о эризег гол чексин эгер гол чекмесе Андрей ону мехв эде билер?⁴

Мехти (неуверенно). Мен бу меселени баша дюшмедим⁵.

Майоров. Чего тут не понимать. Просто, как палец. Димишдиниз я йох?⁶

Мехти. Ну, довольно. Я вижу — вам трудно. Хорошо, я не буду настаивать. Давайте говорить по-русски.

Майоров. Нет, зачем же. Мне совершенно безразлично. Димишдиниз я йох?

Мехти. Довольно. Я погорячился. Давайте говорить по-русски. В конце-концов, я настаиваю.

Майоров. Настаиваете? Почему?

Мехти. Почему?

Майоров. Да, почему?

Мехти. Да что вы, чорт возьми, не видите... что я не понимаю по-азербайджански?

Майоров (после паузы). Вы? Азербайджанец?

Мехти. Да, я родился в Баку. Но у нас в семье говорили только по-русски и по-французски.

Майоров. Все ясно. Ну что-ж — хорошо. Так и быть, я вам переведу. Я

¹ Какое отношение вы имели к появлению этой статьи? Учите, Гетманов здесь и я немножко знаком с этим вопросом.

² Никакого.

³ Статью написал я.

⁴ Угрожали ли вы геологу, что если он не подпишет записку, Андрей его уничтожит?

⁵ Не понимаю вопроса.

⁶ Говорили или нет?

спрашивал вас, говорили ли вы Морису, если он не подпишет докладную записку, Андрей его уничтожит?

Гетманов. Что?

Майоров. Говорили или нет? Может быть, позвать Мориса?

Мехти. Не нужно. Да, говорил.

Гетманов. Это шантаж!

Майоров. Молчи, Андрей. (К Мехти). Вы лгали?

Мехти. Нет. Я говорил правду.

Гетманов. Повтори, что ты сказал?

Мехти. Я передал Морису твои подлинные слова.

Гетманов (вскочил). Он лжет! Мерзавец!!

Мехти. Молчать!!! (Он тоже вскочил, сжимая в руке папку).

Майоров. Отставить!

(Дверь с грохотом распахивается. На пороге — Газанфар. Все обернулись.)

Что тебе, Газанфар?

Газанфар. Прости, елдаш начальник. Я думал, здесь кто-нибудь с тобой хочет некрасиво, грубо поступать. Прости, пожалуйста.

Майоров. Что ты, Газанфар? Иди, иди.

Газанфар. Саол. А-то — позсви. (Исчезает.)

Майоров. У меня остался один последний вопрос. Вы утверждаете, что искренне заблуждались в оценке перспектив разведки?

Мехти. Да.

Майоров. Вот два черновика докладной записки. Оба написаны в один день.

(Мехти молчит.)

Гетманов. Да не тяни же!..

Майоров. Позвать Марго?

(Мехти молчит.)

Майоров. Вы не хотите разговаривать?

Мехти. Нет. Я вижу, что мне шьют дело. Для полноты картины нужен классовый враг. Клянусь, я отлично вас понимаю. Завтра вы скажете, что я состою в контрреволюционной организации или работаю в германской разведке?

Майоров. Нет, не скажу. Чего не знаю, того не знаю. Я не чекист, а инженер. Для меня вы — враг. Вы мешаєте мне работать. И я для вас тоже враг, потому что мешаю вам жить. За это вы меня и ненавидите.

Мехти. Неправда.

Майоров. Неправда? Жалко, в конторе нет зеркала. Вы бы взглянули сейчас на свое лицо. (Мехти отводит глаза). Если вам нужно зайти домой, — в вашем распоряжении, примерно, пять минут. (Мехти вышел). Обожди, Андрей. Я узнаю, как дела с машиной.

(Гетманов секунду стоит неподвижно. Затем отпирает шкаф, вынимает револь-

вер, ставит на боевой взвод. Видя, что Майоров вернулся, прячет его за спину.)

Майоров (показывает на стол). Положи на стол. Ну?! (Взял револьвер, разрядил и бросил обратно). Что это значит?

(У Гетманова дрожат губы, он не может ответить.)

Майоров. Что с тобой?

Гетманов. Ничего. У меня вдруг промелькнула такая страшная мысль... Мне показалось, что я схожу с ума.

Майоров. Не валяй дурака. Какая мысль?

Гетманов. Мне на секунду показалось... Ведь теперь ты вправе думать обо мне, что угодно. Как о Мехти, может быть, хуже. Мне показалось, что ты можешь подумать... а вдруг?.. Нет, конечно, чепуха.

Майоров. Ничего не понял. Говори прямо.

Гетманов (с трудом). Одним словом, что ты можешь подумать... что я хотел выстрелить в тебя.

Майоров. Ты очумел? (Вздрогнул). Чорт, действительно страшная мысль. Нет, мне показалось другое: не собираешься ли ты пустить себе пулю в лоб. (Гетманов опускает глаза). Да? (Пауза). Хорош.

Гетманов. Саша!

Майоров. Хорош! Карьера дала трешину — бац из пистолета! Как проигравшийся купчик. Для чего жить? Мир — это я, и ось вселенной проходит через мой собственный пуп. За это одно тебя надо выгнать из партии.

Гетманов. Саша. Ты тысячу раз прав, но пойми же и меня. Я конечный человек. Меня уже нет. Я не могу доказать, что я не преступник, не шантажист. Теперь мне никто не поверит, даже ты, а ведь ты знаешь меня много лет...

Майоров. Нет, почему? я верю. Верю, что ты не шантажировал Мориса. Я не так прост и вижу, где Мехти врет. Ты честно умыл руки. Когда ты предлагал закрыть разведку, тебе тоже казалось, что ты поступаешь честно. Ты врал самому себе. Это и называется — кривить душой. Пожалуй, что самая опасная порода лжецов — лжецы, верящие в свою работу.

Гетманов. Саша!

Майоров. Что Саша? Я хотел быть тебе другом, Андрей. А теперь — не могу. Все — кончилось. Оборвалась ниточка.

Гетманов (опустил голову). Я буду просить, чтоб меня послали на фронт.

Майоров. А поди ты... Фронт — не монастырь. На фронт идут драться, а не замаливать грехи. Кому ты там нужен?

Теймур — строевой командир, а ты кто? Необученный рядовой? На фронте тебя бы за эти штуки (показывает на револьвер) не помиловали. Вывели бы перед строем и расстреляли, как дезертира.

Гетманов. Саша, пойми. Это непросительно, я знаю. Но что мне делать? Я потерял все. Завтра от меня отвернутся все, кто знал. Друзей у меня нет. Конечно, я потеряю Марину. У нас и раньше было неладно, а теперь...

Майоров. Я не вправе один решать твою судьбу. Думаю, что партийный билет у тебя отберут. Это будет справедливо. Что дальше? Работать. Становись на место Теймура. Исправляй кривизну.

Гетманов. Какую?

Майоров. Свою. Отдай разведке не только силы и время — отдай душу и сердце. Отдай все — как на войне. (Прячет в карман револьвер).

Марина (заглянула в контору). Можно? (Вошла. На ней дорожное пальто). Ты едешь, Андрей?

Гетманов. Да.

Марина. Иди домой. Выпей чаю и съешь чего-нибудь. Иначе тебя укачает в машине.

Гетманов. Спасибо.

Марина. Я сейчас приду. (Когда Гетманов вышел). Саша. У меня к тебе огромная просьба. Скажи — у тебя есть место в машине?

Майоров. Ты хочешь ехать?

Марина. Да. Андрюшке плохо. Я хочу быть все время с ним.

Майоров. Конечно, конечно.

Марина. Ты прости, что я с тобой не поздоровалась. Я давно тебе хотела сказать, но с тех пор нам ни разу не пришлось поговорить наедине. Я тебе очень благодарна, Саша.

Майоров. Я тебя не очень обидел?

Марина. Положим, очень. Все равно. Я тогда могла натворить такого, чего не простила бы себе всю жизнь.

Майоров (с усилием). Как у тебя с Андреем?

Марина. Тебе покажется странным — он мне сейчас гораздо ближе. Раньше мне казалось, что я ему совсем не нужна.

(Пауза.)

Сашка! Если я уеду, ты меня будешь вспоминать?

Майоров. Зачем тебе?

Марина. Мне это очень нужно. Я верю, что мы еще встретимся. Потом, после войны. Не знаю, чего я жду от этой встречи, но мне необходимо знать, что ты есть, и я для тебя не пустой звук. Ну, прощай.

Майоров. Почему — прощай? Мы едем вместе.

Марина. В Баку мы не будем видеться, Саша. (На молчаливый вопрос). Так лучше.

Майоров. Маринка!

Марина. Не надо, Саша. Не говори со мной. Мне будет труднее. Прощай. (Крепко целует его). Ты заедешь за нами? (Не дожидаясь ответа, быстро идет к двери и сталкивается на пороге с сияющим, возбужденным Теймуром).

Теймур. Здесь! Мастро, Клавка, сюда! Отец, дорогой. Едем?

Майоров. Едем.

(Входят Иван Яковлевич, Ольга Петровна, Клава, Морис, Фатьма, Газанфар. В дверях группа призывников с сундуками и баулами.)

Теймур. Отец, веришь, я сейчас такой счастливый человек, что места себе не нахожу. Вчера утром приносят повестку — э, думаю, не везет человеку — не увижу, как нефть пойдет, дело своих рук не увижу. Вечером — бац, на «Саре» фонтан! Теперь душа моя спокойна — мне во всем удача будет. Наверно, я в рубашке родился, — не помню, конечно... Я Клаве говорю — она не верит.

Клава. А, ну тебя! Ты какой-то шальной... (Целует его).

Морис. Пустите! Я тоже хочу его поцеловать. (Обнимает его). Дорогой Теймур! Мы с тобой взрослые люди и не верим в амулеты, но эту вещь ты все-таки возьми и храни. (В его руках маленький мешочек). Иногда смотри на нее и вспоминай о нас. Так что это не амулет, а скорее сувенир.

Майоров. Что это, Матвей Леонтьевич?

Морис. Ничего. Всего только проба. С глубины двух тысяч метров. Кусочек советской земли. Вот, Я за тебя спокоен, Теймур. Да! Да! Ты настоящий разведчик. А настоящий разведчик останется им везде.

Теймур. Спасибо, дорогой. Надеюсь, не опозорим «Елу-Тапе». Беспощадно будем бить.

Иван Яковлевич. Тимка, иди сюда. (Троекратно целуются). Ну, благоговаяю. Ворочайся цел. Вернешься — город будем здесь строить. Сашка! (Обнимает его). Езжай — и будь в надежде. Нефть дадим.

Газанфар. Дадим, да.

Гулам (появляется в дверях). Можно ехать.

(Движение.)

Ольга Петровна. Куда? Как это можно. Обычай есть — присесть перед дорогой.

Иван Яковлевич. Обязательно.

(Все садятся. Короткая пауза.)

Так. Теперь пошли. (Последние рукопожатия, люди двинулись к выходу.)

Майоров. Погоди, Теймур. (Вытаскивает из-под стола чемодан). Помоги мне затянуть ремни. Вот так — покрепче.

Теймур. Али, дорогой. У меня сердце болит. Почему ты немного грустный?

Майоров. Я? Тебе показалось. Почему я могу быть грустный?

Теймур. Али, скажи. Мне можно сказать, Ты ее любишь, да?

Майоров (внимательно поглядел на Теймура). Люблю.

Теймур. Э! А она тебя, а?

Майоров. Не знаю. Кажется, тоже.

Теймур. Ну?

Майоров. Больше ничего.

Теймур. Как же так может быть?

Майоров. Тебе сколько лет, Теймур?

Теймур. Уже двадцать пять.

Майоров. Двадцать пять. С кем я разговариваю! Что ты вообще понимаешь, щенок?

Теймур. Э, давай будем уважать друг друга.

(Выходят. Слышно, как рычат заведенные моторы машин, шум голосов, ругань духовых инструментов. В контору вваливается комендант. На нем грязные белые брюки и сандалии на босу ногу. Он пьян. Бессмысленно поводя глазами, он толчется между столов. Вслед за ним вбегает Гулам. Снимает со стены знамя и идет к выходу.)

Комендант (хватает его за руку и преграждает дорогу). Стоп! Нет, ты скажи! Ты скажи мне одно. Так? Со мной — это правильно? Это правильно? Нет, ты скажи.

Гулам. Я тебе скажу, что говорит народ: «Мудрый человек грудью встречает врага и только от дурака бежит без оглядки». (Выбегает).

(Грянул духовой оркестр. Приветственные клики. Грохот двинувшихся машин.)

Конец

ПРОЩАНИЕ

МАРИЯ КОМИССАРОВА

★

Полыхает, полыхает
Над просторами война,
Провожает, провожает
Мужа в армию жена.

Сшила теплую фуфайку,
Сшила варежки ему,
Эбернула ноги в байку
Дорогому своему.

И кисет с тоской сердечной
Подала ему в слезах,
Донесла мешок заплечный
До состава, на путях.

Эшелон пошел на запад,
А жена пошла домой,

Дома дети — надо стряпать,
И везде успеть одной.

Крепче стойте, бабьи ноги,
Не ломись от горя грудь,
И забот, и дела много.
После можно отдохнуть!

Ты лети, лети, соколик,
Высоко и далеко!
И жена, вздохнув от боли
Тяжело и глубоко,

Вытрет слезы и шагает,
Вот пришла домой одна...
Дни и ночи полыхает
Над просторами война!

ПУШКИН НА ЮГЕ*

Роман

ИВАН НОВИКОВ

★

★

Тут Пушкин встал. В первый раз за все утро, исполненное прохлады и света, почувствовал он, как что-то жарко отозвалось в груди. Такая простая мысль! Но вот она прозвучала из уст этого сурового, собранного человека, как некая реальная возможность, и она подняла с места.

А Пестель уже говорил о справедливом распределении земли и о такой организации хозяйства, чтобы продукты земли были в изобилии. Он употребил именно это слово, похожее само по себе на горсть зрелых плодов.

И говорил о фабриках:

— И все же, когда земледелие утверждает самое точное основание для собственности и равенства и покровительствует рабству, фабрики открывают существование новый источник богатств, который делает человека гражданином всех стран и распространяет дух независимости и свободы.

Несовсем понятно было это Пушкину, но почему-то он соглашался, когда Пестель настойчиво утверждал, что развитие фабрик создаст процветание искусств и наук.

Это была одна из самых оригинальных мыслей, высказанных собеседником Пушкина.

Да, он говорил, как полководец, видящий в победе своей благородную цель, — счастье человечества. Он думал о людях и мысленно строил свое государство. Но строя свое государство, он окидывал оком весь мир, как некий завоеватель.

Пушкин невольно спросил, как думает он о Наполеоне, и Пестель ответил тотчас:

— Полководец Наполеон был истинно великим человеком, но... Но если бы России довелось повторить его опыт, его надо бы было повторить по-иному. И На-

полеон отличал не знатность, а дарование, но надо бы было уважить и дарование целых народов. А кто составляет народ? Ужели верхи и дворянство?

Прощаясь, он говорил, как люди всегда говорят, о самом существенном — о личном, своем. Пестель не говорил о своем назначении, он разумел нечто большее, он говорил о призвании.

— Но, — добавлял, — надобно помнить, что ни твердая воля, ни железный характер, ни умение, ни знание не решают еще исхода битвы: нужно решение принять в точно рассчитанную минуту, не опаздывая и не упреждая событий.

Пушкин вышел на улицу. Ему доставила громадное наслаждение беседа с Пестелем. «Это один из самых оригинальных умов, какие я знаю, — думал он про себя. — Вот свести бы его с Чаадаевым!»

★

Пушкин в беседах с Орловым и Инзовым часто поминал словечко «Лайбах», но, оказывается, и в Лайбахе, среди важных государственных дел, не забывали про Пушкина. Оттуда поступил запрос о его поведении, составленный графом Каподистрия и утвержденный царем, которому шпионы доносили, что смыслный поэт публично ругает, и даже в кофейных, военное начальство и правительство. Пушкин действительно в этом отношении себя не стеснял, но Иван Никитич, хорошо обо всем этом зная, на запросы писал в духе истинного благодушия. «Пушкин, живя в одном со мною доме, ведет себя хорошо, и при настоящих смутных обстоятельствах не оказывает никакого участия в сих делах». А кстате ходатайствовал, чтобы положенное ему жалованье в Петербурге, в размере семисот рублей в год, высылали сюда, ибо Пушкин «теперь, не получая сего содержания и не имея пособий от родите-

* Продолжение. Начало в № 7—8, 1943 г.

ля, при всем возможном от меня вспоможении терпит, однако ж, иногда некоторый недостаток в приличном одеянии».

И в конце-концов Инзов добился и жалованья, и отвел-таки грозивший Пушкину иск на две тысячи рублей, вторично предъявленный ему в Кишиневе. Было решено, что Пушкин даст письменный отзыв о своем несовершенстве при подписании заемного листа, выданного барону Шиллингу в погашение проигрыша, и о том, что не имея никакого имущества, ни движимого, ни недвижимого, не может его оплатить. Так с этим тягостным делом было покончено, наконец, навсегда, и дворовый человек барона, которому тот подарил свои права, остался ни с чем.

Пушкин томился. Он то мечтал, что ему разрешат приехать хотя бы на короткий срок в Петербург, то серьезно раздумывал, не отбыть ли ему тайком к Ипсиланти. Он написал ему письмо и отправил с одним молодым французом, который направлялся к нему, чтобы вступить в греческую армию. Видя его томления, Инзов отпустил Александра ненадолго в Одессу.

Пушкина эта поездка весьма развлекала. Снова увидел он море и волны, и его охватило весеннее оживление приморского шумного города, где все также было полно новостями, событиями. Он очень жалел, что не был здесь в самые первые дни, и жадно ловил все рассказы о том возбуждении, которое охватило Одессу.

«Восторг умов дошел до высочайшей степени, — писал он одному из своих близких приятелей: — все мысли греков устремлены к одному предмету на независимость древнего Отечества. В Одессах я уже не застал любопытного зрелища: в лавках, на улицах, в трактирах везде собирались толпы греков, все продавали за ничто свое имущество, покупали сабли, ружья, пистолеты, все говорили о Леониде, о Фемистокле, все шли в войско щастливца Ипсиланти. Жизнь, имения греков в его распоряжении!»

«Странная картина! Два великие народа, давно падших в презрительное ничтожество, в одно время восстают из праха — и возобновленные, являются на политическом попроче мира. Первый шаг Ипсиланти прекрасен и блистателен! Он щастливо начал — 28 лет, оторванная рука, цель великодушная! Отныне и мертвый или победитель он принадлежит Истории. Завидная участь!»

Александр искренно завидовал каждому, кто отправлялся на эту благородную войну. Таких людей, добровольцев, было немало. Ему случалось видеть и беженцев, прибывавших из тех мест, где развывало восстание. Он их жадно спрашивал, но сведения, которые они могли передать, бывали случайны, обры-

вочны. Оттого ему страшно хотелось не пропустить возвращения Пестеля, и он в Одессе не задержался.

При этих новых встречах Пестель открылся Пушкину с какой-то и новой еще стороны, которую он полностью не мог для себя определить, но которая возбуждала в нем смутное недоумение.

У молдавнского господяра Михаила Суццо, прибывшего в Кишинев по пути в Италию и здесь задержавшегося, Пестель держал себя так, как подобает держать человеку, стоящему на стороне князя Ипсиланти. Правда, и здесь он не проявлял ни малейшего энтузиазма и не произносил никаких громких фраз, но он не скрывал своих пожеланий успеха греческому оружию.

Пушкин с интересом наблюдал обоих собеседников.

Суццо, сочетавший в себе некоторую, кажущуюся флегматичность с необычайной внутренней порывистостью, которую всячески сдерживал, но не мог окончательно утаить, был кровно заинтересован, чтобы это «государево око», как экспансивно шепнул он Пушкину, видело то, что надо, и не видело кое-чего того, чего не надо. Соответственно он и вел разговор, начав с изысканных комплиментов уму и дарованиям своего гостя, «о которых слышан со всех сторон». Впрочем, очень скоро он увидал, что это было совсем лишнее и могло скорее повредить, чем помочь.

Но нация, выросшая у морских берегов, отлично умеет слушаться ветра и управляет парусами, а потому господарь очень ловко, ничуть не меняя общей тональности, — иначе получилось бы все это заметно и грубо, — перенес свои комплименты и высокие, идущие от сердца оценки, с самого Пестеля на ту страну, достойным сыном и представителем которой тот является. Очень искусно при этом дал он понять, что Каподистрия близок к царю и, конечно, сам император, как истинно русский человек, должен всем сердцем сочувствовать справедливому делу своих единоверцев эллинов.

Пушкин полностью разделял все чувства Суццо, но его расхолаживали эти дипломатические извороты в изложении мысли. Он поглядывал на спокойного, молчаливого Пестеля, ничем не выражавшего своего отношения к тому, что он внимательно слушал. «К чему эта игра? — думал про себя Пушкин. — Разве и так все недостаточно ясно, и какие основания у Суццо думать, что Пестеля надо в чем-то еще убеждать? Он точно бы хочет в чем-то его обойти». А ежели так, то Пушкину захотелось, чтобы тонкий фанариот не обошел русского офицера.

И Пушкин еще раз взглянул на сидевшего, на сей раз в тени, Пестеля. Но, казалось, тот не нуждался в этой благо-

приятствовавшей ему тени: ему нечего было ни скрывать, ни лукавить.

Так Павел Иванович Пестель и заговорил. Он напишет в докладе все точно так, как это есть в действительности, но в высказывании личных своих чувств, на что он помимо всего прочего и не уподомочен, конечно, нет никакой надобности. Тут прозвучала как бы суховатая, чиновничья нотка. Это было, конечно, несвойственно Пестелю, но тогда в чем же дело? что под этим скрывалось?

Пестель так говорил, что не давал ни малейшего повода в чем-нибудь ему возразить. Все было ясно и точно. Не в чем было его убеждать. И кажется, сам Суццо, в конце-концов, был удовлетворен. Но у Пушкина остался на душе все же вопрос. Нет сомнения в том, что Павел Иванович изложит вполне точно действительность. Но он уж никак не чиновник. Какое-то устремление его мыслей должно будет сказаться. Какое же?

И Пушкин оказался прозорливее дипломата Суццо. Тот боялся более всего, не оценит ли Пестель движение слабым с чисто военной его стороны, и успокоился после ряда наводящих вопросов: Пестель считал, что восстание только вначале и дела идут неплохо, а, кроме того, Ипсиланти в Греции не одиноки, на юге развиваются и самостоятельно важные события. «Хорошо», — думал Суццо, а Пушкин, не зная в чем именно это выражается, чувствовал, однако, что у Пестеля есть какая-то своя особая позиция по коренному вопросу: следует ли выступать России на помощь грекам.

И вот это-то сомнение и тревожило Пушкина. По лицу Пестеля ничего не прочиать. Обратиться с прямым вопросом, раз сам человек что-то замалчивает, может быть неудобно. Да что неудобно! У всякого другого спросил бы, а этот так умеет молчать о том, о чем хочет молчать, что и не спросишь. А и спросишь, все равно ничего не узнаешь, только себя же поставишь в неловкое положение. Изумительный человек!

Поднявшись, чтобы уходить, Пестель как бы в порядке светской любезности осведомился, как долго еще Суццо побудет в Бессарабии и куда потом собирается отбыть.

— Как долго, не знаю. Все это зависит от обстоятельств, а думаю проехать в Италию.

— Благословенная страна. Чудесная природа, — с нескрываемым равнодушием промолвил Пестель в ответ. — Вы, конечно, отдохнете там от тревожений.

— Да, эта поездка моя будет носить совершенно частный характер, — отозвался Суццо с какою-то особою вибрацией в голосе.

Этот ответ доставил видимое удовольствие Пестелю. Он и ранее знал, что

Суццо собирается в Италию, но это был именно точный ответ на то, что он хотел для себя утвердительно выяснить невинным своим и любезным вопросом о маршруте дальнейшего путешествия молдавнского господаря Михаила Суццо. Для Пушкина все это прояснилось постепенно в течение последующих дней.

Пестель, задержавшись в Кишиневе, неторопливо, но зато обстоятельно писал свой доклад. Он не сделал из него тайны для нескольких избранных лиц, предупредив их о том, что он сообщает его доверительно, и Суццо знать о нем ничего не должен.

В докладе своем Пестель очень подробно и ясно изложил всю фактическую историю дела. Суццо ни в чем не мог бы его упрекнуть: ни в замалчивании, ни в преувеличениях в какую бы то ни было сторону, ни в пристрастном освещении фактов. Точно так же Пестель говорил ему точную правду, что никаких советов или мнений по поводу того, следует ли России вмешиваться в греческие дела, он делать не будет. Но он высказал свое мнение по другому весьма существенному вопросу.

Пестель писал, что греческие события «могут иметь важные последствия; если существует 800 тысяч итальянских карбонариев, то, может быть, еще более существует греков, соединенных политической целью. Сам Ипсиланти, я полагаю, только орудие в руках скрытой силы, которая употребила его имя точкою соединения».

Чем руководствовался Пестель, писав эти строки?

Инзов его одобрял. Он не чувствовал большой нежности к грекам, а равно и к восстаниям, приносившим с собою смуту народную. Но главное, он не одобрял вообще вмешательства в дела чужеземные и не был поклонником войны «во всяком углу». Сфера его забот и раздумий была ограничена территориально, но это были заботы устроительного характера по заселению и приведению в порядок новой провинции. Зато Орлов, как легко было заметить, не только не был в восторге, но коренным образом расходился с Пестелем, и именно от него Пушкин узнал о той позиции, которую занял автор доклада. И сам Александр был не менее удивлен и раздражен.

Раздражение это еще более усиливалось тем, что Орлов категорически потребовал от него, чтобы он и виду не показал, что ему что-то известно, и ни о чем не спрашивал Пестеля.

Итак, Пестель, прямо не говоря, был, однако же, явно против того, чтобы могущественная Россия оказала помощь слабой и угнетенной Греции. И это позиция революционера? Мыслимо ли это понять?

Так это и оставалось для Пушкина странной и тревожной загадкой, которую он постиг лишь при другом, не в Кишиневе, свидании с Пестелем, оказавшемся их последнею встречей.

И, однако же, огромная внутренняя сила этого человека непрерывно привлекала к себе внимание Пушкина. Они встречались не раз, но встречи эти бывали на людях, где Пестель имел обыкновение приоткрывать, быть может, не более как на четверть себя настоящего.



Двадцать шестого мая был день рождения Пушкина.

Инзов в тот день поднял бокал за виновника торжества и пожелал полной удачи «в важной его литературной работе».

Все обедавшие насторожились и готовы были уже крикнуть «ура» и начать чекаться по поводу неожиданного признания начальником края сводолюбивой музы поэта, но Инзов приостановил их движением руки.

— Эта работа, о коей я говорю, имеет большое значение для нашего края, значение истинно государственное.

Кажется, один только Пушкин начинал догадываться, куда начальник его клоа свою речь. Он, улыбаясь, чертил на скатерти инзовский профиль.

— Я имею в виду, — закончил Инзов, — большую работу, которою, по моему поручению, занят наш дорогой новорожденный, а именно перевод с французского молдавских законов. Его превосходное знание французского языка и ожидаемая мною изрядная русская проза...

Но Инзову не дали кончить. Все дружно захохотали, заплодировали и поздравляли равно и новорожденного и постариковски остроумного Инзова. Пушкин в ответ пообещал, если только его превосходительство позволит, попробовать некоторые отделы перевести и в стихах, подобно тому, как он это сделал с десятою заповедью Моисея. Генерал ограничился тем, что погрозил ему пальцем.

ЖАРКОЕ ЛЕТО

Пестель уехал. Лето. Австрийцами заняты Неаполь. Под Скуаянами наголову разбиты турками греки. Ипсиланти бежал. Россия не поддержала. Большая волна, которая поднималась, спадает. Жаркое лето. Пыль, духота. Умер Наполеон.

Кишинев продолжает шуметь пришлым народом. Одних арнаутов до шестисот. Временами они исчезают за Прут. Часть погибает, часть возвращается. Однако же многие и просто разбойничают: поразбойничав, скрываются за Прут, а те, что разбойничали там, ищут прибежище

здесь. В Кишиневе прозвали их «вольноплясами».

Был томительно жаркий день. Все, кто только мог не выходить на улицу, отсиживались дома. Окна занавешены от непрерывно атакующих солнечных лучей. Собаки лежали в тени, распластанные и неподвижные, как набитые шкуры. Даже птицы примолкли, и только раскаленный воздух был звонок сам по себе и от малейшего сотрясения, казалось, раскалывался на мельчайшие острые брызги.

Пушкин с утра много работал, но сейчас стало невмоготу. Приятелей видеть ему не хотелось. Сегодня он недоволен собой. Особенно остро ощущалась бесцельность здешнего его пребывания. Скоро должны приехать Раевские... И поправлял себя: не Раевские, а Орловы. Екатерина Николаевна уже не Раевская! Смутно ему представлялось: молодой генерал, красавица жена, и входит он... Кто? Да так, знакомый... молодой человек. Знакомый! Но какая же дьявольская жара! И сколько этих молодых и красивых жен генералов... Он вспомнил рассказ Александра Раевского о Елизавете Ксаверьевне Воронцовой, которая тоже в конце концов вышла замуж за генерала. Или самое это звание дает его обладателям красоту и пленительность, неотразимость? А вот когда бы приехали, а он на войне!

Александр был раздражен на себя, на друзей, на Кишинев.



С Давыдовыми, проездом в Одессу, прибил один их знакомец, молодой человек, очень воспитанный и изысканно любезный. Это был очень богатый и знатный граф Густав Филиппович Олизар; он откровенно влюблен был в Марию. Пушкин досадовал, что он не мог на него в полную меру сердиться: сам по себе молодой человек («к несчастью!») был симпатичен, душа у него чувствительная и поэтическая. Однако еще большим его достоинством было то, что сама Мария, очевидно, никак не отзывалась на его нежные чувства.

Но кто особенно восхищал Пушкина, это опять-таки Николай Николаевич. Он слышал однажды, как тот говорил в кабинете Орлову:

— И что мне до того, что давний предок его созывал какой-то там сейм, а другой предок был маршалком коронного трибунала, а потом стольником великим, и опять же коронным. А отец его опять-таки был маршалком коронного трибунала при Станиславе-Августе и послом на сейме девяносто второго года, и членом русской эдукационной комиссии на Литве, а брат Нарцис Филиппович сенато-

ром состоит Царства Польского.. Что мне до того?

— А вы хорошо изучили всю родословную графа!

— Изучишь, мой друг, когда он вот-вот постучится в семью: можно ль войти? А ведь различие наших религий, различие способов понимать взаимные наши обязанности, да, наконец, и различие национальностей наших..

Пушкин никак не различал национальностей в деле любви, а о религиозных различиях ему и помыслить было бы смешно, но он тем не менее слушал это сейчас с превеликим удовольствием, ибо это воздвигало преграду между Марию и Олизаром. Но уже поглубже надо было бы задуматься над этим «различием способов понимать наши взаимные обязанности», что особенно подчеркнул Раевский, и это не банальная мысль о религии и национальности, — то мог бы высказать и всякий другой человек старого склада, — в этом же проступал внутренний характер самого Николая Николаевича, думающего и поступающего именно что «на свой салтык». Но Пушкину некогда было особенно размышлять, разговор шел и дальше.

— Да к тому же, — продолжал Раевский, — он уже женат..

— На иностранке, — добавил Орлов.

— Да, на графине де-Моло. И уже успел развестись. Двадцати лет от роду, и уже развелся.

«Они говорят о нас, как о мальчишках», — невольно подумалось Пушкину.

— И всё маршалки да маршалки! — опять с нескрываемым раздражением вернулся к той же теме Раевский. — И этот вот-вот станет киевским губернским маршалком.. Да что мне до того!

И это опять была собственная благородная натура Раевского: он терпеть не мог величания чинами и званиями.

Вместо привычных политических разговоров вечером был домашний концерт. Граф Олизар очень недурно играл. Руки его, несколько женственные, с длинными пальцами, томно задерживались в воздухе прежде, чем упасть на клавиши. Мария пела.

Александр слушал ее издали, затаясь. Свет от свечей трепетно озарял ее все еще полудетский профиль. Как и на рисунке его, голова девушки устремлялась вперед, несколько широкая, девически нежная шея слегка колебалась, покорствуя звукам, и все это вместе было так человечески гармонично и дышало такою чудесною, не небесной, а земной чистотой, что нельзя было не поддаться ее обаянию.

Голос Марии совсем не был силен и не отличался какой-либо особою красотой, но, и не умея, она умела сказать в нем себя. Сказать не словами, где человек все же несколько как бы расчленяет себя, и

всегда надо немного подождать, чтобынастоящему верно понять и воспринять то основное, ради чего всё и говорилось. Здесь же всякий звук и каждая мелодическая фраза сразу воспринимались в их истинном выражении и полноте. **М** выражение это было живое, свое, ей одной в мире принадлежащее.

Порою голос пел и о тревоге, вставали вопросы, раздумье, борение с собою самой. Это никак не была первобытная невинность птичьего пения или хрустальные звуки ручья, горящего о непрерывном движении мира. Сложность, сознательность и острота человеческой жизни, объемлемые, однако, гармонией, все богатство противоречий, преобладаемых живым человеческим «я», — вот что звучало в тот вечер для Пушкина.

Как музыку слушают? В меру богатства души самого слушающего. И еще ее слушают так, что у каждого встанут свои ответные видения. Они не имеют какой-либо видимой формы, но у них есть своя жизнь, тесно сплетающаяся с разбудившими ее к бытию музыкальными образами. Так слушал и Пушкин.

То казалось ему, что его уже нет, что лира его умолкает, умолкла, и тогда-то, поняв его чувства, Мария твердит собственные его печальные стихи, где был затаен жар его сердца. То она строго допрашивала его о чувствах, растрченных в мятежной его младости, и он уверял, что это забыто и отошло, и бескорыстно невинной, ей слал он пожелание того ясного счастья, для которого она рождена, и умолял не спрашивать о прошлом, дабы не улетела беспечность доверчивой ее души.

Не говоря себе слова а л ю б о в ь... — или сказать? — он любил ее истинно в этот короткий вечер, в который уместилась, если не вечно, так жизнь.

Эти короткие музыкальные фразы и жизнь их в Марии, они в нем звучали уже — в начальном соприкосновении с чувствами, искавшими слов. Этой стихии своей верен он был органически. Время придет, и другая стихия — ясного разума — осветит и сделает видимым то, что зачато сейчас. Это еще не стихи, не те две элегии, что напишет несколько позже, но им не суждено было бы быть, если бы не было этого их зарождения в сегодняшний вечер.

Мой друг, забыты мной следы
минувших лет

И младости моей мятежное
теченье.

Не спрашивай меня о том, чего
уж нет,

Что было мне дано в печаль и в
наслажденье.

.....
Душа твоя чиста: унынье чуждо ей;

Светла, как ясный день,
младенческая совесть.

К чему тебе внимать безумства и
страстей

Незанимательную повесть?

.....

Не требуй от меня опасных

откровений:

Сегодня я люблю, сегодня

счастлив я.

Вечер этот прошел, как проходит все в жизни. Но то, что в нем было особенного, это богатство и полнота сложно колеблемых чувств, слитых в единое очищающее чувство, — оно не умерло и не ушло, а сочувствовало Пушкину, то как бы замирая, то возрождаясь, всю его жизнь.

ОВИДИЕВ ПЛЕМЯННИК

Пятого ноября в Кишиневе произошло сильное землетрясение. У Орловых за обедом попадали стаканы со стола, а люстры зазвенели, как колокольчики. Те, кто стоял в эту минуту, казалось, раскачивали пол, налегая то на одну ногу, то на другую. Дом закричал, как в бурю корабль, но устоял. Все выбежали вон. Улицы были полны народа. Мужчины тащили разные вещи, женщины плакали, дети в восторге смеялись.

Едва ли не более всех других домов в городе пострадал инзовский дом на горе. Стены расселись, часть крыши сползла. Оставаться в нем было, особенно в верхнем этаже, небезопасно, и Инзов переехал в дом по-соседству. Но Пушкин не захотел покидать своих комнат, к которым привык. К тому же ему по-молодому нравилось пожить среди развалин, и притом одному.

По вечерам стояла глубокая тишина. Ничто не мешало работать. Все в той же, за ночь еще отстоявшейся тишине приходило и утро. Звуки были только в душе. И, не вставая, Пушкин тянулся и брал бумагу и карандаш.

Однажды утром в наружную дверь раздался с террасы внезапный, какой-то деловитый стук. Никиты не было дома.

— Войдите! — крикнул Пушкин.

Никто не отозвался. Почудилось?

Но стук повторился с еще большей настойчивостью.

Пришлось накинуть халат и выйти взглянуть. Никого не было. «Началась игра в привидения, но почему же утром, не ночью!» И тут он заметил на дереве, росшем у самой террасы, пестрого дятла. Птица внимательно поглядывала на него, как бы спрашивая: «Откуда ты взялся и зачем меня потревожил?»

Так это был дятел! Птица приняла замолкшую усадьбу за выморочное недурное местечко, которое любопытно было исследовать. Этот нечаянный утренний гость привел Пушкина на целый день в хорошее расположение духа, и он по-

хвастался не перед одним из приятелей, какой утром был у него интересный гость!

А по вечерам, раза два или три, выходя посидеть в темноте на террасу, он слышал безмолвные перелеты запоздавших птичек на юг. Пролетали они, незримые, и не разговаривая между собою, но, кажется, на небольшой высоте, и оттого был слышен и возникавший, и затихавший трепет их крохотных крыл. Это было чудесно, и Пушкин об этом никому уж не рассказывал. Да и кому рассказать? Рассказать было бы можно только Марии... Но Раевские давно уже отбыли в Киев.

Пушкин теперь попрежнему часто бывал у Орловых. Екатерина Николаевна чувствовала себя среди мужской молодежи, бывавшей у них, очень свободно. У нее у самой был отчасти мужской ум, она очень была образована и на равных правах принимала участие в спорах, у Орлова никогда не умолкавших.

Кроме вопросов домашних, российских, часто обсуждалось положение вещей в Европе и на Балканах. Кто-то однажды помянул об известном «Проекте вечного мира» аббата де-Сен-Пьера, и на несколько вечеров эта идея стала предметом страстного обсуждения.

Среди приятелей Пушкина к тому времени прибавился новый, которого доселе он встречал лишь случайно при служебных его наездах из Аккермана в Кишинев, куда теперь вызвал его на постоянное жительство Михаил Орлов. Это был майор Владимир Федосеевич Раевский.

— Раевские для меня не переводятся, — шутил по этому поводу Пушкин.

И этот новый Раевский, «особенный», по памяtnому определению Охотникова, действительно занял особое место в кишиневской жизни Александра.

Владимир Раевский был худ и высок, одновременно задумчив и страстен, и страсть эта почти целиком уходила в политику. Трудно сказать, у кого было больше непримиримости, у него или у Охотникова, но у Раевского выливалась она более бурно, обжигая настоящим огнем. Все в нем непрестанно кипело, и он был самым яростным спорщиком, всегда увлекаясь даже и самую стихию спора, ибо это было образом и подобием какой-то настоящей борьбы, к которой неудержимо рвался его страстная натура. Кроме того, он был очень начитан и многое знал достаточно основательно из того, о чем Пушкин имел лишь самое общее представление.

Майор Раевский был маленькою энциклопедией и в спорах о вечном мире коснулся этого вопроса, начиная с древнейших времен. Он вспоминал, что, по утверждению Платона, война есть естественное сосуществование народов, а римляне хо-

тели утвердить вечный мир поработением многочисленных племен под благородную римскую пядь, что позже французский король Генрих четвертый мечтал об одной великой христианской республике, созданной из всех европейских государств..

Александр с места его прерывал:

— На подобие священного полицейского союза моего царственного тезки?

Екатерина Николаевна тихонько звенела чайною ложечкой, призывая поэта к порядку. Ее самой хоть и прозвали Марфой Посадницей, но она не любила быстрой верхней езды, и хорошо умела держать в своих крепких ручках равно и коня, и мужа, и разговоры, ежели они переходили в галоп.

— Вообще, — вставляла она и свое умиряющее словечко, — мне нравится больше другой Сен-Пьер, написавший чудесную пастораль «Поля и Виргиния» и назвавший двоих своих детей по имени героя и героини. Правда, что он слишком увлекался молоденькими девушками.

— Это не великий грех, — смеясь, возражал Александр.

— А на одной из них, наконец-то, даже женился, — продолжала Екатерина поддразнивать Пушкина, — когда ему было, если не ошибаюсь, уже пятьдесят два года, а потом и еще раз женился уже в шестьдесят.. Предсказываю и вам такую судьбу.

— Тогда я на вашей внучке женюсь!

Но тема была сама по себе такова, что она выносила лишь самую короткую передышку, и спор возобновлялся с новою силой. Пушкин, хоть кратковременно, но увлеченный новой идеей, готов был пожертвовать своею недавней военной романтикой ради действительно вечного мира, когда Наполеоны были бы всего лишь нарушителями общественного порядка. Но для этого и правительства должны стать иными..

Еще свободнее чувствовали себя молодые люди — Охотников, Алексеев, поэт Емельман и Горчаков, — когда собирались они у Липранди. Здесь разговор часто шел и о литературе. Владимир Раевский и сам писал стихи, но еще с большей охотой критиковал чужие. Его суждения были дельны и остры. Вельтман его просто побаивался, а тот совершал кавалерийские наезды и на самого Пушкина, и не всегда несправедливо; случалось, что с замечаниями его приходилось считаться.

Владимир Раевский теперь заменил Охотникова в школьных военных делах. Учил он солдат и юнкеров с большим увлечением. Даже преподавая такую невинную вещь, как географию, он занимался настоящей политической пропагандой, попутно рассказывая о революционе-

рах прошлых времен и о современных испанских событиях.

Географию, впрочем, и сам он очень любил, путешествуя так в веках и странах. Увлечение это не знало границ. Своего арнаута он наказывал за пьянство тем, что сажал его за книгу и заставлял изучать географию. Арнаут, по видимому, оказался способным учеником и не страшился того, а скорее как будто желал, чтобы наказание повторялось почаще. Зато и успехи его были немалые. Как-то Пушкин не мог найти одного города на карте Европы. Раевский позвал арнаута, и тот тотчас его показал.

— Я пью будто бы часто, — оправдывался Александр, — но теперь обещаю пить еще почаще, чтобы вы, Владимир Федосеевич, меня географией наказывали!

И на самом деле приходилось подтягиваться, библиотека Липранди то-и-дело приходила в движение.



Узнав о болезни Вельтмана, Пушкин встревожился и предложил Раевскому пойти навестить больного друга.

Вечерний воздух быстро освежил молодых людей. Сам собою возник совсем другой разговор. Это были короткие фразы, в такт шагам и мыслям.

— А все-таки, наша резкая нота и разрыв дипломатических отношений с Турцией! Строганов больше в Стамбул не вернется.

— И на юге восстание не утихает, — добавил Раевский.

— Мне очень хотелось бы в Петербург, но ежели будет война, пусть оставят меня в Бессарабии.

Так вечный мир был далекой мечтой, а жизнь и звала, и говорила другим, сегодняшним голосом.

— Вы были, Владимир Федосеевич, за Владимиреско?

— Да, он стоял ближе к народу.

— А я боялся всегда, что для Ипсиланти он будет помехой. Помехой к тому, чтобы Россия вступила в войну. Императора нашего это, наверное, очень пугало.

Раевский молчал. Неужели и он, так же, как Пестель, был против того, чтобы Россия выступала на стороне Ипсиланти? Однако же прямо об этом спросить Александр не хотел, хотя это так для него и оставалось неразрешимой загадкой. Если уж спрашивать, так у самого Пестеля. А когда он увидит его? И увидит ли?

А Раевский заговорил между тем об Овидии. Это было едва ли не излюбленной темой бесед между Пушкиным и Липранди. В эти разговоры Раевский редко вступал, но Александр теперь Овидия много читал, невольно его судьбу соче-

тая со своею судьбой, и Владимир Федосеевич прсзвал его Овидиевым племянником.

Вельтман был очень рад неожиданным гостям и не смущался так, как всегда. Рука его была горяча, горели глаза.

— Вот я говорил по дороге Александру Сергеевичу, что потом и о нем так же будут гадать, как об Овидии, где он жил, да как ездил, где останавливался, и за что попал в ссылку.

— Непременно, — ответил Вельтман с непривычной для него энергией. — Непременно! Пушкин в плаще, и плащ его покроет всю Россию.

Оба они привыкли к некоторой причудливости в выражениях Александра Фомича, но так он еще никогда не говорил.

— Да вот, — продолжал Вельтман. — Не верите?

И он протянул небольшой листок, исписанный карандашом. Раевский принял его.

— Ну, так и быть, прочтите. Это, Александр Сергеевич, маленькая ваша биография и предсказание будущего.

Раевский начал читать.

— «Александр Фомич Вельтман. 9 час. вечера, t° 39,7. Вельтман в Кишиневе: 3—э, знаю я, по степям ехал, крылышки стращизал. В Крыму, на Кавказе ноженьки крепил: скакать, как кузнечик! Вдоль моря скакал, зелень его набирал, песни подслушивал. А тут в Бессарабии брюшко отращивает со всеми инстинктиками, и хоть у меня 39 и 7, оттого и причудливость в выражениях, но знаю также и то, что голыушку окончательно отрастит и затрепещется и заиграет только в Одессе. Ноктурн в предбаннике у сатаны. Но только-что, Вельтман, ты врешь, Пушкин в плаще, и плащ его покроет всю Россию».

Раевский и Пушкин переглянулись. Вельтман лежал, закрыв глаза. Казалось, он впал в беспамятство.

— Что это, бред? — сказал Раевский тихонько. — Вы что-нибудь ему говорили о своих планах с Одессой?

Пушкин кивнул ему головой утвердительно.

— Надо бы доктора.

Это Вельтман расслышал.

— Нет, нет! Я засну, и завтра буду здоров. Прикройте меня.. плащом. — И он повернулся на правый бок. — Мне становится холодно.

Когда приятели ушли, он полежал немного спокойно. Потом поднялся на локте, взяла свою записку и поднес к пламени горевшей у изголовья свечи. Убедившись, что все сожжено, он улыбнулся, дунула на свечку, свернулся калачиком, «торопясь выздоравливать», как сказал бы он сам на причудливом своем языке.

— Вот чудотвор, — отозвался на обратном пути Владимир Раевский. — Такого градуса, кажется, ни разу еще он не давал. Но, однако же, как высоко ценит он вас.

— Да, — отвечал задумчиво Пушкин. — Но это надо еще оправдать. А вот, что брюшко я отращиваю, и об инстинктиках. Брюшка у меня нет, а что до этих самых инстинктивов.. Раевский, он прав, их у меня еще сколько угодно!

На одном из перекрестков они распрощались. Пушкин раздумчиво и неспешно шел к себе один.

..Странный был человек этот Вельтман! Он писал пустяковые стишки о кишиневских балах и о дамах и скрывал, что он их сочиняет, хотя куплеты его были легки и имели шумный успех. Но голова его полна десятками замыслов, всегда очень причудливых. Раз Пушкину он прочитал свою молдаванскую сказку в стихах «Янко-чабан», про великана и дурня, который, обрадовавшись, так рос, что скоро не стал места в хате отца, и выросший младенец, проломив ручонкой стену, вылупился из хаты, как из яйца. Пушкин так хохотал тогда!

И вот, в сорокаградусном жару, сам он как бы вылутился из яйца — в этих причудливых строчках, которые дал им прочесть. Редко ведь от кого услышишь правду вслух.



В ночь с четвертого на пятое декабря закрыта была в Кишиневе масонская ложа «Овидий».

За несколько дней до того Иван Никитич Инзов получил из Петербурга запрос от начальника генерального штаба князя Волконского, сообщавшего, что до государя дошли сведения об открытии или учреждении масонских лож в Бессарабии.

Князь, между другими вопросами, предлагал его превосходительству генералу Инзову «касательно Пушкина донести его императорскому величеству, в чем состоят и состояли его занятия со времени его определения к вам, как он вел себя и почему не обратили вы внимания на занятия его по масонским ломам? Повторяется вновь вашему превосходительству иметь за поведением и деянием его самый ближайший и строгий надзор..»

Вопросы были остры, и ствечать на них не так просто. Инзов и сам был масон, и Пушкин был принят в кишиневскую ложу еще с начала мая. Но Иван Никитич был верен своему спокойному нраву, и перо в руках держать он умел.

«Следуя в том представителям благородного пернатого царства, исключение из коего совы да филины представляют»,

он продолжал быть верен своему коренному обычаю: ложиться не поздно и рано вставать, отводя утренний час для одиноких своих письменных занятий. Так он поступил и теперь.

Однако ж, на сей раз и утром не бойко ходило перо его по бумаге, и не раз, и не два он задумывался, порою даже похрахтывая и бородкой пера поглаживая наморщенный лоб. Надобно было все отрицать.. Но он основательно полагался, как и всегда в трудных случаях, на спасительные туманности канцелярского стиля.

Впрочем, о поведении Пушкина генерал по обычаю изъяснился кратко и ясно: «Г. Пушкин, состоящий при мне, ведет себя изрядно». Но тут он легко вздохнул, вспоминая, как у него за столом Пушкин не раз громил и правительство, и все благородные сословия в государстве.. «Я занимаю его письменную корреспонденцию на французском языке и переводами с русского на французский..» Пришлось и повторно вздохнуть, но уже несколько глубже: если бы эти свои нередкие выпады против высших властей и сословий Пушкин также переводил на французский, а не изрекал чисто по-русски — при слугах..

Далее шло самое шекотливое — о масонстве.. «Относительно же занятий его по масонской ложе, то по неоткрытию таковой.. (тут сочинитель письма выразительно крикнул).. по неоткрытию таковой не может быть оным, хотя бы и желание его к тому было. Впрочем, обращение с людьми иных свойств, мыслей и правил, чем те, коими молодость руководствуется, нередко производит ту счастливую перемену, что, наконец, почувствуют необходимость себя переиначить. Когда бы благодатное сие чувство возбуждилось в г. Пушкине, то послужило бы ему в истинную пользу». Так отрицание открытия ложи скользнуло совсем мимоходом, мельком, утонув в нарочито обильных, туманных фразах о пользе масонства..

И, однако, тотчас после письма, поззтракав и сменив халат на мундир, Инзов пригласил к себе управляющего ложею, Павла Сергеевича Пушина, и распорядился немедленно ложу закрыть, дабы его собственный отзыв, когда его будут читать в Петербурге, уже сходилась более с правдой. «Да и зачем, — думал он с легкой улыбкой, — зачем создавать видимою правдой истинное заблуждение?»

Сам Пушкин относился к масонству прохладно и иронически. Сначала его забавляли эти обряды, позже наскучили. Над Пушиным он огроменно подсмеивался, но и разговоры других о внутреннем совершенствовании человека, кои должны лежать фундаментом для грядущего нового общества, были ему совершен-

но чужды. Да и были это одни разговоры, ибо жизнь этих «реформаторов» протекала у всех на виду и в ней днем с огнем нельзя было бы отыскать и признака «нового человека». Все это было внешним служебным моде. Такого же мнения придерживался и Владимир Равевский, также состоявший членом братства.

Но если не ложа сама по себе, то имя Овидия было дорого Пушкину: именно тут, в Бессарабии, так живо и так непрестанно он его ощущал! «Я буду жить в стране, в которой бродил Назон», — повторял он самому себе в первые же дни кишиневского своего бытия. Он смутно припоминал, что история Ореста и Пиллада есть и у Овидия в его «Письмах с Понта» и взял их у Липранди в первый же раз, как познакомился с ним.

— Вы, между прочим, книжечку эту мне до сей поры не вернули, — заметил Липранди, бывший в тот день чем-то сильно расстроеным. — Я не в претензии, — поднял он руку, — не обижайтесь. Но не верю я ничему.

— Это чему же собственно?

— Да ничему. Во-первых, невероятно: Овидий вложил свой рассказ об Оресте и о Пилладе в уста варвара-гета, которого, верно, он плохо к тому же и понимал..

— Неверно! Неверно! — Пушкин даже вскочил. — Вы просто забыли Овидия. Он точно для вас добавляет, что выучился и по-гетски, и по-сарматски.

— Я это помню, как помню и то, что это не был, собственно, даже гет, он был чужестранец. Овидий и этот старик, конечно, немного понимали по-гетски, учились, как сами вы учитесь по-молдавски.. (Липранди хотел бы добавить: «И даже других учите, как, например, инзовского серого попугая!» — но он обдала очень большой выдержкой и не захотел ради красного словца ссориться с Пушкиным).

— Я плохо учусь, — возразил Александр, — но важно не это. Все, что пишет Овидий в письме своем к Котте, все правда. Я ошибся, что вы Овидия забыли, вы, конечно, его помните. Но мало помнить, Иван Петрович..

— Надо еще и соображать?

— Вот именно. Вы сами мне облегчили выговорить это слово. (Сам Пушкин, в противоположность Липранди, сдержанностью не отличался.) Ведь там же есть очевидное доказательство, что старик этот действительно был, и Назон его слушал. Овидию было известно об Оресте и о Пилладе и без него. Он отлично бы мог это и без него написать. Но, конечно уж, такие подробности о храме и о лестнице, и о числе ее ступеней он бы не выдумал. Это, во-первых, а во-вторых..

— Нет, подождите, это уж я скажу «во вторых»: я только-что начал, а вы..

— А я говорю, во-вторых, — с задором и страстью перебил его Александр, — и это-то и есть самая прелесть. Бог знает, когда случилось прекрасное дело: юноши дружбу поставили выше самой даже жизни! И вот...

— И вот это-то и есть мое «во-вторых», — прервал в свою очередь и Липранди (он, когда волновался, имел обыкновение подергивать себя за пуговицу мундира на груди). — Я спрашиваю, есть ли на свете дружба такая? Вот вы, случается, называете, Владимира Федосеевича своим Орестом...

Пушкин вспыхнул и отвечал почти дерзостью:

— Тогда и у сердца нечего дергать, коли там всего одна пуговица!

Липранди смолчал и только круто повел бровями.

— Вы, Александр Сергеевич, так и не докончили, — вступился тогда и Раевский, поднимая на Пушкина прекрасные печальные глаза. — Вы сказали так хорошо: «Случилось прекрасное дело...»

— И не умирает! — подхватил Пушкин с одушевлением. — И не умрет! И живо навеки в народной памяти! Да, именно, то-то и есть самое драгоценное, что это не пропадает, а становится живым достоянием народа.

Владимир Раевский невольно кивал головой, слушая друга; что-то внутри его разгоралось. А Пушкин уже обернулся к Липранди:

— Вы говорите, что гет этот варвар. Так что же, у варваров нету и сердца? А разве он сам не сказал, как ценят они верность и дружбу? Да разве же и о самом Овидии память угасла в этих краях?

— А вы напрасно сердились, Иван Петрович, — обратился Раевский к Липранди. — И я горжусь, что Александр Сергеевич почитает меня своим Орестом. Я шутиливо зову его Овидиевым племянником, так вот племянник был прав, когда говорил о своем дяде. И прав был о дружбе...

— Дружба моя к вам обоим известна, — промолвил Липранди и на мгновение прикрыл глаза темными веками.

— И прав, — медленно, но горячо одушевляясь, продолжал Раевский, — что каждому из нас первая честь и лучшая радость — стать достоянием народа. И если о ком из нас добрая память останется и не умрет — значит, не даром я жи!

Это невольное «я» вырвалось из самых потайных его дум, о которых не говорил никогда, и Пушкин отчетливо это почувствовал. Про себя же подумал (не про себя, а про Овидия, но это и было именно про себя самого): «Август поэта выслал, прогнал, а поэт пережил самого Августа и признан народом!»

Наутро после закрытия ложи Пушкину вспомнилась эта недавняя сцена у Липранди. Она еще укрепила их дружбу с Раевским и не оставила никаких неприятных следов в отношениях с Липранди.

Наскоро, почти обжигаясь, Пушкин выпил кофе и, как был, — в домашнем архаике и бархатных шароварах, — поспешил к своему генералу.

Выйдя за калитку, он поглядел на верхний этаж. Все в том же положении, к починке и не приступали. А впрочем, стены как треснули и осели, так и стоят себе... «И чего Инзушка мой испугался и переехал? А то бы взбежать к нему прямо по лестнице...» Но и так было недалеко.

Инзов его принял в халате. Чем-то он был озабочен. Ужели закрытисм ложи? Пушкин, едва успев поздороваться, сразу сказал:

— «Овидия» нашего, Иван Никитич, похоронили вчера. Отпустите меня. Я пошщу гробницу его вместе с Липранди.

— Липранди поседет по важному делу, а не гробницы разыскивать.

— А это не важное дело? Имя поэта зачеркнуто, как если б похоронили и самую память о нем.

— Памятуй, кто тебе в этом мешает. Но в эту поездку я не могу тебя отпустить.

— Да почему?

Инзов не сказывал; Пушкин надулся. На Ивана Никитича, прирожденного добряка, иногда словно что находило. Но Александр решил настоять на своем и устремился к Липранди.



Зимние степи по вечерам одевались легкою изморозью, улетающей утром едва приметным туманом. Это не навевало печали. Молодая свежая зелень на мочежинах там и сям, меж увядшей травы, блистала на солнце. Пурпуровый лист винограда все еще кое-где не опал, а на полях уже плуг бороздил отдохнувшую землю.

Молдаванские саты не напоминали собою русских селений с их улицами. Турлунные белые мазанки — касы, — разбросанные как попало, скорей вызвали представление о шатрах кочующего табора, остановавшегося здесь лишь на время. Этому впечатлению противоречили только сады — в каждой деревне и возле каждого дома.

Пушкина все по пути живо интересовало. Как-то он сокочил выпить воды и зашел в одну такую белую касу.

Молодая девушка, с которой знаками он объяснился, зачерпнула из кадки и подала ему деревянный корец. Потом она отошла и, подняв к губам конец фартука, не отрываясь смотрела черными любопытствующими и пристальными глаза-

ми на редкого гостя. Пушкин пил с наслаждением холодную воду, поглядывая то на девушку, то на чистые белые стены, на цветные узоры на них, выведенные охрой и умброй.

Тишина этой затерянной в глуши жизни, труд на полях и в саду, простор неоглядных степей, по которым неспешно катили они на сытенной паре коняг, — все это говорило его воображению больше, чем ученые и интересные речи Липранди. Кажется, жизнь здесь далеко не ушла от самых Овидиевых времен.

Очень близко, почти у самых дверей, топилась низкая печка, устье ее отстояло едва на четверть от пола; на земляном полу валялись рыжие куски сухого кизяка, издававшего слабый сладковатый запах. За трубой, на печи, глухо покашливала слепая старуха. Однако же и она высунула свою сухую голову с седыми космами волос из-под платка и редко помаргивала побелевшими ресницами над неподвижными своими, выцветшими глазами. Было видно, как подмышкой она придерживала хорта, гончую собаку, с которыми молдаване травят зайцев в степях, дома же ухаживают за ними, как за малыши детьми. Понятно: и старухе хотелось развлечься, послушать в своей темноте чей-то там молодой, солнечный голос.

Пушкин напился, протянул пустой ковш, перевернул его, чтобы показать: все до дна было выпито! — и поблагодарил.

Поблагодарил он, пространно, больше для старухи, чем для девушки, которая явно по-русски не понимала. Но и для девушки — он показал пальцем на хорта, насторожившего уши, а потом на себя, будто он заяц, и для пущей понятности пальцами сделал скачки: раз! — раз! — убегаю!

Девушка все поняла. Она взглянула на молодого забавного гостя и засмеялась глазами.

Совсем уходя, Пушкин, однако ж, в дверях обернулся: ему послышался мужской отрывистый кашель и через него характерно горланное какое-то цыганское восклицание. «Ужели же то были цыганы?» — подумал он с недоумением и любопытством, и тотчас же увидел, как из подолубка с дальней лавки, поначалу незамеченной им, поднялся старик и потянулся к тому же ковшу, из которого Пушкин только-что пил.

Фигура старика была столь живописна, что Александр к нему подошел и вступил в разговор. Оказалось, что этот старый цыган, отставший от табора, тяжело заболел и нашел приют себе в этой кассе. Разговор был недолог, но Пушкин, думавший о старине, спросил наудачу, не сохранилось ли в его памяти сказание об изгнаннике, жившем давно-давно на берегах Дуная.

— Нет... Ничего... — И старик замотал седыми, но все еще с чернью кудрями. — Я никогда его не видал, и дед не видал.

— А что-нибудь слышал?

— Так... гул доходил от речей.

— От чьих же речей?

— Он приехал из-за моря, и разговор был, как песня, и на устах его мед. Он был тих, как дитя, и добр, как отец. Не только-что я ничего не слышал. Это давно.. И дед не слышал. А дивный был тот человек.

Сидя снова рядом с Липранди и продолжая путь, Пушкин долгое время слушал речь своего спутника, едва ли наполовину ему внимая. Он так ему ничего и не рассказал, затаив про себя эту встречу с цыганом, самого его взволновавшую.

«Еще твоей молвой наполнен сей предел» — твердил он про себя, покачиваясь в тряской тележке. Изгнанник Овидий — добрый отец и тихое дитя — вставал перед ним, как живое видение. И откуда же? Да из рассказа старика-цыгана! Да ежели б довелось об этом писать, так и вложить бы в уста его этот рассказ об Овидии.



Так в эти дни, совершая поездку к Дунаю, впервые за все время своего пребывания в этой стране, куда был он заброшен, —

В стране, где я забыл тревоги прежних лет,

Где прах Овидия — пустынный мой сосед, —
мыслями он то-и-дело уносился в далекое прошлое.

Подобным осколком давних времен представлялись ему и цыганы, которых хорошо ощутил еще в Екатеринославле и дальше встречал в южных степях. Самая свобода передвижения их, та свобода, которой сам был лишен, казалась ему исключительным благом. Так же он мыслил и горцев Кавказа, когда горячим стихом, недавно совсем, рисовал их прямоту и открытость. Все это с новою силой сейчас в нем возникало, томило неразрешенным творческим волнением.

Дорогой, однако, он не молчал. Интересов его хватало на все. Повсюду лежала история — в обломках, в пыли. Да и Липранди, надо отдать ему справедливость, был собеседником неоченимым. Отлично он знал этот край, и в его библиотеке было собрано все, что относилось к истории этих мест. Бендеры и Каушаны взбудоражили Пушкина: вблизи от Бендер были развалины бывших Варницких укреплений, где, по преданию, умер Мазепа; в Каушанах же, этой бывшей столице буджакских ханов, Пушкин надеялся видеть развалины дворцов и фонтанов и не хотел верить Липранди, что

там ничего почти не сохранилось. Но Липранди спешил в Аккерман.

Городок этот издали был очень красив. Старинные башни его, гетуэзской постройки, выходили, казалось, из моря: лиман был широк и тускло поблескивал первым прозрачным ледком. Пушкину вспомнилось снова, как удивлялся Овидий льду и снегам, как должен он был с недоумением ступать на прозрачную твердую воду. Как-раз запоросил и снежок.

У полкового командира Непенина, где остановился Липранди и куда поспели они прямо к обеду, Пушкину посчастливилось встретить петербургского знакомого, старика француза, подполковника Кюрто, у которого брал он когда-то уроки по фехтованию. Тот был всего месяца два как назначен комендантом аккерманского замка.

С наслаждением целый вечер болтал он с Кюрто, вспоминая далекие петербургские дни. На другой день с утра он был у него и осматривал замок.

Крепостные древние башни, с изъеденными временем камнями и с кустами засохшей полыни в расщелинах дышали глубокою стариной. Сверху отсюда днестровский лиман, сжатый морозом у берегов, открывался свободно плескаясь, во всю свою ширь. Верно, и у устья Дунай таков же. В лунные ночи у таких же вот берегов бродил и Овидий, вспоминая веселый, огромный и солнечный Рим.

За что же он, собственно, оттуда был выслан?

— Я, написал, конечно, так, сгоряча, Николаю Ивановичу Гнедичу...

— А как именно? Вспомните! — поминтересовался Кюрто; ему было лестно услышать новый стишок своего ученика по фехтованию.

— А вот именно так!

Пушкин припомнил:

В стране, где Юлией венчанный
И хитрым Августом изгнанный,
Овидий мрачны дни влачил...

— Рапирю — фланк она да на Юлию, и на Августа — прямой удар с выпадом! — воскликнул Кюрто, вскидывая узкую бородку и делая тот и другой фехтовальный прием. — Одобряю! Отлично!

Пушкину сделалось весело. Живо припомнил: «Правая рука согнута в локте! Кисть на высоте плеча! Конеч рапиры против глаза противника! Ноги согнуть в коленях и раздвинуть на два следа! Каблуки под прямым углом.. Корпус..» Француз и впрямь оживился:

— Вот мы говорим об Овидии.. А думал ли кто-нибудь о том, что и он фехтовал? И, конечно, неплохо, ибо, — он поднял вверх палец, требуя внимания, — ибо фехтовальное искусство впервые развилось у римлян! Рапира была изобре-

на при Нероне. Марк Аврелий.. Но чего вы смеетесь, мось Пушкин?

Александр не смеялся, а откровенно хохотал. С трудом выговорил он, наконец:

— Хорошо, пусть рапира изобретена при Нероне, но как же Овидий неплохо мог фехтовать, когда он умер ранее того, как сей император вступил на престол?

Однако ж, Кюрто не растерялся. Быстро он занял позицию, перенес свой клинок, воображаемый, по другую сторону клинка противника и затем нанес удар. — Вы отлично фехтуете, мой дорогой Пушкин! — продекламировал он с истинным одушевлением. — Дега же и прямой удар! Я должен признать себя побежденным.

Так изящно он вышел из сложного положения.

— Вы ночью выходите сюда полюбоваться?

— Ночью я сплю. Дочери мне говорят, что ночью отсюда Овидиополь хорош.

Дочерей было пять. Все они были уже на возрасте, но, как и подобает французенкам, кокетливы и хохотушки. К обеду приехали Непенин и Липранди, все утро проводивший в полку свое «следствие». Вид у него был усталый и несколько напряженный, не смотря на всю его обычную скрытность. Однако же за столом все оживилось, еще подъехали гости, и все перешли к карточным столикам.

Так закончился вечер. Пушкину очень хотелось пойти одному на пустынные берега. Но едва он об этом обмолвился, очень всколыхнул, как тотчас же девицы Кюрто, все пять, вызвались его проводить, и он мгновенно пал духом.

— Да нет, я, сказывается, очень устал. — Тогда оставайтесь у меня ночевать, — любезно предложил отец, провожавший гостей до ворот.

— Нет, я уж пойду вместе со всеми. — Пушкин взглянул на шедших несколько впереди Непенина и Липранди и, понизив голос, добавил: — Но если бы мне не спалось, и я все-таки вздумал бы.. Ведь меня не пропустят сюда?

— Вот пустяки! — воскликнул француз. — Ведь и вся крепость-то наша третьего ранга.. — И, подзвав караульного, отдал ему распоряжение.

Пушкин серьезно не думал сюда возвращаться. Но когда они очутились дома и скоро Липранди уснул, он убедился, что ему самому не до сна. Целая туча всяческих мыслей и дум его одолевала. В комнате, где они помещались, было жарко натоплено, душно. Поздняя луна поднималась над городом, незанавешенные окна начинали светлеть.

«Удрать от начальства? — шутливо подумал Пушкин, вспоминая лицей и прислушиваясь к ровному дыханию Липран-

ди. — Он ведет следствия, записи и дневники, Он весь преисполнен служебных секретов и полагает, что от него ничто не укрыто. Пусть будет секрет и у меня».

И с легкостью молодости, но и с необычайно осторожностью, усугублявшей приятность задуманной им эскапады, он снова оделся и, никем не замеченный, вышел из дома. «И завтра ему ничего не скажу. А если б проснулся, заметил, так объясню свиданьем с француженкой.. Пусть поломает голову, с которой же именно!»

В городе спали. В редком окне светился огонь. Но, как струя за кораблем, на всем пути Пушкина, следом за ним, замирал и вновь вознижал заливистый лай дворовых собак. Караульный у замка признал его, пропустил, и сразу настала такая, ничем не тревожащая тишина, что, казалось, на берегах этих он только и был единственным живым существом.

Александр забыл обо всем, что было днем, — о Липранди, о путешествии, о фехтовальных дел мастера и пяти его дочерях, и даже о том, как необычно он здесь очутился. Напротив того, это было только естественным и единственно верным.. И — давно ли он здесь? В тишине время особое: быть может, недавно, но и давно! И с тем большею полнотой отдался он думам, томившим его все эти последние дни. Впрочем, здесь они уже не томили, не мучили: тут им было просторно, свободно, как свободно, легко было нестись свежем ветру с недалежного моря. Ветер мягко, но сильно и широко тянул и тянул над этой могучей рекой, напоминавшей Дунай, и от одного спящего города до другого, едва лишь мерцавшего на горизонте и носившего это неумирающее имя — Овидиополь.

Думая об Овидии, Пушкин думал одновременно и о себе. Порою казалось ему, что судьбы их были во всем одинаковы, и выслан был римский поэт просто, конечно, за то, что император его не переносил. Пусть весь его грех, как он говорит это и сам, состоит единственно в том, что у него были глаза. Не все можно даже и видеть, а он уж, конечно, не только увидел, но, верно, кому-нибудь еще и рассказал.. Но должно ль за это лишиться языка?

И все же... Да, все же: много веков промчалось над этой пустыней, а имя Овидия живо! «Вспомнит ли кто и меня, и придет ли искать здесь мой след?» И вдруг — наконец-то! — здесь, в тишине, под полной луной, дробившейся в водах, дрогнули и зазвучали, сами как полные воды, стихи, теснясь и обгоняя друг друга.

Так этою долгою, но и короткою ночью, дыша у старинной стены вольным и чуть

солоноватым дуновеньем с моря, Пушкин беседовал с тенью другого поэта-изгнанника.



Пушкин опять в Кишиневе. Снег. Тишина. Город уж спал. Ночь была над Россией. Пусть не Дунай и не геты, но все же это так: участью он равен Овидию. И снова думает Пушкин: «Вспомнит ли кто обо мне?»

Но если обо мне потомок поздний мой,
Узнав, придет искать в стране сей

отдаленной
Близ праха славного мой след

уединенный, —
Брегов забвения оставя хладну сень,
К нему слетит моя признательная тень,
И будет мило мне его воспоминанье.

«БУРЯ»

Казалось, что «буря», которую предсказывал Константин Алексеевич Охотников, так и не разыграется. Сам он сильно хворал, кашлял и иногда по несколько дней отлеживался в постели. Пушкин, вернувшись из путешествия, навестил его в первый день рождества.

— А вы разве не знаете, как готовятся бури, — сказал больной гостю, присевшему к нему на кровать. — Это только так кажется, что бури приходят внезапно. Они зарождаются и вызревают невидимо. Будьте покойны, буря придет, да только не та, какой бы хотелось.

— Я вас понимаю, — быстро отвечал Александр, — но ведь без таких темных бурь не может созреть и светлая буря!

— Это вы точно сказали, — отозвался Охотников. — Но только.. — Кашель долго ему не давал договорить; наконец, больной осилил его и dokonчил: — Но только я не доживу.

Пушкин не умел утешать. Сочувствовать он мог горячо, но все слова, которые могли бы быть произнесены, заранее казались ему неверными, ненужными, ничего не выражающими. Стого он мог иногда показаться холодным и невнимательным. У него не было этой естественной привычки сказать что-нибудь утешающее, может быть, просто потому, что в детстве и сам он знал всего одну только ласковую утешительницу — няню. И с ним иногда, очнь редко, случалось, что он мог подойти и, как, бывало, она обнять близкого человека в его горе. Но не мог же он этого сделать с Охотниковым, да это и значило бы, что он, в сущности, с ним соглашается.

А так и было, что он соглашался. Константин Алексеевич на глазах худел и даже как бы несколько уменьшался в росте. Но в утешениях он не нуждался. Он видел и без того возле себя настоя-

щего товарища в жизни, и этого было довольно. Самое это замечание его, горькое, вырвалось единственно из-за физической слабости. Он взял себя в руки, и Пушкин более жалобы от него никогда не слышал.

— Вот Липранди ездит на следствия. И вы ездили с ним. А ведь небойсь ничего вам не говорил? Железная выдержка. Я не знаю еще, что он привез, но я и так все уже знаю.

И, приподнявшись на подушках, преодолев слабость, он начал рассказывать Пушкину про военные дела.

Генерал Сабанеев и сам не сторонник палочного учения, но он легко поддается гневу и скверным советникам. Еще летом начальник его штаба Вахтен делал смотр одному из полков орловской дивизии. Все было в образцовом порядке, но это была дивизия Орлова, и он разнес и командира, и офицеров, и дал разрешение унтер-офицерам и ефрейтерам бить солдат палками до двадцати ударов. Липранди в своих следствиях обнаруживал чудовищные жестокости, которые проделывались некоторыми командирами. Липранди умеет вести следствия, и солдаты ему открывают то, что другим побоялись бы рассказать.

— Вот как-то вы говорили, что солдатский георгий спасает от телесного наказания, тем и хорошо. А недавно совсем из Охотского полка — батальон майора Вержейского — отлучились без спросу два унтер-офицера, георгиевские кавалеры и рассказали Орлову, как их секли.

— Да неужели их секли? — вскипел Пушкин.

— И заметьте, что их рота стоит всего в двадцати верстах от Кишинева. Под ведением этих георгиевских кавалеров было шесть кордонов, и на каждом кордоне Вержейский давал им по двадцати палок иль розог. А рассеченное тело смачивали соленой водой и так переводили за две-три версты до другого кордона. А в общей сложности по ста двадцати ударов на каждого.

— За что? — крикнул Пушкин, вставая.

— За ничто! — также взволнованно отозвался Охотников и также встал. — За выдуманые какие-то непорядки. Я не могу лежать...

Он кликнул денщика. Тот отыскал халат и подал им трубки.

«Вам нельзя курить» — хотел сказать Пушкин. Но Охотников и сам знал, что нельзя. Но что значит «нельзя», когда, с другой стороны, это же и «необходимо»!

— И вы думаете, это все? Вы бы на них поглядели... Это красавцы и силачи. Палки и розги их с ног не свалили, так их привязали на целую ночь под окнами у батальонного к поднятым оглоблям саней... как бы распятыми!

Охотников сидел и курил, вытянув длинные худые ноги; Пушкин, ругаясь, бежал по комнате.

— Ну, и... — спросил он сорвавшимся голосом. — Ну и что же?

— Их освидетельствовал доктор Шаллер в присутствии полкового их командира полковника Соловкина. А потом — Липранди! И Липранди все это дознанием подтвердил.

Пушкин долго не мог успокоиться. А Охотников — странно: он перестал кашлять, щеки его зарозовели. Возбуждение — на долго ли? — одолевало болезнь.

— Вы извините, я однесу при вас. Я не могу, я не должен хворать.



«Ну, а где же все-таки бури?» — И Пушкин порою все еще отдавался чарам Овидия.

Перечитывая на святках «Метаморфозы», он особенно был поражен легендой об Актеоне, провинившимся перед богами лишь тем, что увидел, чего не должен был видеть простой смертный. Все точно так, как Овидий и сам говорил о себе... И богиня Диана, превратив осторожного охотника в оленя, лишила тем самым его человеческого языка, а собственные собаки затравили его. Пушкина это совпадение волновало, и он тотчас набросал короткие строки — начало поэмы, следуя за повествованием «Метаморфоз».

В лесах Гаргафии счастливой
За ланью быстрой и пугливой
Стремился долго Актеон.
Уже на темный небосклон
Восходит бледная Диана,
И в сумраке пускает он
Последнюю стрелу колчана.

Но ото всей поэмы так и остался в черновике этот начальный набросок. Ноябрьское землетрясение в Кишиневе, повредившее многие здания, в наступившем новом году как бы перешло на людей, захватив из них самых близких, да и внутренний мир самого Пушкина начал подвергаться непрерывным толчкам. Он стал очень нервен и раздражителен, легко давал себя вовлекать в столкновения и сам порою их вызывал. Все же это было какою-то отдушиной для того томления и внутреннего огня, который не находил нормального выхода. Он не всегда даже мог и работать, то-и-дело лишаясь внутреннего равновесия сил. Так до Овидия ли тут?

Пушкин писал теперь своих «Братьев разбойников» — писал неровно, отдельные эпизоды неохотно ложились в единое целое. Это сердило его, но это же и возбуждало.

Недели через три после именин Ивана Никитича Инзова у него произошло грубейшее столкновение с Лановым, стар-

шим членом «картофельного управления», как потихоньку от Инзова Вельтман шутя называл его управление: »Иван Никитич наш и садсвод, и огородник отличный: он и колонистов, как картошку, сажает, да еще и окучивает!» Ланов был толст, важен и стар. Он был высокомерен и пренебрежителен со всеми, кто чином был не велик или годами не вышел. Даже товарищ его, Долгорукий, им возмущался: «У Ланова шесть лошадей, а у меня и кошка чужая. А что такое собственно Ланов? — Надутое туловище!» И у них между собою происходили ссоры и нелады.

У этого Ланова не только туловище было надутое, он и держался надуту, а когда у него от неумеренной выпивки раздвигалась желчь, то и лицо распухло. У Пушкина пропадал аппетит, как на него взглянет бывало, и он очень любил дразнить его и при нем говорить что-нибудь особенно дерзко насчет власти имущих, а то и о стариках, задирающих нос. Ланов Пушкина обозвал молокососом, а тот в ответ его «винососом».

Инзов терпеть не мог «проществий» и тотчас после обеда ушел к себе, Пушкин припугнул Ланова вызовом на дуэль. Ланов когда-то служил у Потемкина и от дуэли не отказался:

— Приходите ко мне на квартиру. Там мы условимся о месте и времени.

Дальше, однако, произошло нечто не совсем обыкновенное.

— Я его проучу, — разгоряченно сказал Долгорукому Ланов, забыв многочисленные неприятности, бывшие между ними. — Я его проучу, как в старину учили таких нахальных мальчишек.

— Как вы проучите? Пушкин, как говорит, отлично стреляет и непрерывно в стрельбе упражняется.

— Так что ж? Разве я с ним собираюсь стреляться? Я пригововляю у себя несколько солдат, а когда они придет, они его высекут, а я погляжу. А я погляжу!

Но ежели Ланов забыл свои неприятности с князем, то и Долгорукий, в свою очередь, на время забыл по раздражению, которое стоить часто ссыльный поэт в нем вызывал резкими своими суждениями. Он Пушкина тайно предупредил, и разыгрался грандиозный скандал, который едва удалось потушить миротворителью Инзову. Пушкин дал волю языку и перу. Наместник грозился его запереть.

— Вы это можете сделать! — горячился Пушкин, — но я и там заставаю себя уважать!

Ланов сказался больным, а может быть, и в самом деле очень не выдержал. Пушкин уже на другой день дал Долгорукому списать эпиграмму на своего врага:

Бранись, ворчи, болван болванов;
Ты не дожدهшься, друг мой Ланов,
Пощечин от руки моей.

Твоя торжественная рожа
На бабье гузно так похожа,
Что только просит киселей.

Это было крепко. И Ивану Никитичу пришлось устраивать так, чтобы Пушкин и Ланов за столом у него не встречались.

А жизнь шла своим чередом.

Перед самым своим отъездом в Киев Орлов производил инспекторский смотр второй бригаде, стоявшей в окрестностях Кишинева. Все шло благополучно, жалоб от солдат не поступало. И вдруг из задних рядов одной из рот Камчатского полка раздался голос одного из солдат, что их капитан выгнал было задержат причитавшиеся им деньги за провиант..

Орлов был разгневан. Обернувшись к Пуцину, он распорядился, чтобы тот немедленно произвел строжайшее следствие. — «А вы чего тут? Соглядатай!» — едва удержался он, чтобы не крикнуть в лицо Радичу, стоявшему здесь же. Но ничего, однако же, не сказал, и только судорога повела его скулы. Сабанеевский адъютант все это видел отлично и понимал, но он и бровью не повел, ясным оком озирая окрестность.

Часа через два Орлов уехал. Но едва его тройка отъехала, через другую заставу поскакал в Тирасполь и Радич. А предварительно он успел шепнуть Пуцину, что дело совершенно пустое, что начальник дивизии зря поволновался и сам будет рад все это забыть, что и дела-то нет никакого и что, наконец, в этом свете он доложит и самому Сабанееву, «добрейшей души человеку». Пуцин всему охотно поверил: Павел Сергеевич Пуцин отменно был глуп.

Сабанееву все это дело, на фоне других проществий, конечно, совсем небольшое, было представлено, как настоящий солдатский бунт. Радич не пожалел красок, кое-что про Орлова и просто приврал, что, например, на его, Радича, предложение сообщить обо всем корпусному командиру Орлов будто бы отвечал: «На что мне ваш корпусный командир? Я сам себе здесь хозяин!» Сабанеев не был органически глуп, подобно Пуцину, но в раздражении он терял не только свой ум, но и простую здоровую недоверчивость ко всякому оговору.

В Орлове давно его многое раздражало. Это была странная смесь чувствований, проистекавших из самых различных источников. Он завидовал популярности Орлова между солдат и считал, что Орлов именно этого и добивается, это и есть его главная цель: значит, Орлов мелкий был человек; кроме того, Сабанееву ненавистна была и самая мысль о каких-либо политических новшествах, а Орлов не скрывал своих взглядов: значит, Орлов был политикан; и Орлов держался не только-что независимо, но и как на

стоящий вельможа, а Сабанеев стоял за простоту: он помнил Суворова!

И, наконец, — это было смешно, но смешного на свете гораздо больше, чем кажется, — сам Сабанеев был маленький, щуплый, поджарый и некрасивый «подстарок», а Орлов был высок, с величавой фигурой, молод, красив. И когда блистательный великан невольно глядел сверху вниз, как огромный снисходительный пес, на юлящую перед ним (Сабанеев был от природы почти неприлично подвижен) крохотную беспородистую собачонку, игрою судьбы поставленную выше его по иерархической лестнице, — Сабанеев в себе ощущал почти физическое раздражение: взвизгнуть и укусить! Но блистающая машина одною своею массой не допускала до этого. Теперь выпал случай, которого нельзя пропускать.

Уже на другой день после отъезда Орлова Сабанеев к вечеру был в Кишиневе. Он вызвал к себе полкового командира и Пушина. И началось потеха, гроза — этого «Суворова наизнанку». Сабанеев дознание производил сам, устремив главное внимание не на капитана, а на солдат, осмелившихся бунтовать. Он вел розыск со страстью и учинил допрос «с пристрастием». Фельдфебель, артельщик и коекто из солдат были посажены под караул, а о самом происшествии донесение послано и в главную квартиру в Тульчин, и непосредственно в Петербург.

Был в восторге и Радич: Орлов пострадает! Это не шутки: узнав о таком важном случае, — уехать, его не разобрав, по своим личным делам!

И едва минул месяц, четырьмя солдатам была устроена в Кишиневе публичная торговая казнь: их били кнутом и двоих насмерть засекли. Кстати и унтер-офицеров разжаловали и лишили крестов. Орлову предложили поехать «на воды», но он отказался, требуя формального суда над собою.



Однако это было еще впереди, и Кишинев жил обычной, несколько легкомысленной жизнью. Не так давно из Петербурга, в распоряжение полковника Корниловича, ведавшего топографической съемкой нового края, приехали два молодых офицера, брата Полторацкие, знакомые Пушкина. Он был очень им рад. От них веяло забытым и забываемым петербургским воздухом, Пушкин бывал у них, и они вместе ходили танцевать в казино.

Событиям назреть и итти своим чередом, а молодость шумела пока и плескалась без всякого череду. Пушкин умел отдавать в веселье и пустякам с истинной страстью и беззаботностью. У него в Кишиневе была на сей счет прочная слава, и если бы его не было в городе,

сплетни и болтовня в гостининых обмелели бы наполовину. Тут, как всегда, бывало немножечко правды и очень порядочно выдумки. То, говорили, опять потрепал он за бороду какого-то знатного молдаванина, то, будто, увидев хорошенькую головку в окне, въехал верхом на крыльцо, то у одной барыни, которая любила, садясь на диван, снимать башмаки, тростью вытащил их из-под дивана и спрятал..

— Да может ли быть?

— Да она сама вчера мне рассказывала!

Порою бывали и «бенефисы». Ивану Никитичу Инзову жаловались, и Иван Никитич имел обыкновение разбирать жалобы по старине, всенародно. Пушкин даже любил эти представления, он и тут продолжал забавляться, и когда генерал объявлял, что в назидание господину Пушкину он оставляет его «без сапог», тот тотчас же с такой торопливостью принимался стягивать с себя обувь, что и сами жалобщики уже начинали смеяться.

Пушкин любил ходить на народные гулянья, глядеть на борьбу, на игру в свайку, которую и сам очень любил. Иногда появлялся он костюмированным — то турком, в сандалиях и с феской на голове, с важною длинною трубочкой, то евреем, цыганом.. Однажды он взял монашеское одеяние и так отправился через весь город к старухе Полихронии — «погадать, попадет ли он в рай, или в ад».

Но особенно он любил в праздничные дни вступать в молдаванские хороводы. Проезжавшие молдаванские бояры приказывали кучерам остановить лошадей и со смешанным чувством глядели, как молодой человек отплясывал «джок» под звуки кобзы. Пушкина, с ними никак не стеснявшегося, они побаивались и не любили, но в то же самое время им было приятно, что он не чуждается их национальности. Тяжеловесные мысли их приходили в движение и как бы стекали по лицу, заставляя пошевеливаться и самые бороды — красоту и природную гордость всякого коренного «бояра».

Святки этого года были особенно шумны и веселы. Их не хотелось кончать, и они сами собою докатились до масленицы. В один из таких вечеров в казино произошла небольшая история, которая имела и продолжение.

Было условлено с Алексеем Полторацким, что они начнут мазурку. Александр захлопал в ладоши и закричал музыкантам:

— Мазурку!

Он слышал отлично, как какой-то молодой егерский офицер, незнакомый ему, заказал до того русскую кадриль. Офицер опять закричал, чтобы играли кадриль, но музыканты послушались Пушкина, которого давно знали.

Полковник Старов, видевший это, позвал офицера и предложил погребовать у Пушкина извинения. Офицер, которому не хотелось итти на явную ссору, отговорился тем, что он с ним даже и не знаком.

— Тогда придется поговорить мне за вас.

Пушкин себе в секунданты пригласил Алексеева. Липранди, у которого оба они побывали рано утром, также поехал к месту дуэли, версты за две от города, и остановился в какой-то мазанке, ожидая, не проедет ли мимо Старов: он предполагал про себя сделать попытку к примирению противников или, по крайней мере, оговорить не слишком жесткие условия. Но Старова он так и не увидал, и ходил из угла в угол, нервничая и беспokoясь.

Липранди был сам старый испытанный дуэлянт. Про него ходили легенды, и Пушкин часто допрашивал его о подробностях его поединков. Кажется на его совести была чья-то жизнь, и этот случай испортил ему отлично начавшуюся карьеру. В двадцать четыре года он был уже подполковником генерального штаба и состоял в четырнадцатом году на чальником русской военной и политической полиции в Париже. И вот с тех пор прошло еще восемь лет, и он все тот же подполковник...

Липранди под пулями противника стоял совершенно спокойно, он знал то же свойство и за Пушкиным, но вот за него сейчас он волновался. Эти непривычные волнения людей, скупых на любовь, особенно остры. За окнами выла метель, не видно ни зги. Если Старов пошел на дуэль, как мальчишка, он будет настаивать на очень близком расстоянии между противниками, а Пушкин? То же, конечно, и Пушкин! Дуэль с человеком, уважаемым всеми, — полковником под сорок лет, да это для Пушкина истинное наслаждение... И как это должно быть освежительно среди застойного бытия града Кишинева!

На Алексеева Липранди не возлагал больших надежд. Николай Степанович, правда, бывший военный, но по натуре своей он человек глубоко штатский. Он любит Пушкина, но он слишком спокоен, и спокойствие это не заработано в борьбе со страстями, оно даровое и не упругое. А тут надо быть на чеку! Старов потребует десяти шагов, восьми шагов! Липранди явился и то-и-дело решал ехать на место дуэли самому. Но... но это было бы противно дуэльному кодексу: у Старова был один секундант. Между тем каждую минуту может раздаться стук, войдет извозчик и скажет: «Кого-то несут!»

И стук раздастся... Входит извозчик, но не успеваешь еще открыть рта, как входят за ним — Пушкин и Алексей! Как

если бы молния упала в зрачок. Иван Петрович закрывает глаза на секунду, и в эту секунду совершенно овладевает собой. Он уже ровен и прост, как всегда, и даже... да, деловит. О, Липранди нельзя упрекнуть в излишней доброте, как Алексеева. Он даже вообще не добр. На что ему доброта! Он может быть сух и даже жесток, и он прежде всего — отличный чиновник, отчетливый исполнитель, знаток своего трудного дела. Все это так, но в эти часы — белой метели за окном, и одиночества, и далеких видений своей собственной, начисто отгоревшей молодости, — может быть, в первый раз он понял и сам, как он истинно любит этого кудрявого юношу, поэта, задиру, веселого друга, — как он любит его со всею силою сжатого сердца, которое можно, наконец-то, и отпустить: барьер на шестнадцать шагов — два промаха! — барьер на двенадцать шагов — еще два промаха! Дважды два четыре... Как хорошо!

— Они хотели еще сблизить барьер, — говорит Алексей, — но мы, секунданты, им не позволили.

Липранди глядит на него: широкоплечий, красивый, бачки блестят в мельчайших росинках растаявшего снега, и как горят глаза! Нет, он молодец — коллежский секретарь Алексей!

— Вы молодец, Николай Степанович, что вы не позволили.

Глаза Алексеева отвечают: «Я люблю его не менее вас, Иван Петрович». И Липранди читает этот ответ. А сам Пушкин? Что он?

Сам Пушкин как если бы только-что купался: такой оживленный и вежий.

— А ведь мы отложили! Метель успокоится, и сойдемся опять.

— Метель будет долгая. Едем домой.

До самой плотины через реку Бык ехали шагом. Дрожжи утопали в снегу. На одной из улиц Пушкин соскочил на ходу.

— Я к Полторацкому. Поговорить вчерашней мазурке!

Но Полторацкого он не застал, и оставил ему записку:

Я жив,

Старов

Здоров,

Дуэль не кончен.

Эта дуэль так конца и не имела. «Да он, братец, такой задорный!» — говорил, обращаясь к Липранди, Старов, но все же противники примирились. «Я должен сказать по правде, — обратился полковник к юному дуэлянту, — что вы так же хорошо стоите под пулями, как хорошо пишете». Пушкин был тронут и кинулся его обнимать.

Он помнил запрет, который был на него наложен Марией Раевской: без крайней необходимости жизнью не рисковать но никогда не мог ему подчиниться. Ка-

залось ему, что он не мог бы себя уважать, когда бы не был готов во всякую минуту стать на поле чести.

Вскоре в Кишинев опять прибыл Сабанеев (Сабаней, как его называли солдаты). Он обедал у Инзова и остался после обеда. Пушкину надо бы уходить к себе, но он медлил. Какое-то предчувствие томило его. Шло оно, вероятно, от самого гостя. Тот по-обычаю шутил за обедом, но не был по-настоящему весел, а себя только подстегивал. Был и Инзов задумчив больше обыкновенного.

— Я уж просил Киселева. Возьму Липранди к себе в адъютанты. Не вашего, не кишиневского. — Сабанеев зло махнул сухою своей, детскою ручкой. — Уж владейте им как-нибудь вы.. На здоровье! А я, бог даст, и без него обойдусь. Я возьму молодого. Да уж и взял! Это законно и без приказа.

— Что же, и наш Иван Петрович человек достойный, — возразил Инзов.

— Такой же достойный, как и ваш этот майор.

Инзов печально взглянул в сторону Пушкина. Однако же имени майора Сабанеев не называл. Покушав, оба генерала удалились в кабинет Ивана Никитича.

Все это заставляло насторожиться, и Пушкин остался после обеда в столовой, перелистывая какую-то новую книгу. Инзов не любил послеобеденных прений и, невзирая на лица, обыкновенно уходил к себе — побыть в одиночестве, часок полежать. Но сегодня обычаю этому он изменил. «Что-нибудь важное, — думал Александр. — Что-нибудь важное.. И какой это ваш майор? Непременно Раевский!»

Как раз это имя послышалось из-за дверей. Собеседники спорили повышенными голосами. Пушкин преодолел неловкость и подошел к двери поближе. Сабанеев настаивал, пегушась. Инзов никак не хотел согласиться. Тогда Сабанеев почти прокричал:

— И я, и вы, мы обязаны подчиняться приказаниям. А я получил приказание: пока майор Раевский не будет арестован, ничего нельзя будет раскрыть!

Не слушая далее и забыв всякую осторожность, Пушкин тотчас побежал к Владимиру Федосеевичу. Тот спокойно лежал на диване и курил трубку.

— Можешь идти, — приказал он арнауту, открывшему дверь Пушкину.

— Здравствуй, душа моя!

— Что нового? Ты как-то запыхался..

Они иногда говорили друг другу на «ты».

— Новости есть, но дурные.

— Раз Сабаней в гости приехал, какие могут быть новости, кроме дурных?

— Ты угадал.

И Пушкин все передал, что услышал.

От Киселева получен приказ: майора Раевского арестовать!

— И ничего нельзя открыть, пока ты не арестован. А что открывать?

На последний вопрос Раевский ничего не отвечал. Он поднялся с дивана.

— Спасибо тебе. Я этого почти ожидал. Но все же, арестовать офицера по одним подозрениям, — это отзывается турецкой расправой. Впрочем, увидим, что будет. Пойдем к Липранди!

— Но он уехал вчера в Москву, ты же ведь знаешь.

— Уехал Иван Петрович, а Павел Петрович приехал, с Сабанеевым вместе.

Пушкин потемнел с лица.

— Сабанеев порочил Ивана Петровича и говорил, что брат на него ничем не походит и тем совершенно хорош.

Раевский не стал, однако же, Пушкину объяснять, что Сабанеев подозревал Ивана Петровича в принадлежности к тайному обществу, тогда как на самом деле в тайном обществе состоял не кишиневский Липранди, а младший брат его, которого генерал брал к себе адъютантом. Он, впрочем, сказал, остерегая:

— Только у Павла Петровича ни слова о моем деле.

Павла Петровича, как всегда остановившегося у брата, они не застали. Он пошел повидаться, как им сказали, с другим адъютантом Сабанеева — Радичем.

— Так я его до сих пор еще и не побил! — печаловался Пушкин.

Раевский и Александр расстались на улице. Владимир Федосеевич особенно крепко пожал руку своего молодого друга.

— До завтра, — сказал он чуть дрогнувшим голосом.

Тем же приветствием ответил и Пушкин.

Раевский пошел к себе подготовиться к принятию гостей. У него был большой шкаф с книгами, более двухсот томов французских и русских авторов. Он едва успел затолкать на верхнюю полку «Зеленую книгу» — статут Союза Благоденствия, в него были вложены четыре распоряжения о принятии в Союз, сделанные Охотниковым; сюда же он приобщил и маленькую брошюру — «Воззвание к сынам Севера». Сжечь все это сейчас было бы опасно, могли догадаться по запаху. Да и не успеть.. И точно, в двери раздался громкий стук. Вошли Павел Петрович Липранди и Радич.

Обыск и арест поручен был персонально Павлу Петровичу, а Радичу отдано было распоряжение — присутствовать. Молодой Липранди держался официально, вежливо-сухо, Радич, ему в подражание, также. Обыск продолжался недолго. Все было на виду.

— Книги брать? — спросил Радич, окинув взором шкаф.

Липранди, уже успевший обменяться взглядом с Раевским и убедившийся, что все подозрительное именно в книжном шкафу, сухо и деловито ответил своему товарищу:

— Не книги, а бумаги нужны, — и тщательно отобрал служебные и деловые бумаги Владимира Федосеевича. — Вам придется приготовиться к отъезду, — сказал он, обращаясь к нему. — Я должен вам объявить, что вы арестованы.

«А из него выйдет толк», — думал между тем, покручивая коленный ус, капитан Радич, чувствовавший непреодолимое влечение к обыскам, допросам, арестам, ко всему этому увлекательному — даже больше того — пленительному полицейскому делу. Когда бы он знал, какую, при всем своем полицейском уме, играл он в ту ночь глупую роль!

Раевский остался один. Он быстро с полки достал спрятанные им документы и немедленно спрятал.

Наутро, когда Александр прибежал проведать Владимира Федосеевича, Раевский был уже далеко.



Пушкин грустил. Он многого не понимал и не знал, насколько дело Раевского было серьезно. Владимира Федосеевича ему так не хватало, как он не мог бы себе и представить. Не было и Ивана Петровича Липранди. Орлов не приезжал. Ему писали письма, Охотников, не взирая на свое нездоровье, ездил к нему в Киев — «просить дивизионного командира, что бы он возвращался поскорее». Многим казалось, что стоило Михаилу Федоровичу вернуться к себе, как снова все станет на свое место. Но и сам Охотников в Киеве подозрительно задержался. Конечно, он также имел свои основания держаться подальше. Петербургские друзья были на отлете.

Незакончившаяся дуэль Пушкина с полковником Старовым много вызвала толков. Многие храбрецы, не державшие в руке пистолета, утверждали, что дуэли, собственно, так не должны бы кончаться. Пушкина одинаково раздражало, когда говорили, что, в конце-концов, он просил извинения у Старова, или, напротив, извинение приписывали полковнику.

Арест Раевского и полная неизвестность относительно его дальнейшей судьбы, эта торговая казнь, недобрые слухи об Орлове, — все это вогнало Пушкина в злую полосу жизни. Он часто стал резок — не добродушный задор, а почти оскорбительные, злые насмешки. Ему страстно хотелось сорвать на ком-нибудь это свое настроение. Наиболее трусливые из молдавских бояр стали его избегать.

Ах, отчего он не в Киеве? Раевские... Все это было как сон. В Киеве был сей-

час и Денис, и каменские Давыдовы. Кажется, Аглая Антоновна покинула мужа и навсегда оставила Россию, увозя с собой и Адель. Пушкину девочку было истинно жаль. Но и эти известия только скользнули, в груди ходили темные тучи, и, наконец, разразилась и его личная буря. Сколько бояры ни прятались, а один в лихую минуту все же попался ему на дороге.

Как и всегда в подобных случаях, началось с пустяков.

Давно уже его раздражал высокомерный молдавский вельможа Тодораки Балш. Про таких говорил как-то Вельман забавною своею скороговоркой забавные стихи:

Он важен, важен, очень важен:
Усы в три дюйма, и седа
Его в два локтя борода,
Январь в аршин, чубук в пять сажен.
Он важен, важен, очень важен!

Только борода у Балша была, может быть, и седа, но выкрашена в золотисто-бронзовый цвет и приметно подвита.

Пушкин дружил и болтал с его женой Мариолой. Она была остра на язык и тоже однажды позволила себе пошутить относительно дуэли его со Старовым. Это было уже чересчур. Пушкин вскричал:

— Если бы на вашем месте, мадам, был ваш муж, я бы знал, как мне с ним поговорить.

Это было на вечеринке у молдаванки Богдан, матери Маризолы. Тодораки Балш сидел за карточным столом и вел большую игру. Ему везло. Он был красен и маслянист, озабоченно весел: только бы карта не переменялась. Но Пушкин к нему подошел и потребовал удовлетворения. Тодораки поднялся, сразу раздувшись до предельных размеров, и пошел к жене узнавать, в чем дело. «Карта, наверное, переменится...» — думал он про себя, а жена еще подлила масла в огонь. У боярина кровь прилила к глазам, он повысил голос, а потом и вовсе начал браниться, кричать. Пушкин не оставался в долгу и готов был перейти непосредственно к бою. Его удержали. Но скандал разыгрался действительно с силой бури.

Все гости смешались, как карты в колоде. Невидимая чья-то рука непрерывно их тасовала. Кидались туда и сюда. Старуха Богдан рухнула в обмороке. Кто-то наступил на болонку госпожи Крупенской. Трудно было на нее не наступить, потому что она, как муха, шныряла между множеством внезапно пришедших в движение ног. Но вице-губернаторша не вынесла этого и впадала в истерику. Целая группа гостей кинулась помогать лакею, несшему на подносе набор спиртов и успокоительных капель. Поднос опрокинули. Попутно опрокинули и карточный стол, зазвенели монеты. На-

конец генерал-майор Пушин, все еще заменявший Орлова, овладел положением и почти насильно увез Пушкина с собою.

О происшествии было тотчас же доложено наместнику. Инзов распорядился — противников примирить. Но это оказалось не так-то легко. Ни Пушкин, ни Балш не поддавались на увещания.

Утром в среду (вечеринка была в воскресенье) Пушкин получил записку от вице-губернатора Крупенского, срочно его вызвавшего к себе.

У Крупенского оказался и Тодораки Балш. Его уговорили просить извинения у Пушкина. В этом не было ничего неожиданного. Матвей Егорович Крупенский был очень доволен завершением этого неприятного дела.

Но завершилось оно совсем по-другому. Пушкин был очень раздражен этим вызовом «по начальству». А, кроме того, и сам Балш отнюдь не имел вид человека, признававшего за собою какую бы то ни было вину. Он смотрел на это, как на любезность, которую делает уважаемому Матвею Егоровичу, а сам Пушкин тут был не при чем. Он этого и не думал скрывать, и это становилось похоже на новое оскорбление. Боярин не произнес еще ни единого слова, а Пушкин уже закипел к нему ненавистью, возродившейся с новою силой: точно бы его заманили обманом в ловушку! Наконец, Балш, надменно роняя слова, произнес, подчеркивая слово «упросили»:

— Меня упрости извиниться перед вами. Какого извинения вам угодно?

Пушкин выхватил пистолет и возбужденно сказал:

— Вот как мне было угодно разделиться с вами, да здесь уж не место! — спрятал пистолет в карман и ударил Балша по щеке.

Потом отправился к Инзову. Иван Никитич продержал его у себя до обеда и, как говорили в управлении, радуясь возможности посудачить, все это время «мыл ему голову», потом накормил и отправил под арест с адъютантом.

Пушкин писал из заключения веселые стихотворные записки, но ему не было весело. Навещал его Долгорукий, приносил по просьбе узника, стихи его батюшки, Ивана Михайловича. Это был чистый восемнадцатый век, и они ненадсаго его развлекали. Приходил и Инзов поговорить — «о том, что тебе интересно»: новости о продолжавшейся испанской революции; это был уж, конечно, век девятнадцатый. А сам Иван Никитич Инзов? Он был в отношениях с Пушкиным как бы вне всяких веков. Он считал необходимым — для пользы, для пользы единственно! — и посадить под арест, и потолковать «о том, что тебе интересно», и прислать балычку: Пушкин балык очень любил.

Но полностью и сам Инзов Пушкина не мог растопить. Дикая история с Балшем не разрешила его томлений. Он не жалел пышнобородого боярина и считал себя вправе побить его. Правда, за это сидит под арестом, и довольно-таки на сей раз длительным, но так что же? Лучше сидеть под арестом, чем на свободе быть таким вот чиновником, как Долгорукий. Он так ему и сказал. Неизвестно, поймет ли. Но Пушкин собой и своею судьбой был недоволен. Подумаешь: буря! Того ли хотелось бы?

Да и просто сидеть взаперти — хотя бы вот эти три недели («До пасхи и просидишь!») — сказала ему Инзов), — как нелегко! Он заскучал, похудел. Глядя на поджарых, подневольных инзовских орлов, он вспоминал слышанную им в Кишиневе тюремную песенку:

Замки нам не братья,
Тюрьма не сестра...

Замка на двери у него не было, но решетка была. И это были уже не шуточные стихи, и не одного себя он представлял арестантом.. Тюрьма была велика.

Сижу за решеткой в темнице сырой.
Вскормленный в неволе орел молодой,
Мой грустный товарищ, махая крылом,
Кровавую пищу клюет под окном.

Клюет и бросает, и смотрит в окно,
Как будто со мною задумал одно;
Зовет меня взглядом и криком своим
И вымолвить хочет: «Давай улетим!

Мы вольные птицы; пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где сияют морские горы,
Туда, где гуляет лишь ветер.. да я!

Все это было, конечно, и очень лично, и с подлинным верно: даже и гуча проползала не раз, и белесые кишиневские холмы глядели в окно непрерывно, а в воспоминании был жив снежный Эльбрус.

Стражи у Пушкина Инзов не поставил, он полагался на узника. Единственным сторожем и поильцем-кормильцем был верный Никита. И он тоже со дня на день худел и становился все молчаливее. Пушкин в думах своих почти-что его не замечал: так тот был тих и неслышен.

А думы порою были самые мрачные. Александру казалось, что он покинут, забыт. Алексеев отбыл в какую-то командировку, и приходилось довольствоваться Долгоруким, а это как постная пища! Да и вообще, где же друзья? Всех разметала судьба. Несвойственное Пушкину уныние стало наведываться в его комнату за решеткой. «Сижу за решеткой в темнице сырой».. И вдруг открывается дверь:

— Александр Сергеевич, батюшка... скзывали... адъютант прибудет сейчас... генерал, так-что, распорядился о воле!

Никита стоит в дверях, голос его дрогнул, и улыбка, как зайчик, бегает по вдруг посвежевшему лицу его, не смея еще остановиться определенно на губах. За окном веселый и солнечный день. Уже зеленеет молодая трава, и воздух, трепеща, струится над нею. Но Пушкин как в обмороке, сердце закрыто. «Туда, где синеют морские края...» И он невольно вздохнул: «Попроситься, что ли, в Одессу?» Он стоит и ни с места.

— Что с тобою, Никита?

Пушкин увидел, как у Никиты закапали слезы. Такого зрелища он ни разу еще не видал. Почему это? Откуда они?

И понял тотчас, чего и Никита сам полностью не понимал, но тем непосредственной чувствовал: верного дядьку его так поразило, что барин от радости не закричал, не вскочил, не закружился по комнате.

— Извели они, батюшка, вас... — Больше Никита ничего не мог произнести.

И к Пушкину, томившемуся потерей друзей, мигом вернулась вся жизнь. Он подскокил к Никите и обнял его, затормошил.

— Не изведут, ничего! Одеваться давай! Да какой нынче день?

Улыбка и слезы. Как через них просквозило человеческое верное сердце! И только сейчас, как если б действительно сняли запоры, снова свежо и легко, и горячо: молодость, жизнь. Спасибо, Никита!

«ПЕВЕЦ В ТЕМНИЦЕ»

Инзов выпустил Пушкина поговеть, а после пасхальной заутрени совсем отпустил на волю. Балш подавал ему жалобы, но «великий староста кишиневский» распорядился дело считать «за истечением времени — изжитым». Так, по слову его, оно и было изжито.

Кишиневская пасха была пестра и шумна. Долгорукий обижался, что Инзов заехал с визитом к правителю канцелярии раньше, чем к нему. Ему объяснили одну тонкость, которую упустил он из виду: правитель канцелярии был женат, а он нет; таким образом ущербность его еще увеличивалась: беден и — холост! Но он развлекался тем, что на другой день пошел смотреть на борьбу. Там он встретил и Пушкина.

Борьба была интересная: не столько на силу, сколько на ловкость. В ней была своя ритмика, и Пушкин отчетливо это ощущал, когда звуки волюнки сливались с движениями тел в одно целое. Народ теснился вокруг все ближе и ближе, и один полицейский, довольно боязливо размахивавший обнаженною саблей, и

двое болгар, ему помогавших, ничего не могли поделаться. Это, конечно, был беспорядок, но Пушкину нравилось и это. Он достаточно у себя насиделся без вольных телодвижений!

Ему и лицей вспоминался — борьба на дворе, и, улыбаясь, припоминал кое-какие строчки из своей «Гавририады». Но борьба была замечательна и сама по себе. Не сила и не запал, а ловкость и изворотливость побеждали. Однако ж, как часто и в жизни так побеждают!

И оборотясь к Долгорукому, и вкладывая двойной смысл в свои слова, он произнес:

— Вот чего мне нехватает. Этому я буду учиться!

В увлеченьи борьбой ему действительно захотелось ей научиться, но и то доставило ему удовольствие, что он вслух высказывает и другую свою, более важную мысль, о которой собеседнику никак не догадаться. Он всегда это любил, и знал по стихам, что, когда, наряду с ясною прозрачностью мысли иль чувства, заложено в них что-то еще, на глубине, не всегда и самими полностью осознанное, — стихи получали особую полную жизнь.

Кишиневская пасха пестра. Инзов в тот день принимал духовенство, а потом у него были евреи со скрипками. На первом же вечере Пушкин весело переглянулся с тринадцатилетней Аникой, дочкою Мариолы Валш, — в пику и назидание матери. И он опять танцевал, но — с пистолетом в кармане! Впрочем, для прогулок он скоро стал его заменять огромною железною палкой, с которой е тех пор почти не расставался.

Как-то у Инзова за столом подшутили над этою тяжелой палкой, как над «новым поэтическим достижением» Пушкина. Но и он отшутился, припомнив дубинку Петра. Слово за слово, и разговор стал серьезным. Пушкин Петра обожал и считал его подлинным исполнителем, наследником же его престола мелкотой и ничтожеством.

— Что из того, что все трепетали перед его дубинкою? Трепетали именно все, все были равны!

— Но он разрушал быт и добрые нравы старины.

— Он выбивал старую Русь, как на ветру выбивают старую шубу от пыли и затхлости. Выбивал и проветривал на вольном ветру. А что бороды брил, так нравственность не в бороде! А отчизне своей цену он знал, и отчизну любил. Он ездил в Европу учиться, работать...

— Иноземщина!

— Нет, это потомки его перешли на иноземщину, на то, что полегче, а легче всего оказалось французить. Мы русского языка своего стали гнушаться. А эта революционная голова...

— У царя была революционная голова?

— А эта революционная голова, — сособою настойчивостью продолжал Пушкин, — так любила Россию, как только мисагель может любить русский язык.

— И что же можно творить в этой России?

— Все можно творить в этой России и в этом русском языке. Но прежде все надо расчистить, и тот не патриот, кто не желает перемены правительства в России..

Пушкин и далее продолжал в том же духе, разгоряченный вином и намолчавшийся в одиночестве.

Орлов из Киева все не возвращался. Оттуда приходили слухи, что без боя он не сдастся. Передавали, как он говорил: «Сабанеев рассчитывал, что одним ударом меня сшибет. Ударил и подул в пальцы: сам себя ушиб». Не слишком ли Михаил Федорович надеялся на одну свою правоту, когда против него усердно работало много людей, которым до правоты не было ни самомалейшего дела, но которые защищали за то личные свои интересы!

Пушкин теперь переселился от Инзова к приятелю своему Николаю Степановичу Алексееву, в его чистенькую и светлую мазанку. Они жили дружно, да и выходя в город, почти не разлучались. Полторацкие, произведя свою съемку, уехали в Петербург. Александр бродил по Кишиневу, когда Алексеев был занят или куда-нибудь выезжал, — без дела, без цели. Весною ему плохо работалось, а развлечениями его были только обеды у Инзова да карточная игра в клубе.

У Инзова он отводил душу в разговорах и особенно бывал рад, когда у местного появлялся какой-нибудь свежий гость, с которым можно было сцепиться. Обедавшие у Инзова люди любили эти бои.

Пушкин прекрасный был тореадор и умел довести до ярости и очень крупных выков, но нельзя было слушать без волнения, когда он говорил о позоре и о стыде крепостного права. Он немного при этом бледнел, и то поднимался, то садился опять, стучал рукою с салфеткой о стол и откидывал ее прочь.

— Я никогда.. я никогда крепостных за собою не буду иметь! Почему? А потому, что я не могу поручиться, что обеспечу для них благополучие. Да и всякого, кто это берет на себя и не выполняет, для кого крестьяне — единственно только источник дохода, я почитаю бесчестным.

— А батюшку своего, Сергея Львовича, как считаешь? — спросил Иван Никигич серьезно.

— Батюшку я исключаю, — ствечал Александр несколько неуверенным то-

мом. — Батюшка честен, но у нас нет на этот счет одинаких с ним правил.

— А жить будешь чем? Голова!

— Вот именно жить буду я — головой. Или, если хотите, гусиным пером.

Инзов и тем уже был доволен, что Пушкин не стал порочить отца, хотя известная натянутость в их отношениях была ему не безызвестна, и потому второй свой вопрос он задал тоном уже веселым, а гусиное перо совсем его восхитило.

— Я готов пожертвовать тебе целого гуся! — провозгласил он и, шумно отодвинув стул, поднялся из-за стола.

В другой раз Пушкин всех ошарашил неожиданным заключением просранных своих рассуждений о Наполеоне и революциях.

— Прежде народы, — сказал он раздельно и полновесно, как если бы говорил власть имеющий, — прежде народы восставали один против другого, теперь король Неаполитанский воюет с народом, прусский воюет с народом, гишпанский тоже с народом, — так нетрудно расчесть, кто возьмет верх.

Князь Долгорукий дома, у себя, записав эту фразу, добавил еще: «Глубокое молчание после этих слов. Оно продолжалось несколько минут...» И это молчание, видимо, было очень насыщенным, ибо и тут, в дневнике, перо его также остановилось без какого-либо полемического замечания.



Первого июля возвратился, наконец, из своей долгой поездки в Москву и Петербург Липранди. Ни Вяземского, ни Чаадаева он не видал и письма Пушкина к ним привез обратно. Зато Александр получил письмо от Дельвига и Баратынского и из дому от своих. Липранди приехал усталый с дороги и озабоченный своим положением. Он пытался устроиться на службу в Одессе, но это ему не удалось. Впрочем, об этом он не распространялся, а Пушкин засыпал его расспросами о Москве, о Петербурге, о доме. Он заставлял рассказывать все подробно до мелочей.

— Ну, так что же, иду по Фонтанке...

— Между Измайловским и Калининскими мостами, — перебивал его Пушкин, как маленький.

— Ну да. Может быть, дом прикажете описать? Каменный, одноэтажный, с балконом.

— Он очень непрочный, балкон... И половицы в правом углу вовсе прогнили. Мне это нравилось.

— Что половицы прогнили?

— Да, что непрочный! Романтичной.

— Вот, верно, такого-то вас и вспоминала эта старушка... Страшной.

— Мамушка? Няня?

— Я прихожу. Дома нет никого. Лакей узнает, что есть письмо от вас, ну и позвал старушку какую-то..

Пушкин сердился, смеялся. Обычно он был сдержан в выражении чувств, но что-то сейчас его подмывало.

— Не какую-то! Это же няня! Арина Родионовна. Я разве вам про нее не говорил?

— Да я и сам потом догадался. Но как же расспрашивала она о вас, Александр Сергеевич! И о здоровье-то, и хорошо ли вам спится, и мягкая ли перинка, и что кушаете..

— Что же вы отвечали?

— А в Москве, куда я попал лишь потом, я всем страсти рассказывал, как сами вы приказали: ходит по кабакам, оборванный, грязный..

— Ну, только не грязный!

— В рубище, во вретнице, и весь в долгах с головы до ног.

— Без вас тут был один... воздухоплаватель. Так он заработал сотню рублей чистой выдумкой. Я тогда же подумал: вот человек — живет головой! Может, и мне выдумка ваша поможет. Ну, а няне вы как?

— Чистенький и аккуратный. Говеет. Работает. Ждет не дожидется, когда придет, чтобы ее обнять.

— Не смейтесь, Липранди. Вы сказали чистую правду. А она была в ватной своей жакавейке? Она корицей всегда — чуть-чуть! — пахнет.

— Она спрашивала, Пушкин, о вас и заливалась слезами.

И письма друзей Пушкина заволновали. Вот он — его, оставленный мир! И как далеко, и как все давно!

После обеда, что случалось с ним очень редко, он прилег и уснул. И во сне видел Лицей, и, как всегда, когда снился Лицей, — Кюхельбекера. Так с этими мыслями и проснулся, и тотчас сел разбирать лицейские свои тетради, привезенные Липранди из Петербурга. Целый вечер воспоминания не покидали его, и уже перед тем, как ложиться спать, он чертил ачаграммы фамилий — своей и милого друга лицейских дней — Пущина. Что такое собственно счастье, Пушкин, верно, затруднился бы определить, но он знал, что не ошибается, когда записал тут же, вместе с фамилиями: «1 июля день щастливый».

УТАЕННЫЙ РЕЙС

У Пушкина было время, досуг — остаться с собою самим наедине: он опять сидел под арестом!

История эта была глупее и неожиданнее всех других. За столом у наместника появилась новая личность — отставной офицер Рутковский, служивший некогда под начальством Инзова и которого тот

и теперь намеревался куда-то пристроить. Пушкина этот надутый и глупый враль весьма раздражал.

Инзов изредка выезжал на охоту с ружьем и собакой. В его отсутствие Пушкина, весьма разгоряченного, втащили в спор все на ту же тему о крепостном праве. И сам Рутковский, и некий переводчик при управлении, Смирнов, оба подвыпившие, держали себя неприлично и вызывающе. Они подмаргивали друг другу и поджохатывали. При Инзове этот Смирнов был тише воды, ниже травы, теперь же, поощряемый Рутковским, он кипятился за всю. Александр на него только рукою махал, главные стрелы он направлял на Рутковского.

— Вы сейчас штатский, — спрашивал он его как бы мимоходом, — или опять хотите надеть военный мундир? Но это все равно, впрочем: и штатские чиновники полдецы, и генералы скоты большей частью.

Все это надо было Рутковскому принять на себя, по связи с вопросом, к нему обращенным, но и принять как будто бы было нельзя: он не генерал. По штатской, однако же, линии и он, и Смирнов получили полнотю.

— Один класс земледельцев почтенный, кто трудится сам на земле. Ну, а господа дворяне... — Красная, потная шея Рутковского вызывала в нем тошноту омерзения, — дворян надобно было всех бы повесить. Да и я... — он несколько даже потянулся через стол, — я бы и сам петли затягивал...

Инзову по возвращении, наверное, обо всем доложили. Когда на другой день, написав с утра самое мирное письмо брату Левушке, Пушкин пришел к столу, генерал взглянул на него вовсе не ласково. Зато Рутковский цвел и сиял. Из-за сущих пустяков вспыхнула между ними ссора. Это опять грозило домашним арестом, и Пушкин, еще не весьма раздраженный, стал в шутку снимать сапог, поглядывая на Инзова и как бы говоря: «Ну вот, я готов, Иван Никитич, отдайте распоряжение!» Инзов был не в духе, пушкинской выходки как бы и не заметил, поднялся, ушел.

И в этот же день вечером в кишиневских гостиных и клубах рассказывалась новая легенда, что Пушкин, сняв сапог, ударил кого-то подошвой в лицо. — «Да ударила-то из-за чего?» — «А опять, верно, за картами!» Другие рассказывали уже просто почти о поножовщине. Но как бы там ни было, у Пушкина был досуг и много времени с собой наедине. Алексеев был в командировке, и Инзов на сей раз поставил у дверей караул.

Пушкин просидел под арестом пять дней. В тот же день, как Инзов, найдя какое-то местечко Рутковскому, отправил его в Новоселицу, Пушкин немед-

ленно был освобожден, но сам после этого долго у Ивана Никитича не показывался.

Те разговоры, которые он вел у него за столом, не были просто вспышкой темперамента. Пушкин много всегда размышлял о русской истории после Петра, и теперь ему захотелось, именно на досуге, записать свои мысли. Несколько дней, уже по снятии караула, который его все-таки очень обидел, он почти никуда не выходил.

Второго августа он написал свои заметки по русской истории восемнадцатого века. Он искал характерных черт века минувшего, пытаясь тем самым поближе взглянуть в черты нового века, в который он в детстве вступил, как через порог. И насколько он был буен на словах за рюмкой вина, настолько суждения здесь были продуманы и облечены в строгую форму. О крепостном праве он писал так: «Одно только страшное потрясение могло бы уничтожить в России закоренелое рабство; нынче же политическая наша свобода неразлучна с освобождением крестьян, желание лучшего соединяет все состояния противу общего зла, и твердое, мирное единодушие может скоро поставить нас на ряду с просвещенными народами Европы».

Но русских монархов, «ничтожных наследников северного исполина», он не щадил. «От канцлера до последнего протоколиста все крало и все было продажно. Таким образом, развратная государственная развратила и свое государство». «Екатерина уничтожила пытку, а тайная канцелярия процветала под ее патриархальным правлением; Екатерина любила просвещение, а Новиков, распространивший первые лучи его, перешел из рук Шешковского (домашний палач кроткой Екатерины) в темницу, где и находился до самой ее смерти. Радищев был сослан в Сибирь; Княжнин умер под розгами — и Фон-Визин, которого она боялась, не избегнул бы той же участи, если бы не чрезвычайная его известность». Тут Пушкин думал тоже и о самом себе.

И Липранди опять в отъезде. Пушкина мало кто навещает. Так его очень легко и вовсе забыть. Так легко и самому затеряться. Но неожиданно эта последняя мысль обертывается не грустно, она вызывает даже улыбку: «А что если?..» Проходит еще день или два, и мысль созревает в намерение, а осуществлением Александр никогда не медлит.

— Если кто будет спрашивать, ты говори: «барин ушел гулять за город». А жели кто вздумал бы дознаваться, почему и ночью барина не было, отвечай: «ночевал у приятеля». А спросят: «у кого?» — доложи: «не могу знать!» Как будешь отвечать?

— Не могу знать! — отвечает Никита.

А Пушкин смеется:

— Ну хорошо, запомни хоть это!

Август розово-желтый. Даки синеют. Воздух, хоть прикровенно, но дышит уже чудесной осеннею легкостью. Как будут звонко-легки шаги по одинокой безлюдной дороге! Как хорошо свободой дышать!



Так все и сбылось? Свобода оказалась тут же, под боком, только руку за ней протянуть, только сделать шаг, и еще шаг, и еще шаг...

Эти несколько дней, про которые Пушкин потом остерегался рассказывать, были чудесно полны. Каждый день был налит до краев воздухом, светом, быстрым и легким покоем. Да, да... покой — не в бездействии. Лень и покой — отнюдь не соседи. Покой полон музыки, а разве же музыка — лень?

Пушкин шагал, но движение было похоже скорее на тихий полет: мысли летели быстрее. В одно путешествие множество он вместил путешествий. На этом досуге видения, образы парили в нем, как облака. Да и события, встречи были отчасти такими же созданиями чистой фантазии. Потом говорили — цыганы, роман... Будто бы звали цыганку Земфирой, и одевалась она по-мужски, шаровары цветные, и носила баранью шапку и вышитую молдаванскую рубашу, и трубка в зубах. Был и молодой цыган: Земфира ночью исчезла! Пушкин помчался за нею... Много, впрочем, позже рассказывали, и притом приблизительно с той же степенью достоверности, как и об ударе подшоую.

Но и цыганы действительно были, как была и та ссора. Однако же все было проще и лучше, и, главное, позже вспоминалось путешествие это, как милое приснившееся видение.

Пушкин побед и в таборе, ходил и один. Но у него оставалось немного денег, присланных через Липранди из дому. На одном почтовом дворе, где ночевал, однажды он встретил поручика Таушева.

— Какими судьбами? Куда?

— А вы?

— Я в Тульчин по делам.

— И я с вами!

Так неожиданно Пушкин попал и в Тульчин: квартира командующего армией — фельдмаршала, графа Петра Христиановича Витгенштейна.

После степей, расположенных по берегу Буга, ровных и мирных, холмы Тульчина давали всей местности иной колорит, весьма гармонизирующий с грозною военною силой, здесь расположенной. Отдельные корпуса второй армии были раскинуты на огромном пространстве, но средоточие этой силы, главное командование, штаб — выселись здесь, в этом польско-еврейском местечке, принадле-

жавшем целиком одному магнату, графу Потоцкому, на хорошенькой и веселой дочке которого был женат молодой начальник штаба, генерал Павел Дмитриевич Киселев, любимец императора.

В сущности, в руках Киселева было все управление армией. Сам Витгенштейн царем был не очень любим и проживал почти все время в своем поместье верстах в семидесяти от Тульчина, с увлечением там занимаясь сельским хозяйством. С Киселевым Пушкин познакомился с полгода тому назад, когда тот приезжал в Кишинев и обедал у Инзова.

Тульчин всего небольшое местечко, Кишинев, как никак, город, центр управления целого края, и, однако же, сразу стало ощутимо, какая это была патриархальная провинция: от Киселева так и веяло Петербургом, Зимним дворцом, Невою. Он был очень ловок и обходителен, но не скрывал своего светского превосходства. Тогда он Пушкину не слишком понравился, хотя и был с ним совершенно любезен и даже обронил ему на прощанье ни к чему необязывающую светскую фразу: «Вам побывать бы у нас в Тульчине!»

Здесь, в Тульчине, у себя, он был значительно проще, и ни к кому не снисходил с высоты своего блистательного величия.

Появлению Пушкина он ничуть не удивился.

— Ну вот, наконец-то, побудете вы и у меня, — сказал он с приветливо улыбкой. — А что Иван Никитич?

Пушкин не знал бы, что и ответить на этот столь естественный вопрос, но Киселев сделал его так мимоходом, что ответа и не потребовалось. Тотчас же, без паузы, он окончательно закруглил свое приветствие упоминанием о жене, без чего оно не было бы полным.

— Софья Станиславовна будет рада вас видеть. Один из предков ее был очень крупным польским поэтом.

Пушкин у Киселева был раза два. Здесь все было очень богато, но самая роскошь находила какую-то гармонию, строгость. Не как в Кишиневе, где кичились бояры друг перед другом набором несогласованных между собою предметов роскоши, так что было похоже более на антикварную лавку или на уголок на киевских контрактах, где вещи вопиали о своем достоинстве прежде всего огромной ценой... И это не было только внешним одним бескультурьем, оно, в свою очередь, вопияло о беспощадной убогости хозяев и всего сонма их окружения — восторгавшихся и завидовавших. Здесь же воздух пусть был несколько более гордый, чем бы хотелось, но не было запаха богатой конюшни.

Хозяйка действительно оказалась мила и даже резва, и поминутно нарушала светские условности, внося оживление, смех. Были очень милы и другие польские панны, глаза их живо, как свечки, поблескивали при разговоре, и самые голоса звучали мелодично. Но со всем тем в основном царило мужское начало. Очень ладно и строго прилаженная по отношению к другим, у всякого была своя точная сфера обязанностей, влияния, власти, при чем однако же не было вовсе градации по богатству или несостоятельности, что было очень приятно. Как на пирушке у Полторацких, один походный стакан входил в другой походный стакан: командующий армией (почти как бог Саваоф, за облаками), начальник штаба, адъютанты командующего, адъютанты начальника штаба, прочие генералы и их адъютанты, офицеры штаба различных рангов и несколько штатских чиновников.

Во всякое другое время Пушкин, зашедший в Кишиневе, отдал бы, верно, большую дань вечерам у Киселева с приветливыми и веселыми сестрами Потоцкими, с пением и музыкой, но его манило другое, не Киселев, а Пестель. Молодежь собиралась отдельно, и здесь центром был Павел Иванович. Но свидания эти Пушкина с ним, на людях, не прибавили много к кишиневскому впечатлению. И ему вспомнились строки из послания Владимира Раевского: «Всегда с наружностью холодной / Давал ли друг тебе совет...»

В Тульчине, среди молодежи, он видел всегда и одного генерала, князя Сергея Григорьевича Волконского, тоже еще молодого и весьма привлекательного. Раньше он с ним не встречался, но от Владимира Раевского слышал о нем, как о прекрасной души человеке. Также он знал, что князь в большой дружбе с Раевскими... Граф Олизар успеха не будет иметь, а тот — Волконский — высокий, задумчивый человек с добрыми глазами! Но он старше Марии лет на пятнадцать на двадцать, разве это возможно?

И, однако ж, вчера была минута одна, когда сердце Пушкина как-то заняло. Князь к нему сам подошел, и в первый раз они между собою разговорились. Волконский много расспрашивал и в Владимире Федосеевиче, и Александре все время казалось, что он хочет что-то сказать ему важное, но когда эти слова были совсем уже на языке, он всякий раз замолкал. Пушкин не понимал, в чем было дело. Может быть, что-нибудь хотел он сказать о Раевских, о Марии Николаевне? И он сам спросил о них.

Волконский чуть слышно вздохнул, но видимо, был скорее рад этому простому и такому естественному вопросу. Он рассказал все, что знал; в последнюю поездку его в Киев все были здоровы.

— А дочери Николая Николаевича.. где они теперь? — спросил Пушкин несколько более экспансивно, чем бы хотел.

И вот тут-то он и почувствовал — и так физически ощутимо, как если бы пахнуло в лицо ветерком, — почувствовал волнение, возникшее и у Волконского. Князь отвечал очень коротко:

— Были в Крыму и Одессе. Думаю, что и сейчас их в Киеве нет уже, верно, в деревне.

Пушкин хотел бы спросить и еще: где именно, может быть, в Каменке? Но он ничего не спросил: спрашивать было нельзя, неудобно. Он мог бы сказать князю нечто другое: «Как я вас понимаю!» Но таких вещей и вообще не говорят. А вот думать о них нельзя запретить — даже и самому себе. И это было в душе самое раздумчивое, самое размычивое облако: Мария!

И одновременно представилась крепость, в которой сидит Владимир Раевский. Допросы, тюрьма. В чем его преступление? «Мысль и взор»? А если б бежать? «Мы вольные птицы; пора, брат, пора!» Нет, мы не вольные птицы...

И рядом — мысли о Пестеле. И себя спрашивал, как же определить: что такое Пестель? И определял его так: Пестель — он в Тульчине истинный центр и вокруг него описан действительный круг, но по отношению к этому кругу остальные тварищи его — линии касательные, и круга они, все вокруг него группируясь, не пересекают. А как хотелось бы этот круг пересечь, и, по возможности, ближе к центру!

Однако, как будто пора уже возвращаться к Ивану Никитичу. Надо сегодня покинуть Тульчин. Но что если все-таки.. если они теперь в Каменке? Сегодня уехать.. — куда? Не туда ли?

На улице за углом чьи-то шаги. Улицы пусты. Час ранний.

Возникла фигура: Павел Иванович Пестель!

— Так мне и казалось, что вы уже встали, — произносит он вместо приветствия и подходит к окну.

— Я не ложился, полковник.

— Я к вам, если позволите. С ответным визитом.

— Да, я вчера у вас был..

— Нет, вы были у меня в Кишиневе. Ага, помнит и он тогдашний их разговор! И Павел Иванович улыбается такою для него редкой улыбкой.

Так состоялось и это, последнее в жизни, свидание с Пестелем. Он объяснил, что так рано зашел потому, что в десять часов уезжает по делу на несколько дней из Тульчина (теперь у него много хлопот с Вятским полком, куда он назначен полковником) и ему не хотелось уехать, не повидавшись с Пушкиным, который, как слышно, собирается уже

обратно в Кишинев. Так он объяснил свой ранний приход, но он никак не объяснил его истинной цели.

И, однако же, прямо начал с вопроса: — Вы с князем Сергеем Григорьевичем беседовали вчера?

— Да, вчера в первый раз мы разговорились, он мне очень понравился.

Видимо, Пестель ждал не такого ответа. По лицу его было видно, как что-то он быстро соображал. «Значит Волконский не сделал ему того предложения, о котором было условлено? Впрочем, это было оставлено, в конце-концов, на его волю. И, конечно, первое мое впечатление, что этого не надобно делать, и первое мое решение были верны. Никогда и ни в чем не надо другим уступать. Но князь так многих здесь очаровал! Однако, почему же Пушкин целую ночь не спал?» И решив окончательно выведать истину (быть может Волконский что-нибудь говорил!), Пестель пошел на некоторую неловкость и, внимательно глядя на Пушкина, очень просто спросил:

— Тогда отчего же вы еще не ложились?

Пушкин был изумлен.

— Павел Иванович, я не понимаю вас!

— Простите меня. Я просто неловко выразился. Это ни в какой связи не стоит с тем, о чем мы говорили. Вы, верно, писали всю ночь?

— О, нет! Мы всю ночь проболтали.

— И, однако ж, листок со стихами. Вы разрешите взглянуть?

— Это стихи не мои. Дельвига. Таушер просил переписать. Вот свежая дата.

— Как это странно, — просмотрев листок, сказал Пестель: — «Обмануть воображение / И в былое заглянуть!» Это не ваши стихи. Я отдал бы все, чтобы заглянуть в будущее.

Убедившись окончательно, что Волконский не только не говорил с Пушкиным о вступлении в тайное общество, но и не сделал к тому никакого намека, Пестель сразу сделался с Александром прост, ясен, даже открыт, и их разговор, прерванный полугодом, опять сейчас продолжался. У Пушкина за это время многое отстоялось. Он имел обыкновенное время от времени делать для себя записи по главным вопросам, о которых велись оживленные дебаты в Кишиневе.

Так когда-то, в связи со спорами о возможности вечного мира, он для себя сделал выписку из Руссо. Но и тогда он столько же думал об этом вопросе, как и о Пестеле, именно, когда у себя записал: «Руссо, рассуждающий не так уж плохо для верующего протестанта». — «В протестантизме есть жесткость суждений, острая логика, — так думал он про себя, — и не даром, может быть, и Руссо, и Пестель в детстве своим испытали

влияние именно протестантизма». Теперь ему захотелось проверить, как Пестель отнесется к самой мысли Руссо; и он спросил, полагаясь на свою память:

— Вы помните, кто это сказал: «То, что полезно для народа, возможно ввести в жизнь только силой, так как частные интересы почти всегда этому противоречат?»

— Это сказал Жан Жак Руссо. И там же он говорит несколько далее: «...это, может быть достигнуто лишь средствами жестокими и ужасными для человечества». А я добавляю к сему, что средства неважны, когда велика цель.

— Павел Иванович, а ведь и в мирное время вы как бы ведете войну?

— К сожалению, не веду, но готовиться к ней — это долг каждого, и не только военного, но и гражданина. Однако ж, здесь главное, — сплоченность и дисциплина. Отдельные вылазки ни к чему не ведут.

— Вы точно кого-то имеете в виду?

— Как всегда. — И помолчав, добавил: — Да хотя бы Орлова.

Пушкин живо ответил:

— С этим я никогда не соглашусь! Орлов отменил у себя телесные наказания для солдат, позорящие их человеческую честь. И он отстаивает их открыто и благородно.

— Благородства генерала Орлова отрицать я не смею, но не о том наша беседа. Бывает, что и себя надо во благо сберечь. Так и дуэли суть действия благородные, да какой же в них разум?

Александр вспыхнул и покраснел. Попробовал бы ему кто другой такое сказать! А вот этот сказал, и — ничего. «Какой же в них разум?» — Разума не было. Но ведь есть же нечто другое!

— Павел Иванович, — ответил он медленно и без всякого задора. — Вы же сами знаете хорошо, что бывают положения, когда наша честь...

— Я все это знаю, — быстро и, напротив, нетерпеливо отозвался Пестель, — но... (Он мог бы спросить: «Пушкин, а скажите по-совести, в ваших дуэлях было ли то, о чем вы говорите?» — и Пушкину, по-совести, пришлось бы ответить: «Да ведь я еще молод, а отвага есть истинная честь молодости!» Но этого воображаемого диалога, конечно, не могло быть и не было.) — Но, — продолжал Пестель, — это есть наше несчастие. Так на сие и смотреть надлежит. И все же — для цели высокой, которая есть цель человеческой жизни, всей жизни, удовлетворение чести, коли понадобится, надлежит отдалить до времени благоприятного.

«Для этого нужно, однако же, иметь перед собою такое дело всей жизни», — подумал про себя Пушкин, но вслух этого не произнес.

Разговор опять подходил к какой-то острой грани, но развития он не получил. Немного оба они помолчали. Победленного в этой их стычке, в сущности, не было, но Александр физически ощутил на себе давление этого ума, похожего на огромную глыбу, сложенную из кристаллов. Кажется, ежели что в нем и теплое, так это только кольцо на руке, и Пушкину смертельно хотелось спросить: «Это кольцо вашей матушки? Правду ли я отгадал?»

У Пестеля тем временем мысль шла своим путем.

— В Кишиневе после отъезда моего, несомненно, были суждения и разговоры, что докладом своим о гетеристах я как бы себя оберегал. Так ли?

— Так.

— Это, конечно, и правда, — согласился он. — Но не все дело в том.

Пушкин вопросительно и с большим интересом на него поглядел.

— Скажите, — неожиданно спросил Павел Иванович, — вы за кого были: за Владимирско или за Ипсиланти в возникших меж ними разногласиях?

— За Ипсиланти, — не колеблясь, ответил Александр, — и не взирая даже на то, что за Владимирско шел народ. Но, видите ли, мне казалось, что его вмешательство на первых же порах помешает России выступить на стороне греков: царь Александр так боится именно этих народных движений!

У Пестеля сверкнули глаза.

— Александр Сергеевич, — сказал он чуть торжественно, — у вас государственный ум, и вы поймете меня. (Это было сказано, конечно, человеком, знающим, что такое государственный ум, и более того, способным определять его в других и одаривать этим «званием», но Пушкин на этой, едва лишь скользнувшей мысли не задержался, как-то тем самым признав за Пестелем право так разговаривать). — Вы поймете меня. Конечно, мы с вами хотим, в юнцех-концах, одного и того же, но вот, вы полагали, для этого надо желать, чтобы наша империя объявила Турции войну, а я был иного мнения, я этого не желал. В наших путях к цели единой мы расходились, но не разошлись в характере мышления. Вы готовы были отринуть все, что мешало вашим путям, я отвергал то, что могло бы стать на моем пути. Вы отстраняли Владимирско, сочувствуя ему. Таково же и мое отношение к Ипсиланти.

(Окончание следует)

ЗЕЛЕНЬЙ САД

Повесть*

АЛЕКСАНДР ДРОЗДОВ

★

XV

В лесу сначала охватывала ее слабость, приступ печали, источник которой ей был непонятен, и она начинала искать причины этой печали, потому что уже знала, что всё на свете должно быть объяснимо — иначе погибнешь или станешь жить в потемках, как мышь.

Она говорила себе: у тебя убит отец, и это — страшное горе. Да, это было страшное горе, но она уже на всю жизнь приоровилась его нести, и теперешняя печаль была не от этого. Война — каждый день тысячи убитых и дико искалеченных людей, тысячи осиротевших ребятшек, звери-фашисты на родной земле, за которую умер отец. Да, война, но горе войны уже давно вошло в нее, она сама работала и жила для войны, чтобы поскорей победить зверей-фашистов. И сегодняшняя печаль была не от этого.

Тогда она признавалась себе, что печаль ее оттого, что и сегодня не было письма от Алексея Ивановича, и вчера не было — целую неделю не было письма из Москвы.

— О ком ты думаешь? — спрашивала она себя, лежа на спине и глядя, как снуют над ней мошки-толкачики в солнечном луче.

И отвечала себе:

- Об Алексее Ивановиче.
- А какие у него глаза?
- А синие.
- А голос какой?
- А хороший.
- А он тебя помнит?
- А ни за что на свете.
- А что?
- А забыл и думать.
- А вот нет!
- А вот да! Он и глядеть на тебя не

хочет, на плохую, на некрасивую, на длинноногую, на коротконосую, на безголосую, на сердитую, на лентяйку...

Ползла на животе к роднику, поскрипывая в песке локтями, гляделась в ясное зеркало воды.

Потом повертывалась на спину и, заведя руки за шею, смотрела на небо сквозь иголки еловой лапы. И тогда всё мешалось в душе Кати: Алексей Иванович становился похожим на папу, и мысли ее о папе — это были мысли об Алексее Ивановиче, и Алексей Иванович становился ей дорог, как папа, а папа (или память о нем) был дорог, как Алексей Иванович.

Она не могла себе этого объяснить, но внезапное тепло согревало ее сердце. Она еще не знала того, что живое сердце не может жить одним страданием, как человек не может жить в безводной пустыне. Как человеку нужна вода, чтобы выносить зной пустыни, так живому сердцу нужно хоть малое дуновение счастья, чтобы выносить страдание.

Катя встала на коленки, пожевала лист голубицы, запела с печальным чувством:

Скажите мне, не звуки ль поцелуя
Дают свою гармонию волне?
И соловей, пленительно тоскуя,
О чем поет во мгле и тишине?
Скажите мне!

Этот старый романс певал отец, облокотившись о рояль и близко поднеся близорукие глаза к нотам, лежащим на рояльной подставке, а Лиза аккомпанировала ему под сурдинку. Он пел тоже тихо, чистым, но бедным голосом, зато очень верно — «без заусениц», как говорила Лиза.

* Окончание. Начало см. «Новый мир», № 7 — 8.

Скажите мне, зачем так сердце бьется
И чудное мне видится во сне:
То грусть по мне прохладная прольется,
То я горю в пленительном огне?
Скажите мне!

Попела. Помолчала. А листок-то клейкий, вызеленил пальцы... Еще помолчала. Раньше Лиза спрашивала ее в таких случаях: «свою душеньку слушаешь?»

Ее вдруг охватило отчаяние. Пришли беспощадные мысли о себе самой. Это теперь часто случилось с ней. Если бы она могла быть такой смелой, как в своих мечтах, непримиримой, не жалеть себя, пойти к партизанам в леса или уж так работать в тылу, чтобы жизнь сразу стала и лучше, и смелей.

Ведь если бы она была такой... тогда Алексей Иванович порадовался бы на нее. Он написал бы ей письмо, он приехал бы ради нее, он пожал бы ей руку.

Он сказал бы ей, как говорил папа в минуты, когда был доволен:

— Отличное дело, Катя. Отличное. Ты отлично живешь...

Катя вскочила на ноги и стала шагать вдоль ручья, заложив руки за спину.

Еще не поздно! Она крепко наступала на пятки, оставляя ямки в песке. Прежде всего, нужно проявить себя с лучшей стороны и вступить в комсомол. В училище комсомольцев мало. Но есть хорошие ребята, вроде Вани Шершнева, Клаши Машиной или Лютова. Почему она не с ними? Она с ними. Но почему она не совсем с ними? То она живет интересами коллестива, а то вдруг обидится на что-нибудь и начинает жить интересами семейного мира. Так было, когда директор докладывал о социалистическом соревновании: Клашу упомянул, а Катю забыл упомянуть. Еще одна ямка в песке... Сколько ямок? Раз, два, три, четыре...

И надо поменьше думать о ненужных вещах, а думать только о нужных. Например, о чем ты думала сегодня, Катя? Ты пятнадцать минут смотрела на то, как летит в воздухе тополевыи пух и думала: «Это тополя пылят, это тополя забьются, чтобы на земле не прекратился, не угас их род. Отпылят тополя, начнут пылить клен, береза, ясень, вяз. Но это уже не так будет заметно». Пятнадцать минут стояла на крыльце и думала про тополя и вязы.

Надо думать только о важном. Затеяли дискуссии о трусости и храбрости, а вышел один позор перед Садовым и Алексеем Ивановичем. Нужно решить вопрос с Лизой, устроить Лизу на работу, чтобы она встала на ноги. И найти настоящую подружку среди девочек, которая поверила бы мне до конца—или еще лучше, среди мальчиков. Вот Леонид. Но он все время в рейсах. Кроме того, он... Ну,

тогда девочку, чтобы с ней быть во всем вместе. Ты, например, что думаешь? А ты, например, что?

— Решено, Катя? — спросила она себя, нахмуриив брови.

— Решено!

Сколько ямок в песке? Пять, шесть семь, восемь...

А если бы спросить ее со стороны что решено — она не ответила бы.

XVI

Но она обрадовалась, когда, возвращаясь из леса, встретила на опушке Выручалкина, или, как он требовал себя называть, — Василий Васильевича. Этот взрослый мальчик, говорящий нечистым голосом и обидно относящийся к товарищам и товаркам, жил какой-то взвинченной, развязной жизнью. Ничего дурного он не делал, но показывал, что рабочая жизнь ему не по плечу, а по плечу ему жизнь необыкновенная и опасная.

Взнуздав училищного коня, он вел его в лес.

— Пасти ведешь? — спросила Катя, немного боясь Выручалкина, его всегда неожиданных поступков и зеленых глаз.

— А ты что за штука, что спрашиваешь? — ответил Выручалкин сиплым голосом, придержал понурого коня и выдернул попавшую под недоуздок ветку.

— Ты же знаешь, какая я штука, — сказала Катя, по-женски робея перед его авторитетной мужской силой. — Мы с тобой товарищи.

— Много вас таких товарищей-то, фашистов испугались, дезертиры.

— Мы не дезертиры, — сказала Катя, мы организовано эвакуированные.

— Все единая статья.

— Разная статья, ты не понимаешь.

— Я-то понимаю. Да разговаривать много некогда. Коню некогда, ему пастись пора.

— Ну, веди, — сказала Катя.

— А ты чего здесь командуешь? — сказал Выручалкин, бросил повод и демонстративно сел в траву, глядя на Катю из-под бровей своими зелеными, как древесная тля, глазами.

Лошадь понюхала его плечо.

— Лошадь у тебя не спутана, — сказала Катя, чтобы что-нибудь сказать и не стоять перед ним, как ненужный человек.

— Кто ж путаную лошадь водит? Да и в лесу путать не буду.

— Почему?

— Ее спугаешь — волк задерет или медведь. Ты думаешь, в лесу медведей нет? Есть!

— А как медведь лошадь дерет? — спросила Катя, хотя ей вовсе это было не интересно. И покраснела, поймав себя на том, что подделывается под васькин разговор.

— А так и дерет! Гоняет, гоняет, загонит в самую гущу, навалится и раздерет ей лопатки кось-на-кось. Всего, разумеется, сразу не съест. Какую долю съест, а какую папоротником заложит. Впрок! — сказал Выручалкин, и далеко плонул.

— Вот какой жестокий зверь! — проговорила Катя не совсем искренно, боясь, как бы Выручалкин не ушел, и тогда получится, будто она боится его.

— Абсолютный зверь, — сказал Выручалкин.

— Ты что ж лошадь не ведешь? — спросила Катя дрожащим голосом.

— Успеет лошадь.

— Ей на водопой пора, — уже совсем неискренно, с лукавством маленькой женщины сказала Катя.

— Подождет. Небось, не благородных кровей, — пренебрежительно сказал Выручалкин, и вдруг схватил Катю за лодыжку.

Она вскрикнула и упала на траву.

Потом она засмеялась и села в траве рядом с Выручалкиным. Он закинул назад голову, раскрыл рот. Никакого звука не выходило из его горла, и только по трясущимся плечам можно было угадать, что он смеется.

Немного позже они сидели, касаясь друг друга плечами и чувствуя взаимную приязнь, неизвестно откуда взявшуюся, и в душе еще не веря ей. Конь ходил по лужку, распушонному одуванчиками. Атласная кожа коня вздрагивала, отгоняя слепней, а на печальные глаза его, на лиловые морщинистые веки тучами налетали мошки, и конь плакал крупными покорными слезами.

Он был невозвратно стар.

В траве играли неумолчные насекомые скрипачи: вон на лозу дикой малины сели три стрекозы: синяя и две розовые, с двойными стеклянными крыльями, с длинными тельцами.

Выручалкин изловчился, горстью снял стрекозу с лозы, потом разжал пальцы и дунул. Стал смотреть, что с ней будет.

А что с ней будет? Синее тельце ее, сверкнув в воздухе, опустилось на берегу ручья, у его стремительно несущихся, холодных струй.

Они прислушивались к приязни, которая росла у них в душе, и притворялись, что не верят ей, потому что не верили друг другу.

Выручалкин сказал:

— Кличку мою знаешь?

— Выручалкин.

— Не Выручалкин, а Василий Васильевич.

— Ну, пусть будет Василий Васильевич.

— А ты, небось, Роза?

— Я не Роза. Я Катя.

— Так и говори: Катерина. Или пусть

будет Катюша. Эка, наша Катерина, намалевана картина!

— Не говори со мной так, — опять попросила Катя.

Выручалкин подумал, помолчал.

Потом сказал:

— А как с вами говорить? Уж больно легонькие на жизнь. Я таких девчонок не люблю, которые на всем готовом живут. Ты от легкого отца родилась, а я от трудного. У тебя отец, наверно, ласковый был, а у меня, может, пьяница. Так чего ж ты на меня глаза кощишь? Ты здесь причем?

— Я здесь не причем, — строго сказала Катя, — а на тебя глаза не кошу.

— Рассказывай! Будто не вижу я.

— Я с тобой, как с товарищем, говорю. Теперь ты член нашей семьи.

— Много мне сделала твоя семья! — У меня своя голова на плечах, — с задором сказал Василий Васильевич и подергал себя за рыжий вихор. — Я с изгетства себе цену знаю: мне либо Гастеллой быть, никак не меньше, либо... Перед самой войной я за хулиганство засыпался. Приходит война, а я добиваюсь воевода и говорю: «Посылай меня прямо на фронт». А он что мне сказал, этот военком?

Выручалкин оперся ладонями о землю, глаза у него потемнели.

— Он мне на этот крик души говорит: «Сначала заслужи этой чести». Вон как! А я от этого, может, как в огне горю. Может, я как в болоте тону от этого. Здесь Ловягин взялся, повез в ремесленное. На службу. Я еще погляжу, поверюся среди вас — я еще, может, из училища сбегу.

Острые зрачки Выручалкина глядели Кате прямо в переносицу. Ее кинуло в жар. У нее вдруг ослабели коленки, и она испугалась, что Выручалкин заметит ее испуг.

Она сказала еле слышным голосом:

— Ты не будешь этого делать, Василий Васильевич. Не надо этого делать. Ты просто немного распущенный, а это нужно победить. Ведь у тебя есть характер. Ты увидишь, к тебе ребята хорошо относятся.

— Знаю я, как хорошо!

— Ты не говори так.

— У меня своя дорога. Я в открытую живу, а вы — притворщики. Всё для фронта, а фриц бомбу бросил — так и пыркнули куда подальше, народу в хлебники. Я твою мать видел. Силу-то Саввича чем пританила?

— Это ты врешь! — крикнула Катя, побледнев от гнева.

— И Башлыклов твой птица тоже...

— Врешь! Врешь!

— А моему коню, промежду дела, на водопой пора, — сказал Выручалкин с ухмылкой и встал на ноги.

— Врешь! — повторила Катя, не слыша его последних слов.

В озарении гнева она увидела белый нос Выручалкина, его кирпично-красные щеки и лоб, и жесткие волосы медного цвета, войлоком сидевшие на остром черепе. Он показался ей ненавистным.

— Врешь! — взвизгнула Катя, прыгнула и схватила его за уши.

Они свалились в траву. Он запрокинул голову, но она не выпускала из пальцев его жестких ушей. Высвободив руку, он положил пятерню ей на лицо, но она укусила его палец. Он завыл и вдруг сильно сбросил ее с себя. Он придавил животом ее голову и стал совать кулаками куда попало, мыча и отплевываясь. Ей стало больно, и она все думала, что сейчас изловчится и расцарапает ему лицо или ударит как-нибудь смертельно.

Но он был сильный и все молотил ее кулаками.

Катя зажмурилась от унижения, задохнулась, перекаталась на живот и на минуту потеряла память. Выручалкин в испуге вскочил на ноги, рукавом рубахи отер пот со лба. Она услышала свой крик и поняла, что Выручалкин испугался его.

Когда она поднялась с земли, Выручалкин и конь были далеко, и она слышала, как конь пофыркивал, а Выручалкин с отчаянной удаляю пел песню.

Катя прислонилась к сосне. Через платье она почувствовала холодок клейкой смолы. Все тело Кати было, как сломанное, она плакала неутешно, она повторяла: «Как он посмел, как он посмел! Как он посмел окорбить Лизу!» И она знала, что нет на свете человека, который смог бы сейчас ее утешить или сделать так, чтобы того, что случилось, не было.

Обняв сосну, она сказала себе, что теперь Лиза или Алексей Иванович... Но теперь уже никто не поможет. Тогда она решила, что подстережет Выручалкина в голым поле и ударит его камнем.

Эта мысль охладилась ее отчаянье. Она отодрала свое просмолившееся платье от сосны и, твердо сжав губы, пошла домой. Но как шла поем, и как ветер, усилившийся после полудня, овеивал ее кожу и трепал волосы — не чувствовала. Над Овражной улицей ветер носил облака топольного цвета. Пух лежал под заборами, вьюжкой-позёмкой вился по мостовой, залетал в сады, во дворы, в открытые окна домов. Было самое начало июля. Мели над землею летние тополевы метелицы.

— Что с тобой, скажи, скажи мне Катя! — приговаривала Лиза, сдирая с дочери перепачканное в траве и клею платье, и трогала, и целовала, и дула на синяки, покрывающие ее плечи.

Катя молча сняла башмаки. Вздрагивая от слез, легла на кровать. Сомкнула веки. Сейчас же в глазах ее полетели, закружились мягкие пушинки, замела метелица.

Лиза взяла со стола конверт — в полдень принес письмомошец — с адресом на имя Кати, с обозначением в нижнем углу обратного адреса — от Алексея Ивановича Башлыкова. Конверт был сумрачного вида, темно-серый. Почерк ясный. Лиза вложила конверт в руку Кати. Ей казалось, что она дает ей чудотворное лекарство. Веки Кати дрогнули, но она не открыла глаз. Пальцы ее с трепетом коснулись конверта, обежали его углы. Лизе показалось, что Катя читает пальцами.

Лиза опустила на колени и лбом прижалась к руке дочери.

Ветер вздувал кружевную занавеску на окне, хлопал ставенкой. Пушинки носились по комнате, путались в волосах. Одна села Кате прямо на губы.

— Лиза, — проговорила Катя странно спокойным голосом, не открывая глаз, — тополя цветут. Ты заметила? Сегодня прямо метелица. Это к счастью?

— К счастью, к счастью, — сказала Лиза, как бы очнувшись ото сна.

— Это к счастью, — повторила Катя и открыла омытые слезами, блестящие глаза. — Со мной такое смешное случилось, а я реву. Я с одним мальчишкой подралась. Но мы, конечно, помирились. Правда, смешно?

Она сунула конверт за рубашку, спрятала на груди, поверх рубашки положила ладонь.

Дыхание приподнимало ее руку.

XVII

В газетах много писали о Нине Опаловой, отважном снайпере на Южном фронте. До войны она два лета кряду приезжала в поселок, в дом Дарьи Дмитриевны, вместе с мужем своим Петром. Помнили ее гладко зачесанные вороные волосы, высокую и тонкую шею, быстрые движения и неспешные слова: она всегда словно прислушивалась к чему-то, ждала чего-то. Не говорила о том, что сделала или делает, а все о том, что будет делать. «Ты радуйся тому, что сейчас живешь, — говорила ей Дарья Дмитриевна, — что ты всё: буду, да буду! Словно у тебя не одна, а десять жизней впереди». Петр шутил: «Ты ее не трогай, мама. Она во мраке будущего, как сова ночью, видит».

Петр погиб под Москвою, а Нина оказалась в Севастополе. Как это случилось, никто не знал. За все время пришла от нее только одна открытка: «Только тогда, мама, отомщу за Петра, когда на моем счету будет их сто».

В день, когда в газетах появилось сообщение о награждении Нины Опаловой боевым орденом, Клаша Машина заболела — у нее распухла нога. Она не знала, что в училище было собрание групповых старшин и началось социалистическое соревнование имени Нины Опаловой.

Стояли душные дни: на Овражной высохли лужи, гуси ходили на реку, кошки искали холодок, собаки, свесив языки, дышали, как паровые машины. Дарья Дмитриевна вынесла в малинник матрац, и Клаша лежала на нем, вытянув обвязанную ногу. Нога мучила ее. Чтобы не было так больно, она быстро-быстро жевала белую щепочку и читала в газете очерк про Нину. Очерк ей очень нравился: он был красивый, будто отпечатан разноцветными буквами, и даже то было ничего, что в нем описывали золото нининых волос, а они у нее были черные.

Когда и щепочка перестала помогать, Клаша перевернулась на спину, закрыла глаза и стала думать, будто лежит она на поле брани, как Нина, и ее ранили в ногу. А санитары не идут, потому что кругом свистят пули. «Нипочем не буду стонать, — подумала она, — а буду терпеть». И когда во дворе послышались голоса Кати и ученика из ее группы Сашихудожника, она притворилась, что не узнаёт их и сказала себе: «Нипочем не стокрю глаз, это идут санитары».

— Кажется, спит, — полушопотом сказал один санитар голосом Кати.

— Да не спала ровно бы, — ответил другой санитар голосом Дарьи Дмитриевны.

Третий санитар голосом Сашихудожника проговорил:

— Тогда мы подождем в малиннике. Плохо ей?

Клаша открыла глаза и сказала без запятых, одним духом:

— Какие глупости этот нарыв на ноге стоит обращать внимание здравствуйте садитесь пожалуйста что у нас в училище?

Катя осторожно села на матрасик возле Клаши, погладила ее здоровую коленку.

— Мы о делах с тобой не будем говорить, ты выздоравливай. Мы просто навесить пришли. Ты, конечно, все знаешь про Нину Опалову. Саша срисовал ее с газеты. Мы хотим спросить, похожа ли? Покажи, Саша.

Саша-художник, немного бледный от жары или от волнения, медленно покачал головой, поколебался, потом вздохнул и быстро развернул свиток бумаги. Открылся большшй, яркими красками выписанный портрет молодой женщины с узким лбом и темными, матовыми глазами без всякой искорки. Дарья Дмитриевна молча наклонилась, стала глядеть.

— Она в самый раз, как в газете, — покашляв, сказал Саша, — но вот в красках я не уверен. Надо знать, бледная она, или смуглая, или румяная. Если бледная, то нужно голубой тронуть, если смуглая, то коричневой. Само собой разумеется.

— Ой, не похожа! — сказала Клаша. Поморщившись, оперлась на руки. — Мама, да? Не похожа. Хоть всё похоже: и нос, и губы, и подбородок, а не похожа.

Дарья Дмитриевна откинула спину, выпрямилась. Вытерла глаза. Постояла молча, сказала:

— Похожими-то их никто сделать не может. Люди один раз рождаются, один раз живут. Двойников им и на бумаге нету. В газете она словно бы похожа, а всё не та. А у тебя, Саша, и того меньше.

— Наверно, оттого не похожа, — проговорила Катя, — что у нее неживые глаза. Я говорила Саше. Разве могут быть неживые глаза у такого человека? Они у нее, наверно, как огонь.

Саша прищурился:

— Да ведь какой огонь? Если большой огонь сделать, то, может, все испортишь. Будет преувеличение. А то в глазах — я наблюдал — бывает холодный блеск, как на воде в пасмурную погоду. А то еще бывает в них лунный свет, совсем серебряный. Это самое трудное так краски смешать, чтобы свет был. Я ведь Нину Опалову в глаза никогда не видел.

Дарья Дмитриевна села на матрасик рядом с Катей, положила на колени свои большие, многотрудные руки. Катя плечом почувствовала силу ее по-мужски широкого плеча.

Дарья Дмитриевна сказала глуховато:

— Она молчаливая была, задумчивая. Неразменная. Скупая на душу. Это бы у Петра спросить, почему душа ее стоит. Да теперь не спросишь. Ух, не думала я, что Нина, пулями-то своими, пособит мне горе нести. Нет, не думала! А какой блеск был в глазах, не помню. Что скупая была на душу, помню, а какой блеск — не помню, милый, нет.

— Евфросинью надо спросить, — вспомнила Клаша, — Нина дружила с ней. Пойди, Саша, покличь Евфросинью, я слышала, она дома.

Саша растелил портрет на земле, положил на края камешки, чтобы лист не свертывался, и пошел через малинник к забору. Вернулся он скоро — не с Евфросиньей, а с Охачовым. Еще в малиннике Яков громко кричал: «А ну, покажи, чего не достает? Я с Ниной и Петром рыбку лавливал, но одну ночь они меня за мою жизнь щемили-уговаривали!»

Выйдя из малинника, Яков снял кепку, дернул головой, кланяясь, сел на корточки перед портретом, закрыл левый глаз и стал смотреть одним правым. Катя встала на коленки. Охачов казался ей

таинственным человеком. Глядя на портрет, он шумно дышал. Потом схватил с живота Кляшу газету, стал разглядывать портрет в газете.

— Давай карандаш, — сказал он вдруг.

— Зачем? — неуверенно спросил Саша.

— Давай, намечу. После переделаешь.

Не оглядываясь, он протянул руку, пошевелил пальцами. Саша всунул ему в пальцы карандаш. Яков сделал рукой резкое движение, карандаш скользнул в его пальцах, перевернулся и затих, выставив жало отточенного графита.

— Зачем ты ей губы поднял? Может, она эти губы до крови кусала, сбивая фашистов с русской земли. Как ты глядел на портрет? Приглядные губы увидел, а беспощадности — нет. Война — это не праздник. Праздник потом будет, а война — это, брат ты мой, то самое, от чего душа скалится и седой волос растет. Вон как губы у нее намечены, не видишь?

Он резко тронул карандашом губы на портрете, и они ожили, лицо постrojело и незнакомо изменилось.

— А глаза зачем круглые? Откуда у ней взор идет? Взор у тебя с поверхности, как воробей с крыши — фрр, и полетел. А он с самого дна у ней идет. Ставь здесь точку. И здесь. Видишь?

Катя зажмурилась. Это показалось ей чудом. Охатов тронул карандашом верх сашиных красок, и краски перестали быть подобием лица, они стали лицом живого человека.

Не сдержавшись, она схватила Охатова за левую руку.

— Кто вас учил? Товарищ Охатов...

— Ну, кто учил, — лениво сказала Охатов, засунул карандаш в кармашек сашиной куртки. — Характер моей службы учил. Сидишь на посту, думаешь: «Дай, — думаешь, — нарисую реку, или собаку, или что». Ну, и рисуешь.

— И никто не знает?

— Да от кого знать-то? Собака моя, она только брешет, а мне зачем говорить? Мне это не обязательно.

Он встал и, не говоря больше ни слова, снял кепку, дернул головой и пошел через малинник, разводя ломкие ветви. Саша тут же стал собираться, говоря, что переделает всё, как показал Охатов. Руки его дрожали, когда он сворачивал лист. Он тоже переживал чудо, явившееся его глазам. Катя вышла вместе с ним. Они простились у водонапорной колонки. Катя шла, как сонная, покачиваясь, опираясь рукой о забор. Охатов, будто живую, показал ей Нину Опалову — молоденькую, которую она никогда не видела, а вообразить не умела. И всю ночь она думала о Нине Опаловой, и ей казалось, что завтра Нина Опалова будет стоять на работе за ее спиной.

Наутро получилось письмо Алексея Ивановича. «Когда мы стояли на набе-

режной, — писал Башлыков, — я вспомнил, что однажды, в низовьях Волги, встречался с твоим отцом. Больше того, позже от очевидцев я узнал обстоятельства его смерти. Но я не сказал тебе об этом на набережной, подумав, что лучше скажу позже, когда твоя боль по отце утихнет. Конечно, я поступил неправильно. Тебе будет легче, когда ты услышишь о том, как умер твой отец, потому что он умер, как русский воин в битве».

Он умер под танками врага. И Катя носила в себе образы всех троих: Нины Опаловой, Алексея Ивановича и отца. Ей казалось, что в ней еще никогда не было такого душевного богатства. Думая об отце, она припоминала теперь его слова, его решения на крутых поворотах их семейной жизни. Память воскрешала маленькие события, каким раньше она не придавала никакого значения, и это было похоже на открытия, на неожиданные находки, на посмертные подарки отца.

Выходило так, что отец был отличный человек, и он умел, как написал Башлыков, находить отличное в жизни. А она — умела ли? Она обдумала беспристрастно и решила, что если не умеет сейчас, то обязательно научится этому.

Лиза, та во всем умеет видеть только плохое. Даже не плохое, а печальное. Поэтому она страдала, ей от себя нет толку, и для других от нее нет толку.

Взять Лизу за руку, сказать: «пойдем» и повести ее в училище. Вот классы, вот цехи, вот красный уголок, вот наша умывалка, а вот общежитие, где живут приплате ребята. Что она скажет, что увидит?

«Какая же у вас работа комсомола, — спросит Лиза, — когда у вас Ваня Шершнева почти все делает за всех: узнает, что детали дают грешинки, — бежит в цех смотреть, хорошо ли насос подает эмульсию, узнает, что Выручалкин ругался в строю, бежит за Клашей Машинной, а Клаше Машинной некогда, она с новичками, и он за нее пишет ее выступление на собрании. То пишет, то бежит, то сердится, то посылает бумажки в районный центр, а комсомольцы привыкли к тому, что он все за всех один делает». «Какой ужас, — скажет Лиза, — ученик Лютов два раза не приходил ночевать домой, а потом оказалось, что играл в карты у товарной пристани ипил водку». «А почему в общежитии клопы? — спросит Лиза. — А почему Апкин так читает доклады, что ребята всё знают заранее: вот он повысил голос, значит, сейчас будет пять раз: «теперь подытожим», а потом «крикнем ура, ребята», а потом конец?»

«Разве я все это выдумала? — спросит Лиза. — Разве ничего этого нет?» Но если видеть только так, как видишь ты, Лиза, то встает вопрос: почему же

училище выполнило государственный заказ раньше срока, а не позже срока? Почему, если что плохо в училище, сейчас же собираются комсомольцы, а если комсомол плохой, то почему ребята все-таки начинают работать дружнее? Знают, Лиза, везде, везде, — и в цехах, и в классах, и в общежитии, и в комсомоле — есть отличное, и его больше, чем плохого, и оно тверже, чем плохое, и стаичнее живет и ветвится, а плохое горбится и умирает. Как же ты не видишь, Лиза? Почему ты не видишь? Все равно тебе придется увидеть, и как тебе будет непонятно, как тебе будет стыдно, как тебе будет жалко себя потом, когда придет победа народа?

XVIII

Август начался дождями. На раскаленную землю и пожухлую траву падали косые полосы воды, перемешанной с градом. Жизнерадостные льдинки плясали по кровлям, сверкающими линиями обозначая в воздухе свои прыжки. Звенели стекла в окнах. Как мудрец, продумавший все капризы и фокусы мироздания, глядел из своей будки Штурман на суетную панику домашней птицы. Только ноздри его играли, втягивая посвежевший воздух.

Дожди вскоре отшумели, в природе наступил штиль. А на фронте не стихали бои. Уже не за горами была зима 1942 года, разгром армии фон Паулюса, беспримерный в истории войн.

Газеты в поселок привозил шустрый катерок. Его энергичный гудочек был слышен повсюду, где трудились люди: в поселковом совете и в судо-ремонтных мастерских, в диспетчерских и в ремесленном, на складах и в землянке Охакова. Везде люди подымали головы, говоря: «газеты пришли». Пусть река катит мирные воды свои: она не мирная, она питает фронт. Фронт и здесь, как он повсюду. Поселок уже знал своих мертвых: пали сыны Дарьи Дмитриевны, многие семьи речников помнят сыновей своих. Нина Опалова, выйдя из Севастополя, бьет немцев у Элисты — она тоже своя.

Весть о ее новом снайперском счете совпала в училище с трудовой победой ребят. Вслед за боевым заказом государства, выполненным раньше срока, поступил новый заказ, и в училище шел спор о том, какие поставить встречные сроки: сгоряча ребята предложили спать в очередь, через сутки. Здесь же случилось новое событие: наркомат вооружения распорядился часть новых пулеметов, над деталями которых так доблестно трудились ребята, доставить в поселок, чтобы ребята в торжественной обстановке смог-

ли присутствовать при вооружении пархода «Александр Суворов».

Незадолго до этого события группа мастера Клаши Машиной в соревновании имени Нины Опаловой вышла на первое место, группа двухсотницы Кати — на второе, а группа Лютова оказалась на очень дальнем месте. Вышло так, что неудачи Лютова pokrыли и вытащили на своих плечах Клаша Машина и Катя, и — больше того — если бы группа Лютова не осрамилась, то училище смогло бы рапортовать о своем еще не слыханном успехе. А неудача у Лютова произошла из-за Выручалкина, который не то, чтобы ленится работать, а никого не подпускал к своему станку, когда у него бывали неполадки, скрывал их, стараясь справиться с ними своими силами. Но неполадки обнаруживались тотчас же, когда на смене он сдавал свое рабочее место. Что же получилось? Грехи все равно вылезали наружу, а времени — не воротить.

Лютов обозлился, сказал Выручалкину: «Пойдем-ка в огород, я тебе что-нибудь шепну». Выручалкин пошел, и там, среди грядок, тишком да ладком Лютов дал Выручалкину в ухо.

Выручалкин очень удивился. Лютов был паренек лядащий, хилого сложения, с узкими и слабыми коленками. Ударил он метко, изо всех сил, а только поцарапал мочку уха. Выручалкину стало скучно, он взял лицо Лютова в ладонь, помял его пальцами, потом вытер руку о штаны.

Лютов вырвался и пошел прочь, ступая по грядкам, как по огню. Эта вялая драка и скука в глазах Выручалкина пришибли его. Выйдя с огорода, он пошел не домой, а к товарной пристани искать дружок. Сами ноги понесли.

В этот день Катя в первый раз после лесной встречи столкнулась с Выручалкиным нос к носу. Кто бы мог подумать — воспоминаниями об этой встрече она совсем не мучилась! Так бывает: читаешь дрянную книжонку, и от нее в душе одна слякоть. А после прочтешь хорошую книгу, и сердце ее восходит над твоим бытием, как сноп света; что может дрянная книжонка против такого света? как уцелеть ее следу, как не пропасть, как удержаться в ожившей душе?

От всей истории в лесу осталось только чувство нечестности с Выручалкиным. Зинка из его компании сказала Кате, что Выручалкин только и ждет получки, чтобы бежать из училища, и никто не знает — почему. Катя подумала: «пусть бежит». Нечестно было и ничего не рассказать коллективу о том, как он оскорбил в лесу Лизу и Башлыкова. Катя сказала себе: «Ничего не скажу, очень много чести».

Когда с девочками она проходила по утрам мимо его рабочего места, Выру-

чакин вздергивал подбородок и бледнел. Бледнел ли? Бледнел, бледнел! И будто комары, напившиеся крови, бессовестно краснели веснушки на его лице.

В этот день они встретились у стенгазеты. Ухо у него было расцарапано. Он растопорчился весь, как индюк, чтобы пройти мимо нее. Но для этого нужно было оттолкнуть Катю с дороги. Почему-то Быручалкин на это не решился. Он стал громко читать стенгазету, описывающую подвиги Нины Опаловой.

— Зачем ты читаешь? — спросила Катя. — Ведь ты уже читал.

Он прикрыл глаза, щеки его опали, нижняя губа отвалилась, показав корешки белых зубов.

Катя сказала:

— Дай мне пройти.

— Да ты не бойся, не бойся!

Он с размаху сел на скамейку, стукнулся заглазом о стену и, запустив ладони в волосы, стал бормотать что-то невнятное и, кажется, очень грустное для себя.

Катя прошла на крыльцо, не понимая, что это такое с Быручалкиным.

А Лютов, прогуляв с друзьями до ночи, вернулся домой при свете звезд. Еще только начинался звездопад, а ему казалось, что всё небо выставано светящимися доржжками, и звезды валяются прямо на его голову, только подставляй пригоршни. Хотелось озоровать, да и все тут!

Толкнув калитку — подалась. На засов не заложена. У дворовой стезжки, в курчавой траве — звезда. Снял фуражку и набросил на звезду. Сел на корточки. Поймалась, цыпка! Осторожно приподнял фуражку за козырек. Ан, не звезда, а плоская никелированная коробочка, отразившая свет звезды. Погремел коробочкой у своего уха. Так и есть, угольные шарики для хорошего пищеварения мастера Ловягина.

Лютов, всё еще сидя на корточках, перевел глаза на окно. Матка, женщина рассеянная, не затенилась со двора. Хмельк повисла, повисла, да и стала отлетать от души, как зыбкий и легкий сон. Как морозцем, пронзило душу сознанием того, что всё, что он делал сегодня вечером — не удалство, а слабость, отсутствие характера.

Лютов подошел к окну, заслонился руками. Окно было в кухню. Дверь в горницу настезь. Так оно и есть: сидят за столом. Матки за самоваром не видно, а Евсей Корнеича видно со спины: вон чесучевый пиджачок в свободных складках, вон седая косица волос на шее, сбегаящая за ворот расстегнутой, чисто стиранной рубахи.

Лютов отошел к крыльцу и сел на ступеньку, с отчаяньем лова хмелек, улетающий из души. Да разве его уловишь? Он, как дымок, — повисла, да и в небо.

И куражу не осталось ни на копейку. «Да что, я боюсь?» — спросил себя Лютов. Его взяла злость. Не по-комсомольски — сидеть здесь, как виноватый. Он встал на ноги, притворяясь, что у него еще полная душа куражу. Дернул дверь, брякнула в кармане коробочка с угольками.

Он вошел в горенку, фуражка на боку. Пощурился на лампу. Швырнул коробочку на стол, к стакану Ловягина.

Сказал неприветливо:

— Здравствуйте. Ваше подобрал на дворе.

Мать, вытянув шею, смотрела на него из-за самовара тихими глазами. Самовар повалил на скатерть широкую полусветлую тень, и опрятные руки Евсея Корнеича с темными шнурами вен оставались в этой тени. Одну руку он держал на простывшем стакане, а другой поласкивал свои белые усы, белую мягкую бордочку.

— Что рано пришел? — спросил Евсей Корнеич. — А я и стакан-то пью всего только седьмой.

Мать заплакала, ткнув лицо в ладони. — Да ну, ручьями-то разливаться! — грубо сказал Лютов. — Я не маленький и не пьяный.

— Он больший и трезвый, — сказал Ловягин, — не реви, мать. От меня, говорят, сухим листом пахнет, а от него — настоенным. Садись сюда, настоенный. На, бери, читай, что тебе батька с фронта пишет.

Евсей Корнеич вынул из пиджачного кармана листок бумаги, разгляди на скатерти ладонью и протянул Лютову. Тот молча взял. Сразу узнал почерк отца. На глазах его выступили слезы. Он кашлянул и стал читать. Но слова не давались, будто брезговали им.

— Вслух, вслух читай! — повысив голос, сказал Евсей Корнеич и придвинул к Лютову лампу.

Лютов прислушался. Лицо его пошло пятнами.

Он стал читать тяжелым голосом:

— «Дорогой Саша! Вчера перед боем получил ответ от Евсея Корнеича, вашего мастера. Мать прислала мне его адрес. Я ему написал, да ответа долго не было. И вот вчера получил ответ и очень обрадовался. Перед боем всегда вспоминаешь вас с матерью, из сердца нейдет. А тут Евсей Корнеич пишет, что ты у меня молодец, работник, настоящий комсомолец. Когда в бой пошел, все о тебе думал. И колошматил же я немца, сынок! Дрался неукротимо и неприступно, как лев. Помнишь, когда ты был маленький, мы играли с тобой в зверей? Я сидел под столом, будто лев в пещере, а ты бесстрашно дразнил меня хворостиной. Я рычал, а ты покрикивал: «Ничего не боюсь на свете!» А теперь мой большой сын скоро встанет за отцовский станок.

Вот здорово, это уж, как говорится, порбочему! Напиши мне скорее, как твои успехи. Твой отец».

Лютюв положил листок на стол. Уронил глаза на пол. Потом поднял их чуть повыше. Увидел парусиновые туфли Ловягина с желтыми шнурками, черные подметанные штаны. Еще повыше: карман в пиджаке, из кармана свалился большой носовой платок.

Дернул голову. Глаза его и глаза Ловягина встретились.

Ловягин потер ладонями коленки, качнулся, сказал:

— А теперь поди-ка сюда, сядь с нами рядком, да потолкуем ладком.

И все покачивался, потирал коленки. И пахло от него, взаправду, отцветающим садом, на дорожках которого лежит ясный осенний свет. Лютюв сел между ним и матерью. Голова чуть кружилась.

Перестав качаться, Евсей Корнеич придвинулся к Лютюву. Лютюва бросило в жар. Евсей Корнеич положил указательный палец на его руку и сказал просто:

— Мне пятьдесят семь лет, Саша, и за всю эту длинную жизнь я в первый раз соврал. Отцу твоему соврал. Доблестному воину нашей Красной Армии. Почему я это сделал? Вот об этом и подумай.

XIX

За истекший месяц «Александр Суворов», под командою Леонида Садового, сделал дальний рейс в низовье Волги, где шли кровопролитные бои. Возили довольствие фронту. Сила Саввич плавал теперь старшим помощником и спал в чужой каюте на нижней палубе. Леонид спал в каюте Силы Саввича. Если Силе Саввичу, в новой каюте, пришлось расставлять свои вещи, какие он любил иметь на плаву, по уставу своих привычек, то Леониду ничего не пришлось менять в каюте дяди. Устав его привычек был тот же, что у дяди.

Несмотря на то, что Александр Суворов разгружался в городке, сокрушенном и выможенным бомбардировками, и несмотря на то, что фронт проходил от этого городка в пятидесяти километрах, рейс выдался спокойный и никаких потерь на «Суворове» не было. Фронт здесь не замирал ни на минуту, он был дышущий, распаленный. Здесь в порядке то одного, то другого противника впились клинья; производились широкие охваты, захлестывались петли, шла война быстрого и дерзкого маневра.

Когда «Суворов» на обратном пути проходил песководье, ночью была слышна артиллерийская канонада. Леонид, стоя с дядей на мостике, видел, как небо у горизонта вздрагивает и трещит от ударов света. Это немецкий десант метался среди ночи, зажатый в кольце наших войск.

Вернувшись в поселок, «Александр Суворов» снова стал грузиться довольствием для фронта. Дядя остался на пароходе принимать груз. Леонид зашел домой всего на полчаса, чтобы взять перемену белья для себя и дяди. Каждая минута была на счету: сегодня военная комиссия проводила на «Суворове» митинг, а завтра ученики ремесленного училища должны были провести на пароходе митинг. Леонид, зайдя домой, знал, что в этот час не может застать Кати. Но он надеялся на какой-нибудь счастливый случай. Может она легко прихворнуть? Легко и совсем неопасно, разумеется?

Но дома он не застал даже Лизы.

В условленном месте, в кусту крапивы, он нашел ключ от дома и записку от Лизы. В записке было сказано, что Лиза ушла на сыгровку в красный уголок, и какой это восторг. Лизиную руку, привыкшей писать «какой ужас!», так и было написано на этот раз про восторг. Но Леонид был лишен чувства забавного, и не смог оценить рождения нового стиля у Лизы. К тому же он сильно обстрекал крапивой пальцы; у него упало настроение.

Что ж, это очень грустно, когда совсем пустой дом...

Леонид прошел на мужскую половину, там все было на своем месте: только выдвинуть ящик комода и взять сменики белья, уже заранее обернутые в простыню. Матросик выплыл из дверцы часов, и бой прозвучал по ранжиру. Катя не забывала заводить часы.

Леонид взял белье подмышку, вышел в коридор. Здесь он потерял направление и заблудился. Вместо того, чтобы через кухню выйти на крыльцо, он вошел в комнату Кати и Лизы. Здесь его обдало светом: воздух клубился, и тел, и сиял — как в саду, как на реке, как в самых лучших стихах, которых Леонид не понимал, а Катя велела читать их!

Неулыбчивые, как у дяди, губы Леонида дрогнули. Он с отчаяньем подумал, что улыбка вышла глупая, прижал концы пальцев к углам рта и дернул их вниз, но от этого случилось еще хуже — он стал без удержу смеяться. Горло его издавало звонкие и чистые звуки. Это был не тот смех, когда смеются смешному; это был смех счастья.

— Ай-яй-яй! — сказал он и пошевелил локтями, — ай-яй-яй!

Опрометью он кинулся вон. Запер дверь на замок, стал совать ключ в крапиву. «Влюбился?» — подумал он с ужасом. «Влюбился!» — ответил себе с отчаяньем. Штурман, прыгая на цепи, заливался бабахющим лаем. На траве лежали бронзовые листья липы, сорванные ветром с перегоревших стеблей. Леонид стремительно прошел через двор и захопнул за собой калитку.

На улице он снова стал строг и уравновешен. Встреча знакомые лица в окнах, оя, не поворачивая головы, прикладывая два пальца к козырьку фуражки — как дядя. Ему только не хватало трубки с фарфоровой крышечкой и мундштуком из гнущего флексибла. И соседки, здороваясь с ним, говорили: «Какой разумный вырос! Без матери вырос, а какой разумный! А мой-то шалопаи-обормоты... Да нет, сразу Садовая порода видна».

XX

Сидя в президиуме митинга рядом с Силой Саввичем и начальником военной комиссии, высоким человеком с быстрыми глазами и большим ртом, Леонид смотрел на говорящую Клашу Машину, а видел только Катю. Она поместилась в дальнем углу салона, у широкого окна, и, глядя на Клашу Машину, видеть ее было нельзя.

Выручалкин сидел по другую сторону салона, тоже у широкого окна, и глядел на начальника военной комиссии, а видел только Катю. Глядя на начальника военной комиссии, видеть отсюда Катю тоже было нельзя.

Но оба они, наперекор физическим возможностям зрения, видели Катю и мучились тем, что она не думает о них.

Леонид был доволен митингом, доволен тем, что часть команды, прошедшей сто десять часов всеобща, хорошо подготовлена; он был доволен рулевым Жучком, лучшим пулеметчиком в команде, и Силой Саввичем, так скромно несшим свое подчинение Леониду, словно он никогда в жизни не хватал выше старшего помощника капитана. Он был доволен старостой грузчиков, который как сказал, так и сделал — минутка в минутку; доволен состоянием парохода, его чистотой, дисциплиной и духом команды.

И довольство это было совершенно лишено кичливости. Казалось бы, все эти мысли и заботы, очень важные, занимающие все его внимание. Но, наперекор ограниченному пределам внимания, занятого всем этим важным, — оно было занято и Катей.

У Выручалкина тоже наметился союз неуживаемых, на взгляд непосвященных, вещей: его, Выручалкина, беспокойный нрав и — Катя...

Леонид и Выручалкин сидели в салоне и, под скороговорку Клаши Машинной, мучились тем, что Катя не думает о них.

А она не могла сейчас о них думать. У нее был праздник. Она в первый раз после Ленинграда надела желтое платье с красным вязанным мягким пояском. Это было платье веселых настроений, маасньких и больших удач. В этом платье запрещено думать о печальном

и говорить людям даже неумышленные неприятности.

Праздник начался с письма от Башлыкова, в котором он сообщал ей, что скоро будет на среднем плесе, а потом прилетит в поселок на совместное заседание поселковой пристани и железнодорожников. Потом праздник продолжился на митинге, когда начальник военной комиссии, благодаря ребятам, упомянул вслед за группой Клаши Машинной группу Катя.

Она сидела в первом ряду сдвинутых со своих привычных мест кресел и мягких диванов, легкая, немножко бледная, воздушная, как ее платье, Клаша Машина так и сыпала, так и сыпала говорком. Эту речь они писали вместе. В ней говорилось о доблести армии, о русской победе — это были такие слова, что, написав их, они как из бани вышли. Алкин сказал, прочитав: «Ну, и девки!» Взял карандаш и вписал себе в книжку: слова сердца были для него тайной.

Сейчас Клаша Машина произносила эти найденные в сердце слова при людях. Катя боялась, что она испортит их своим «фу-фу!» Но она не испортила, хоть и говорила «фу-фу!» через два слова в третьем.

И когда все встали и захолопали в ладоши, и начальник военной комиссии улыбнулся, Катя тоже захолопала, глянула через плечо начальника в широкое носовое окно салона — там река в хохолках волн, ветер, ветер, удаль, нежность, тоска моя, косые полеты чаек, все, чего не расскажешь словами, да и рассказывать не к чему — зажмурилась и увидела Алексея Ивановича Башлыкова так ясно, будто он встал перед ней живой.

— Ну, — услышала она взволнованный шопот Клаши Машинной у самого уха, — проснись, иди жать ручки!

Катя открыла глаза. Ребята-ударники в затылок подходили к столу президиума, и директор училища, коренастый товарищ Постников, начальник военной комиссии, Леонид и Сила Саввич пожимали им руки. Все смеялись и шутили, а больше всех шутил начальник военной комиссии, для каждого он придумывал свою шутку, и это было так необыкновенно и смешно.

Катя поправила платье и пошла за Клашей Машинной. На Клаше было красное платье, тоже нарядное, но совсем не воздушное: она казалась в нем взрослой серьезной женщиной, и это тоже было смешно.

Подходя к столу президиума, Катя оглянулась на ребят. Диваны были сдвинуты, ребята сбились кучками. Отдельно, у самой двери в салон, стояли Лютов и Выручалкин. У маленького Лютова лицо было темное. Кате на минутку стало его жаль, ведь это Выручалкин его подвел, и его группа осталась на дальнем месте.

«Нужно ему это сказать», — подумала Катя.

Но все по-чудесному совершалось сегодня: к Лютову подошел Корней Евсеевич Ловягин и сказал ему, наверное, то самое, что сказала бы Катя и даже, может быть, еще лучше. Лютов неловко пожал руку Корнею Евсеевичу. А Выручалкин отошел от них. У него был по-смешному открыт рот. Катя отвернулась, потому что была ее очередь подходить к столу.

Выручалкин, увидя это, вдруг завел руку за голову и взял себя за воротник пиджака. Так, за этот воротник, он и вывел себя на палубу, уставленную свежеструганными ящиками, облокотился о перила и стал глядеть на торопливую пробежку волн вдоль борта.

«Александр Суворов» поднял якорь в ночь. Вахту нес Сила Саввич. Леонид, не спавший двух ночей на погрузке, ушел в каюту.

Ночь была ясная, но ветреная. Сила Саввич, сидя на белой скамье впереди рулевой будки, склонял голову то вправо, то влево, показывая рулевому, как держать. Он шел по фарватеру, как по своей каюте. На нем был тулуп, сладко пахнувший овчиной, и сапоги в калошах. Ветер посвистывал в вентиляторе. Все грозился, как грозятся сердитые ветры: вот я вам, вот я вам задам!

Навстречу, из ночи, надвинулся по ясной реке черный караван, шедший расчалкой. Рулевой посвистал. Матрос вышел на мостик отмахнуть фонарем. На буксире матрос тоже вышел на мостик. Огонек эго фонаря отмахнул в воздухе и в черной воде.

С буксира закричали:

— Сила Саввич, что ль?

— Я, Платон Сергееч! — откликнулся Садовый.

— На плесе, слуша-ай, тихо от немца!

— И у нас, слуша-ай, тихо!

— Будь здоров, Садовый!

— Живи!

И снова ночь, ветер, вот я вам, вот я вам задам, огоньки бакенов в черноте, тихие, как свечи. «Александр Суворов» шел ночь, день, а на следующую ночь приваляли к пристани назначения. Началась лихорадочная выгрузка. Тут бои шли недалеко, был слышен упругий раскат срудийного грома.

XXI

Среди боев в калмыцких степях Нина Опалова нашла досуг прислать фронтное спасибо Клаше Машинной и Кате — двум лучшим девочкам, отличившимся в соревновании ее имени. Ребята собрались во дворе училища, под ветвистым тополем, который в ветренные дни крихтел и охал, как недужный старец. Вот, молва день до вечера протянуть. О некоторых

фронта. Да и то, что было дурного в училище, тоже узнал фронт.

Как бы заново прозревшими глазами Катя обвела двор, покрытый курчавой и уже поблекшей на солнце конотопкой: каменную стену училища с широкими окнами, стекла которых они — ученики — каждый день протирали и мыли; большую бочку на колесах с новыми толстыми спицами, пустившими янтарную слезу клея; лица ребят — товарищей и това-

ростов. Смешно подумать! Еще зимою она чувствовала себя среди них почти чужой. Припомнилось, как в лютой мороз, шла по улице и не замечала того, что плачет. Слезы у нее обледенели. Сковахи, склеили щеки. «Ты плакала!» — всплеснула руками Лиза. Смешно вспомнить. А вначале лета на этом самом дворе, еще по-весеннему ярком и словно охваченном зеленым пламенем травы, они разговаривали с Силой Саввичем, вслаивались, и потом Катя писала Башлыкову письмо. Как все это далеко, будто из другой жизни! Сила Саввич водит своего «Суворова» под бомбами, а с кормы и носа парохода по самолетам бьют пулеметы. А Нина Опалова, двадцатилетняя женщина, которую знали здесь запросто, как невестку Клаши Машинной, бьет немцев, лежа в ковальных травах, лицом к врагу, перед которым отступили и французы, и греки, и голландцы, и норвежцы.

Ваня Шершнев, расставив ноги, своим неторопящимся голосом читал письмо. С Выручалкиным не совладаешь — влез на сук тополя, спустил ноги в воздух, спиной прислонился к стволу. Ястребом глядел оттуда, с высоты, на русский затылок Вани. А ребята стояли, не шелохнувшись. Раскрыли рты от жадного внимания. Каждый понимал — голосом Вани, читавшим письмо, говорил фронт — самый настоящий, горячий, дымный, огневой. И фронт говорил о них, поселковых ребятах из ремесленного.

— «Я из своей винтовки, — читал Ваня в мертвой тишине, — за время обороны Севастополя и потом на других фронтах уничтожила двести фрицев. В этом самом деле истребления ненавистных немцев есть доля и вашего ученического труда. Ведь оружие нам делаете все вы, советские оружейники. Спасибо вам, ребята, фронтное спасибо!»

Ваня замолчал на минуту, мельком поднял на тех, кто стоял ближе, свои тихие глаза. Кто-то вздохнул. Кто-то кашлянул. Клаша вертела в руках веточку — вдруг переломила ее. Веточка звонко хрустнула.

— «Мне очень обидно было узнать, — продолжал читать Ваня, — что некоторые ученики работают кое-как, лишь бы таких лентяях дурная слава до фронта о поселковом училище докатилась до

дошла. Обидно было слышать, что ученик Выручалкин нарушает трудовую дисциплину. Мне непонятно, как он может не отдавать всех своих сил фронту? Что же он думает: что кто-то за него победу завоюет, а он и в тиши может своеобразничать? Нет, так нельзя поступать. Правильно, война принесла много горя. У вас не было даже хорошего общежития — теперь его строят. Но как бы то ни было, вы все-таки спите под крышей, на постели, вы не испытываете тех тягот, которые приходится переносить фронтовикам — и не только мужчинам, но и девушкам».

— Достукались! — закричала Клаша Машина, не сдержавшись, и задрала голову вверх, к Выручалкину. — Перед фронтом срамишь нас!

Катя схватила ее за руку, шепнула, дыша горячо:

— Не надо так, Клаша, ему же... ведь он...

Ребята зашумели, тоже подняли головы. Выручалкин сидел на суку, побалтывал ногами, и глядел на ребят внизу, как на огонь, подбирающийся к самым корням дерева.

— Слезай, Выручалкин! — наперебой закричали ребята.

Но он, обхватив ствол, стал лезть еще выше. Из-под цепких рук его и коленей посыпались вниз ошметки сухой коры. Схватившись за узловатый сук над своей головой, он подтянулся на руках и через плечо оглянулся на ребят. Рот у него pokrивился.

— Да будет дурить-то! — крикнул Ваня Шершнев. — Слезай, поговорим, как люди!

Выручалкин набрал в грудь воздуха, мотнул головой и полез по стволу еще выше.

Так и присидел на верхушке тополя все время, пока читали письмо.

Время шло к вечеру. Раздутый и густокрасный шар солнца упал за реку, за скошенные луга. Сумерки стояли недолго, набежали тучи, быстро стемнело. По домам расходились стайками. На Овражной остались втроем: Клаша и Катя жили на Овражной, а Ваня Шершнев — в самом конце ее, почти в лесу. К этому времени небо опять очистилось, над поселком встала грустная луна, и крыши домиков, и стрельчатые жердинки палисадников, и яблоны садов закурлись серебряным дымком ее света.

Воротясь домой, Ваня поужинал и, взяв подмышку полосатенький коврик, пошел спать на пасеку. Он бросил коврик на землю и пошел к стожке, за охапкой сена — положить под голову. Под яблоней стоял Выручалкин, пестрый, как зебра, от лунных пятен и теней. Ваня взял сена, вернулся назад, сел на коврик и скинул ботинки. Дуновенье ветра было то прохладное, то знойное.

Выручалкин, неслышно ступая по высокой траве, подошел.

Сказал сумрачным голосом:

— Стало-быть не зовешь?

— А что я, именинник, чтобы гостей звать?

— Да не в гости!

— Захотел — пришел, не захотел — нет.

— Захотел, не захотел! — Выручалкин pokrивил губы, как тогда, на тополе. — Небось, когда ребята мне кричали, что я перед фронтом их позорю, ты молчал. Почему молчал?

— Да ведь правду кричали.

— Тоже мне правда! Небось, сам знаешь, я уж давно себя унял. Пока Нина Опалова письмо писала, да пока письмо шло, да то, да сё — я разве прежний остался? Обидно мне, Шершнев. Чего мне скрывать? Я скрывать перед тобой не буду. Я, знаешь, случаем Катю в лесу побил. Не со зла, а так. Так я после того как огушенный был. Казнился.

— Надо было повинную принести.

— А легко?

— Трудно. А надо.

— Перед кем ни виниться, а перед Катей — страшное дело виниться, Шершнев, — проговорил Выручалкин почти с испугом.

— Почему?

— А потому.

— «Потому» — слово неясное.

— А мне оно ясное? Это дело мое собственное, Шершнев. Я тебя ничего ставлю, высоко ставлю, а и то не скажу, не проси.

— Да ты не говори, а повинись.

Выручалкин сказал стесненно:

— Повинился уже.

Ваня отвернулся, чтобы спрятать улыбку, растянувшую его рот до ушей. Выручалкин помолчал и сел рядом с Ваней на коврик. Голос у него изменился, когда он сказал:

— Чего-то, Шершнев, не даже мне. Заболел, что ли...

— Ложись, если заболел. — Ваня подвинулся на коврике, половчей сбил охапку сена. — Ложись, ложись. (Выручалкин послушно лег, вытянул ноги, стал вздыхать.) Кабы я знал, что ты ко мне придешь, я бы пальто для тебя из дому взял. А сейчас своих будить не хочется. Ну, да ночь теплая. Я думал, ты к Ловягину пойдешь. И он думал, что ты к нему пойдешь: «Я, говорит, ему подушку приготавливаю».

— Чего мне ити к Ловягину? Ты из меня, Шершнев, дурачка не строй. Я ведь знаю, это он Нине Опаловой письмо написал. Чего я к нему пойду?

— Что ж не пойти? Очень хороший человек.

— А кто кричит, что не хороший? Да только всё воспитывает.

— А я?

— Ты что? Мы с тобой на одной ноге. Ваня прилег рядом с Выручалкиным, потянулся, заветная косточка сладко хрустнула в теле.

Ваня сказал медленно:

— В таком случае должен тебе прямо признаться, Василий: письмо Нине Опаповой я писал.

— Ты?

— Я, с Клашей Машиной. Выручалкин свистнул.

Долго лежали молча. Ваня глядел в глубь сада, где, между белёных яблоневых стволов мерцали в лунном свете покатые крыши ульев, и ждал, что Выручалкин вскочит на ноги, уйдет. Но прошли многие минуты, Выручалкин лежал неподвижно.

— Иван, — сказал он придушенно. — Слышишь меня?

— Слышу.

— Эх! — сказал Выручалкин, рука его плашмя упала на землю. — Ладно. Перед Катей мне особо... — Ну, ладно, Иван.

— Ну, ладно, Василий.

Они пододвинулись друг к другу. Ночь, и вправду, была очень тепла, только ветерок, налетающий порывами, — прохладный. Как водится, пропели петухи: какой-то дальний, в самой середине поселка, пел долго, будто скрипел на скрипке старательный ученик. На этом разговоры меж Ваней и Выручалкиным были покончены. Через некоторое время влажная тишина ночи вошла в их ноздри, в уши и затуманила мозг.

И они провалились в сон.

XXII

В Москве, на совещаниях у наркома, Алексей Иванович Башлыков мог видеть работу водников во всей ее целостности, во всем значении для воюющей страны. Эти наезды в Москву (а время его делилось так: четверть времени в Москве, а остальное на речном флоте) давали ему чувство общего плана работы. Когда художник пишет большую картину, он не может видеть ее по всей длине и ширине полотна; он видит маленький отрезок полотна, частности картины, над которой в эту минуту трудится его кисть. Без частности не может состояться картина. Но и одни частности, как бы хорошо они ни были выписаны, не составляют картины. Нужно чувствовать дух всей картины, пребывать в ее едином замысле, в ее едином построении, и всякую минуту знать, что несродная частности если не погубит картины, то ослабит ее силу.

Если продолжать это уподобление, то нужно сказать, что Алексей Иванович работал над частностями боевой жизни русских водников — в ее отдельных звеньях.

Этой осени в Москве не забыть современникам. Враг был остановлен на Волге и Тереке, но вольные земли юга топтали его кони и мяли гусеницы его машин; всюду, где он прошел, трупам русских людей наполнились противотанковые рвы, чадил горячий пепел пожарами, тянулись виселицы у дорог, и виселицы в станицах, и виселицы в рощах, и виселицы в городах.

Москва жила войной, трудилась, стиснув зубы. Толпы народа текли и текли по улицам, из дверей своих квартир к дверям предприятий и учреждений. Смех ушел с улиц, души посуровели: Ребята во дворах, круглоглазые малыши, играли в атаки, голова их ровалась из ворот и билась в окна: «огонь!», «за родину, за Сталина!», «по фашистам — огонь!» В дверях районного военкомата Башлыков увидел дряхлого старика: в парусиновой толстовке, в старой соломенной шляпе он стоял в дверях и говорил сухими губами себе самому: «Он умер героем. Упокой, Россия, его душу!» И люди молча обходили его; военный прошел, козырнув. Упокой, Россия, его душу во славу твою, во имя победы, которая придет!

У газетных щитов завязывались минутные беседы: о стратегии, о тактике наших войск, о Роммеле, о Черчилле. Кричали яркие лубки на стенах домов, карикатуры и рифмованные плакаты.

Война раскрылась перед людьми повседневной, суровой работой.

Осень была непостоянная: то косые дожди, рысистые тучи над бульварами, темные, просырелые щиты на окнах магазинов; то солнечные дни. Алексей Иванович ни разу не ночевал дома. Квартирка его была обитаема, в ней временно жила старушка Невестова, юриконсульт наркомата. Она любила молчание. Выступления ее на суде не длились свыше двух минут. Молчание квартирки Алексея Ивановича пришлось ей по сердцу.

Зайдя проведать квартирку, Алексей Иванович выпил с Невестовой стакан чаю. Как и все молчаливники по призванию, а не по злобе на жизнь, Невестова не тяготила своим молчанием. Можно было сидеть с нею, думать о своем и все-таки чувствовать, что рядом с тобою хороший, расположенный и душевный человек.

Выпив с нею чаю, Алексей Иванович пошел в комнату дочери. Ясный день светил в окно. У настольной лампы сновали друг возле друга две мухи: вверх и вниз, вверх и вниз. Алексей Иванович сел в кресло, обито бледно-зеленым кретоном, с легкими вдавливаниями от локтей на подлокотниках. Коврик, сшитый из разноцветных тряпочек — красненьких, синеньких, желтеньких, белсеньких — лежал, сиротя, возле кровати. В лучах солнца он казался разноцветным кост-

ром. Здесь все было так, как она оставила, уезжая к бабушке в Белую Церковь. Она была строга к себе и не оставила никакого беспорядка. Только забыла на столе книгу, развернутую на той странице, которую читала накануне отъезда.

Он знал эту страницу.

На ней было сказано:

«Растение идет от узла к узлу и завершается, в конце-концов, цветком и семенем; личинка, солитер идут от узла к узлу и образуют, наконец, головку; у животных, стоящих выше, и у людей позвонки примыкают один к другому и завершаются головой, в которой сосредоточена вся их сила.

То, что наблюдается у отдельных индивидуумов, имеет место и для целых обществ животных. Пчелы также образуют ряд отдельных, которые смыкаются друг с другом, и вся их совокупность призводит своего рода завершение, являющееся, так сказать, головою целого — это пчелка-матка.

Народ производит героев, которые, как полубоги, стоят во главе его, принося ему благо и защиту».

Алексей Иванович не знал, кому принадлежат эти слова, видимо, поразившие его дочь (это были слова Гёте); при всей своей бережливости к вещам она подчеркнула на полях последние две строчки — легкой, едва заметной линией карандаша, чтобы потом можно было стереть резинкой, не портя книги. Напряженно и пылливо она тянулась к знанию. И знание для нее было одним из чудесных даров жизни, во имя которой народ производит героев, приносящих ему благо и защиту.

Ему опять представилось, что далекая, случайно встреченная им девочка из речного поселка будет жить в этой комнате. Алексей Иванович знал свою дочь, она сказала бы: «Сделай так, отец, чтобы в нашем доме она продолжала мою юность».

Когда он прощался, уходя, Невестова поглядела ему в глаза, ища страдания в них. Но в них не было страдания, они были холодны и покойны.

Тогда Невестова, сожмя сухонькие кулачки, сказала первые за эту их встречу слова:

— Она уже отомщена, товарищ Башлыков. Стойким героизмом наших людей.

— Нет, товарищ Невестова, — ответил Алексей Иванович, резко раздвигая в руках кепку, прежде чем надеть ее на голову, — она не отомщена. Немцы на Волге. Немцы в Белой Церкви. Немцы на Северном Кавказе.

Вечером он долго сидел у наркома. На утро ему предстояло вылететь на водную трассу. Он вылетел в положенный рассветный час — без пилота. Этот маленький пилот, тверденький, как ка-

мешек, сказал, что доложит по наркомату о подобном уклонении от правил. Но это было привычное нарушение: Алексей Иванович редко летал с пилотом, к этому привычки, все знали, что он отличный летчик.

Лететь пришлось при дожде и ветре, то-и-дело пробивая низкие клубящиеся облака. На краях плоскостей висели крупные дождевые капли. Земля внизу казалась гладью пруда, затянутого ряской.

Уже неважно от цели полета, на одной из посадок, Алексей Иванович узнал о сильном десанте, сброшенном немцами в нашем тылу, на берегу Волги. Десант этот был отброшен и, на пути к своей гибели, занял крупный речной поселок с ремонтными мастерскими и большими складами довольствия. Так паук, попавший в бутылку, бежит от горлышка на дно, потому что с горлышка надвигается на него гибель.

Алексей Иванович зажмурился. Это был поселок, куда он слал свои письма.

Над рекою погода развиднелась. Облака поднялись, и желтый цвет окрасил их — они шли ровными рядами, освещая землю как бы лампочным, керосиновым светом. Река поблескивала, берега ее казались мягкими и вечерними. Над аэродромом Алексей Иванович пошел на снижение. Селение показало ему язвы своих разрушений, здесь была бомбежка, кой-где дымились очаги пожара. У причалов Алексей Иванович увидел три парохода. В одном из них он узнал «Александра Суворова». По сходням, переборренным на пароход с конторки, медленно и по двое ползали люди, как бы соединенные друг с другом прутиками. Эти прутики были носилками. «На «Суворова» переносили раненых.

В скачках своих и деснах Алексей Иванович почувствовал боль. Что случилось? Он скрипел зубами, намертво сжав челюсти. Движения рук его, лежащих на управлении, были порывисты и, стало быть, не очень точны. Он одернул себя, но было поздно. Он очень неловко посадил машину на раскисшее поле аэродрома. Брызнула грязь, машина скапотировала. На минуту Алексей Иванович потерял сознание.

Он очнулся уже среди людей — сидел на мокрой траве, и чьи-то жесткие ладони поддерживали его затылок. «Хорош!» — сказал себе Алексей Иванович и встал. Техники уже ползали по его машине.

Начальник аэродрома, рыжеусый и молодой, пахнувший забористым селеколом, сказал очень чутко:

— Спотыкнулись? Машинка цела. Нет, я вижу, у вас — рука.

Он говорил не о памятной руке Алексея Ивановича, а о том, что у Алексея Ивановича — верная рука пилота. Алексей Иванович охлопал себя здоровой рукой по всем своим широким костям и пошел,

немного косолапая в унтах, к белому домику под серебряными ветлами. Пока они шли, начальник аэродрома рассказал, что немцы последние два дня лупят с воздуха по всем причалам на плесе, что у них в причалы не попали, но селенье пожгли, есть жертвы. Еще он сказал, что на «Алекса́ндре Суворове» опасно ранен юный капитан.

— Леонид Садовый? — спросил Алексей Иванович, замедляя шаг.

— Да кто его знает, — чутко сказал начальник аэродрома, — вероятно, Леонид. Еще петушок, а характер, надо сознаться, армейский. Дитя века. Что? Ранен в грудь.

XXIII

Пристань, в условиях нынешнего расположения фронта, играла важную роль: через нее шло снабжение армии, и она принимала эшелоны раненых бойцов, эвакуируемых дальше в госпитали по реке. День и ночь шли жестокие бои, поток раненых усилился. Под них заняли «Алекса́ндра Суворова» и буксирный пароход «Силачок».

На совещании пристанских властей и капитанов Леонид не мог быть, он лежал в каюте на «Суворове», борясь со смертью. Вместо него пришел Сила Саввич, сел на подоконник, закаменел. Все было тяжело в нем нынче: угрюмые глаза, угрюмые слова, угрюмый дым из трубки. И трубка его свистела, будто рыдая. Алексей Иванович не стал его спрашивать о Леониде и тотчас же начал совещание.

На совещании, между прочим, выяснилось, что на «Силачке» ослаб гребной винт и ийти с таким винтом опасно. Капитан «Силачка» Скосуров, средних лет мужчина с цыганскими глазами и высоким грудным голосом, стал сердито кричать, что на пристани водолазных костюмов нет и под водой работать нельзя. Кричать и сердиться он стал сразу, и этим никому не понравился. Алексей Иванович увидел, что он из тех хитрецов, у которых хитрость неискusstна: так и лезут наружу нитки, которыми она пошита.

Пока Скосуров кричал, Сила Саввич поднял руку.

Скосуров осекся, сбоку поглядел на старого капитана.

Сила Саввич сказал тяжелым голосом:

— Работать везде можно, в том числе и в воде.

— Да ведь без костюмов же! — прорыдал Скосуров.

Опять подняв руку, Сила Саввич сказал:

— В том числе и без костюмов работать можно.

— Попробуй! Нет, поглядите на него... А ты попробуй!

— Я попробую, — ответил Сила Саввич и опять закаменел на своем подоконнике, в клубах угрюмого дыма.

После совещания Садовый вызвал с «Суворова» рулевого Жучка и еще двух матросов, пареньков неразговорчивых и будто робких. Один из них принес ящик с инструментом. Алексей Иванович, Садовый, Скосуров, Жучок и эти два послушных паренька пошли на берег, к лодкам, кто нес тулуп, кто пальто. «Силачок» стоял за кормой «Суворова», широкозадый, усидистый. Окрашенный в черную краску кринолин обегал его борта, отчего казалось, что буксир подпоясался кушаком.

— Хороша посуда? — закричал Скосуров, пока садились в лодку. — Не то, чтоб больша́я, не то, чтоб сильна́я, а щеголиха!

Пареньки взялись за весла, ударили по воде. Непокойный Скосуров опустил с кормы рулевое весло-лопату. Дул свежий восточный ветер, гнал волну, похолодало. Синяя рябь, без игры и блеска, задернула реку. Алексей Иванович опустил руку в воду, пальцы его занемели.

Пригребли под корму «Силачка». На корму вышли два матроса, сняли шапки. Пробежала мимо лебедки медицинская гестра, нырнула в трюм — будто провалилась. Потом вышли в хаатах трое раненых солдат, у всех троих правые руки были на перевязях.

Матросы в лодке бросили весла, только Скосуров подгребывал, чтобы лодку не отнесло течением.

— Какой ты хозяин? — сказал ему Сила Саввич и стал раздеваться. — Говоришь — щеголиха, а что ты о ней знаешь? Вон, кринолин расписал, на трубе ленту покрасил, а может, у нее дница бо́льшая. Не матросы вы там, на «Силачке», а чубуки... от паршивой трубки.

Алексей Иванович поглядел, как Сила Саввич неторопливо раздевается, спросил:

— Да ты что, Сила Саввич, надумал?

— Нырну, Алексей Иваныч, обследую.

— Пусть кто помоложе тебя нырнет.

— Что ж кто помоложе? Кто меньше меня жил, тот и каши ел меньше моего.

Скосуров сказал нерешительно:

— Нырять и я могу, какое чудо!

— А ты раньше что не нырял? Всё бы нам теперь меньше беспокойства.

Жучок не выдержал, всплеснул руками, закричал праздничным голосом:

— Я нырну, товарищ Башлыков! Я эти гребные винты слегка знаю, присматривался. Там, надо быть, в шайбе дело.

— Не горячись, не горячись, — спокойно сказал Сила Саввич, — ты меня от штурвала оттаскивал, тебе отдохнуть надо.

Он, не торопясь, развязал шнурки ботинок и поставил их на досочку, чтобы они не замочились на дне лодки, по ко-

горьку встала мутная вода; потом, сняв белый хитель и синие камлотовые штаны, аккуратно сложил их на кормовой скамейке, сверху положил фуражку с белым околышем и блестящим, как новые галоши, козырьком. Возле фуражки положил часы с цепочкой-змейкой, резиновый кист и фарфоровую трубку — в дупле ее еще светился раскаленный табак. Потом саял белее и расправил могучие плечи, посидел, чтобы проветриться. На его играющем круглом бицепсе сморщилась, сделала гримасу синяя русалка. «Ах же крепко старик!» — подумал Алексей Иванович, оглядывая исподтишка широкую грудь Силы Саввича, совершенно лишенную волоса, и две рядки мускульных подушек на сильном и по-молодому поджаром животе. Верно, и другие подумали так.

— Ну, дай бог, — сказал Сила Саввич, — простите, товарищи: перекрещусь по-стариковски.

— Стужа вон какая, крестись, — разрешил Жучок без улыбки. — Не разум тебя крестит. Сердце крестит.

Сила Саввич перекрестился, шагнул к борту и выбросил вперед мускулистые руки с маленькими, не по его телу, кистями. Матросы и Жучок налегли на другой борт, чтобы лодку не перекисило. Сила Саввич прыгнул в воду вниз головой. Пятки, будто розовые клубки, блеснули в мжуром свете свинцового дня. Вода взграла, взлетели брызги. Тело Силы Саввича исчезло в студеной воде, потом поодаль показалась его голова с облепившими ее волосами.

Сильными саженками Сила Саввич подплыл под корму «Силачка», схватился руками за красный руль-жабру.

— Я поше-о! — крикнул он, оборота лицо к лодке, набрал в грудь воздух и погрузился в воду.

Пршла минута. Может, больше? Алексей Иванович нагнулся над часами Силы Саввича, стеклянным голоском тенькающими на скамье, среди его белья. Золотенькая стрелка рычками бежала от деления к делению по маленькому кругу. Секунда, другая...

— Выходит! — крикнул Жучок.

Невдалеке от лодки колыхнулась вода и упруго выбросила Силу Саввича почти по самый живот. Он откинулся на спину. Грудь его ходила, как мех. Волна лизала его помертвевшую кожу, всю в сетке озноба, его коричневые соски и тяжелые волосы.

Он перевернулся на грудь и двумя локтями достиг лодки.

Вытащили. Сила Саввич стоял на дне лодки, поплясывая, а Жучок и Алексей Иванович растащали его тело триковыми подштанниками капитана. Лестом Алексей Иванович накиннул на него тулуп, Сила Саввич сел, попросил разжечь трубку и сказал небывало звонким голосом:

— В шайбе канавки нет. Ну, матросы, валяй в очередь! Надо гайку свернуть, завинчена намертво. Ключ бери и кувалду, так не отвернешь. Отвернем гайку, снимем шайбу. Валяй, матросы.

А скромные паренки уж раздевались. Разделались, постеснялись маленько, прикрывая причины, потом один взял ключ, другой — кувалду. В воду они сваялись, как ребята, — с вывертом; один угля боксом, плашмя ударившись о воду, другой ушел в глубину мешком. Лодка стояла теперь у самого руля «Силачка», видны были в воде пятна волосатых голов и смутная растекающаяся белизна спящих в глубине голых рук. Послышались из воды удары металла о металл.

Алексей Иванович в нетерпении встал на ноги, стал снимать гимнастерку через голову.

— Я с вами пойду! — крикнул Скосуров и так дернул ворот рубахи, что пуголки полетели.

— Идем, Скосуров, — сказал голос Алексея Ивановича из-под рубашки.

— Незачем вам идти, — прбурчал Сила Саввич из своего тулупа.

— Почему незачем?

— Расточительство власти.

— Ничего, ничего, Сила Саввич, разве не видишь: душа горит.

Удары металла о металл прекратились. Головы матросов толкачиками выскочили из воды в одно и то же время. Пока матросы, бубукая губами, взбирались на лодку, Сила Саввич снял тулуп, чтобы отдать его матросам, и закутался в пальто. Алексей Иванович взял кувалду.

— Богатый ты на тело, — сказал Сила Саввич, глядя на Башлыкова, — богаче меня. Тебе бы на морском флоте служить.

Скосуров, наоборот, на тело был неприятный: гнутая спина, вобранная грудь, над несетыми ключицами индюшачий зобок.

— Как, подается? — спросил он, беря ключ.

— Не подается еще. — ствистили матросы виновато, — вст окаянная!

— Она хозяйина ждет, — хвастливо сказал Скосуров и осклабился. — Ну, как, товарищ Башлыков, рассерчаем?

Сни прыгнули одновременно, набрав воздух так много, как только могли. Вода, расступясь, ожала все тело Алексея Ивановича, утробным звуком запела в ушных перепонках. Потом сила ее податливости иссякла, Башлыкова потянуло вверх, шатнуло к Скосурову, он бедром напоролся на ключ в его руке. Они склепались за винт. Раскрыв глаза, Алексей Иванович в мреющем смляном свете увидел тушу кормы «Силачка», увидел гайку в свежих царапинках от ключа. Скосуров, нереальный, как медуза, ловко наложил ключ. Алексей Иванович, преодолевая исполнскую силу воды, ударил по ключу кувалдой. От этого движения ему

побудилась, что у него сейчас лопнет сердце. Он ударил еще раз. Ему показалось, что ключ повернулся. Уже совсем нечем было дышать. Скосуров, вытянув ноги-стебли, розовым туманным столбом пошел вверх.

Алексей Иванович, чувствуя, что все тело его полно тесноты и муки, тоже вслед за ним вынырнул на поверхность. Здесь он отдышался и сразу увидел желтые, с голубым отливом озноба, тощие ноги Скосурова, навалившегося живьем на борт лодки. Поплыл. Скосуров обскрул к нему голову, закричал счастливым голосом:

— Пошла, тысячу чертей ей в зубы! Пошла у хозяйна!

— Пошла? — закричал Алексей Иванович из воды.

— Пошла, пошла милая-а! Пошла, желанная-а! С первого удара пошла!

Не то, чтобы снять гайку и высвободить шайбу, понадобилось еще нырять Жучку и Силе Саввичу, потом двум скромным матросам. Наконец, лодка динулась к берегу, увозя шайбу, рыская на все дерзющей волне. После холодной воды и влевого напряжения Алексей Иванович чувствовал себя способным горы воротить. Ему надо было на санитарный пункт. Он условился, что ему повезет, когда канавка будет готова и винт в «Силачке» калажен.

Вдруг рука его, помятая на неудачной посадке, так разболелась, что хоть криком кричи. Врач помял его мышцы, пощупал кость, сказал, что — сильный ушиб и не мешать... Алексей Иванович махнул рукой. Он не хотел знать того, что не мешает. Он знал, что ушиб мешает ему лететь.

И тут же решил плыть с Садовым на «Суворове».

До вечера Сила Саввич позвонил ему, сказал, что на «Силачке» винт в порядке, и «Силачок», с транспортом раненых, уходит вместе с «Суворовым» в двадцать три кольт-ноль.

— Я с вами.

— Слушаюсь.

— Как Леонид Садовый, Сила Саввич?

Сила Саввич помолчал, дыша в трубку. Раздался, спустя минуту, его дрогнувший голос:

— Боюсь, что Леонид как бы уже нет на свете, Алексей Иванович.

Война. Еще одна зарубка на памятке жизни...

XXIV

На «Суворова» Алексей Иванович приехал около одиннадцати. Пароход стоял без огней. На сходнях матрос пошевелил Алексею Ивановичу карманным фонариком. Маленький огонек, похожий на апельсиновую дольку, вялый, с темными пятнами, скользнул по доскам. Алексей

Иванович пошел за этим огоньком. В трюме тоже было полутемно, лампочки в проволочных сетках едва тлели, постукивала где-то в недрах динамика, пахло мокрыми канатами, паром, клеенкой, машинным маслом, но ко всем этим презрительным запахам речного судна примешивались новые, тревожные и бередищие запахи больницы.

Матрос довел Алексея Ивановича до лесенки в первый класс. Здесь, на лесенке, встретился высокий и полный человек с бакенбардами, как у николаевских сановников, и с тем, сильно действующим на людей, покоем в глазах, в жестах, даже в манере дышать, которая бывает только у главных врачей.

Алексей Иванович назвал себя и спросил быстро:

— Капитана этого парохода, Леонида Садового, вы помните? Такой... почти мальчик.

— Он плох, но я не потерял надежды, — ответил врач.

— Надежды на чудо?

— Надежды на его стремление жить. Ведь всякая жизнь — чудо.

Во всех этих словах врача была какая-то привычность выражений и мысли, и вместе с тем они прозвучали ново, свежо и, действительно, способны были вдохнуть надежду, и вдохнули ее.

В это время, без гудка, «Суворов» стал отваливать. Скрипнули кранцы, сжатые между бортами парохода и конторки, гдето молча стали выбирать концы, зарокотал в рупоре невнятный и будто гневный голос. Згзгумела вода под колесами. И всё большое и теплое тело парохода начало вздрагивать и просыпаться к движению, машина заработала во все свои лошадиные силы.

Врач сказал, что тяжело раненные размещены по каютам. Леонид Садовый лежит в каюте номер 2, но входить к нему не надо.

— Я не буду входить, — сказал Алексей Иванович и поднялся вверх.

В коридоре медленно ходил молодой человек в темном халате, поддерживая здоровой рукой забинтованную руку, покачивая на поревязи. Лицо его в кривичевом сумраке коридора казалось черным, только обнаженной болью блеснули глаза.

Алексей Иванович медленно прошел по направлению к салону. У каюты номер 2 он остановился. Машина стучала теперь мерно и бессонно, надолго, где-то плала волна. Раненый прошел за спиной Алексея Ивановича и задержался. Алексей Иванович подумал, что этот человек хочет заговорить с ним, чтобы отвлечь себя от мучений своего тела.

Но в это время осторожно стодвинулась дверь каюты и вышла женщина с пожелтым и отчужденным лицом, в темных очках. Не глядя ей в лицо, Алексей Ива-

нович заглянул через ее плечо, увидел край одеяла, стакан с черной жидкостью на столике и фуражку с золотым значком на сколыше, щегольскую, до сих пор сохранившую свою первоначальную форму.

Леонида он не увидел из-за двери.

Сестра снизу вверх — она была маленькая — поглядела на Алексея Ивановича, спросила:

— Вы что?

— Плохо?

— Он под морфием. Он бредил много часов, не переставая.

— Главный врач сказал мне... — проговорил Алексей Иванович.

— Что ж главный врач, — промолвила сестра, и он увидел, что отчужденность ее обманчивая, что она сдерживает слезы. — Он не может больше того, что в силах человеческих...

Сестра справилась со спазмой, перехватившей ей горло, и спросила спокойно:

— Вы этого мальчика знаете? Он все бредит. Он очень любит одну девочку — Катю. Да, Катю. Где-то есть такая девочка. Если что спасет его, так одна эта любовь к ней...

Алексей Иванович медленно повернулся и пошел назад, к двери на палубу. Внизу, в глубокой утробе парохода, ходил маховик машины, равномерно и надежно. И снова тепло отеческой любви к девочке, судьбы которой он теперь не знал, залило все существо Алексея Ивановича.

Спохватившись, Алексей Иванович обернулся. Юноша с перевязанной рукою стоял в глубокие коридора, ждал. Подойдя ближе, Алексей Иванович встретил взгляд больших черных глаз, внимательных, полных боли и все-таки легких. Алексей Иванович понял, что обманулся. Перед ним была женщина.

— Здравствуйте, — сказала она, продолжая глядеть ему в глаза все с той же легкой простотой, как глядят люди, давно живущие не для себя и не знающие одиночества. — Ведь вы Башлыков? Здешний капитан говорил мне, что вы были там, в их поселке. Я тоже бывала там. Я Опалова.

— Нина Опалова? — спросил Алексей Иванович.

— Та самая, — сказала она без тени самолюбования.

В коридоре был сумрак. Свет от лампы, приزنченной к потолку, белыми, сонными полосками лежал на лакированных дверцах кают. Алексей Иванович вглядываясь в лицо Опаловой. Высокий лоб, черные брови в энергичном разлете, темные глаза с воспаленными и поэтому тяжелыми веками (от солнца? от пороха?), свежий, молодой, немного жесткий рот. Она была очень похожа на свой портрет в газете, только плечи тоньше и легче.

— Я тоже в этом коридоре. Зайдем ко мне?

Он пошел за ней, глядя, как она осторожно ставит ноги на затянутой клеенкой пол, чтобы не шуметь. В каютке она села на постель, он — против нее, в кресло. На столике, у чернильницы, он увидел забытую Силой Саввичем зажигалку. Нина откинулась спиной к стенке, положила ногу за ногу. Было видно, что у нее болит рука: брови ее то лежат спокойно, молчат, то вдруг сдвинутся — закричат; две резкие складки разрежут переносицу.

Алексей Иванович спросил:

— Где ранены, Нина?

— У Элисты.

Он подумал с улыбкой: «Сейчас скажет, что пустыки — царапина». Но она сказала:

— Рука зудит очень, разбит локтевой сустав. Но я, оказывается, умею подолгу терпеть боль. Так вот что, Башлыков, ты кого встречал в поселке? (Она легко перешла на ты, так ей было удобней.) Я там всех знаю. Дарья Машина свекровь мне. Леонида Садового знаю, Силу Саввича. Еще там есть такой бакенщик Охатов, его знаю. Слышал, будто немцы десант сбросили в их районе?

— Да.

— Подробности знаешь?

— Нет, Нина.

— За ребят тревожусь. Видела, Башлыков, много. Грудных детей видела с вывернутыми из плечей ручонками. Совсем недавно, в калмыцком селении, девочку видела, повешенную вниз головой. Лицо черное, как земля, от прилива крови, а волосы длинные запутались в траве. А руки связаны за спиной. Ведь чтобы таких и так убивать, нужно любить, любить убийство. Ты понимаешь это? Любить, наслаждение получать от этого. У меня сейчас двести двадцать три палача на счету, а совесть болит, что этого, который девочку повесил, я еще не поймал: на мушку. Мне кажется, что когда поймаю, то у меня сердце ёкнет.

Она наклонилась, чтобы здоровой рукой подтянуть сапог.

— Очень тревожусь за поселковых ребят, — опять сказала она. — Садовый говорил, что ты у них в училище был. Ты Клашу Машину не встречал? И еще подруга у нее есть, Катя.

— Встречал, — сказал Башлыков.

— И еще есть парень занятный, фамилии его не знаю, а прозвище Выручаккин.

— Озорник? Рыжий такой?

— Не знаю, рыжий ли. Я пристыдила его в письме, а он мне клятвы прислал. Двадцать две клятвы, я сосчитала. «Клянусь победой Красной Армии, клянусь смертью Гитлера, клянусь твоей чужой»

перской винтовкой..» Прямо как лермонговский Демон, только клятвы современные.

Она перегнулась, прижала лоб к столу.

— Может быть, тебе болеутоляющего дать? Я позову сестру.

— Ничего, — ответила она не сразу. — О чем я? О Выручалкине. Ты его знаешь?

— Встречал, — ответил Башлыков и поднялся, заведя руки за спину. На окастистых плечах его натянулась гимнастерка. Он сделал шаг — и уперся в дверь. Повернулся, сделала шаг в обратную сторону — уперся в хрупкий столик у окна. Выйти бы на палубу, на ночной ветер, и шагать без усталости, делая круги вокруг парохода.

Но он опять сдержался.

Черные глаза Нины следили за ним.

— Вот ты какой, — помолчав, сказала она с удовлетворением, поняв, наконец, его боль. — На моего Петра в этом похож. Ты думаешь, добро людям делаешь, если прячешь от них горе? А я не думаю так. Не над одним тобой гроза. Мы все родня. А горе у нас не стоячее, Башлыков, из него подвиги растут.

— Подвиги? — спросил он, полный внутренней борьбы с собою и не отдавая отчета в том, что говорит.

— Подвиги.

Ему понадобилось не меньше минуты, чтобы отойти от мыслей о Кате и вслушаться в то, что говорит Нина.

Она сказала мягко:

— На войне надо уметь верить. Ты верь: Катя останется жива.

— Откуда ты знаешь про Катю?

— Сила Саввич сказал.

— Угадал, старый, — сказал Башлыков, чувствуя облегчение от того, что может теперь думать вслух.

— Угадал, — усмехнулась Нина. — Небось, не большой труд был — угадать?

— Да, — сказал Башлыков, — я хотел удочерить Катю. Я уже не умею о ней думать иначе. Это, наверно, так и случится, если... ее не повесили, как ту девочку, о которой ты говорила, — вниз головой.

Он смаху сел возле Нины. Большие ладони его легли на такие же большие колени и сильно стиснули их.

И то, что он давно не спал, и то, что мучился тревогой за Катю, и то, что Нина была из поселка Кати и он чувствовал ее сейчас, как сестру, — все это подвинуло его на то, что он не умел и не любил делать в жизни — высказывать мысли вслух, в самый момент их рождения.

— Мы называем их бешеными собаками, — сказал он, не отрывая глаз от светового блика на линолеуме, у его ног, — а это неверно, потому что бешеная собака повинуетя слепому голосу

болезни. Чему же повинуются они, люди? Плану, выношенному в самом сердце растленного и жестокого народа, железному плану, разработанному государственной властью, в армейских штабах, в научных учреждениях. Девочка, повешенная за ноги? Убийство младенцев, детей, подростков? План в действительности! Они истребляют детей — зеленую поросль нации. Они истребляют детей, потому что в них — наше будущее. Так был задуман план. Но когда война была развязана и застонала русская земля, они поняли, что не предвидели всего, что нашли у нас. Зеленая поросль нации — не только наше будущее. Она уже — боевое настоящее. Мы — страна, где ходом жизни, ходом революции, ходом всей нашей истории навеки снят вопрос отцов и детей. Дело отцов и детей, чувства отцов и детей — едины. Отцы дерутся на передовой, дети — в зеленых садах своего детства — стоят у станков, рядом с отцами и матерями. Катя страшна для них так же, как страшен рабочий, делающий снаряды, как ты со своей снайперской винтовкой, как любой танкист, любой сапер или летчик. Сады тоже стреляют в эту войну, Нина.

— Сейчас не говори об этом, — тихо сказала Нина. — Я знаю.

Она вытянула ноги, оправила подушку. Он снял с нее туфли. Она легла и зоспаленными веками прикрыла глаза.

— Ты Расскажи мне, Башлыков, всё, что знаешь о поселковых.

— Попробую, — сказал он, стараясь перейти на шуточный тон. — Попробую тебе рассказать о ребятах, товарищ Опадова, автор двухсот двадцати трех фашистских смертей. Итак, на реке Волге, в силу сложившейся обстановки уже не так далеко от фронта, имеется речной поселок, близкий нашему сердцу. Сойдем с пристани. Подъемемся по высокой деревянной лестнице. Первый пролет. Второй пролет...

В дверь поскреблись. Алексей Иванович встал, сделал Опадовой знак рукой, чтобы лежала, и осторожно отодвинул дверь. В коридоре стоял Сила Саввич. Лица на нем не было. Пересохшим ртом он глотал воздух.

— У Леонида упала температура, — наконец, выговорил он. — Врач говорит: ну, вот, теперь жив будет. Врач говорит: попадает еще по Волге-реке...

Махнул рукой, повернулся, пошел, хлопывая себя по карманам: искал трубку.

XXV

Спустя два часа после занятия немцами поселка Катя, Лютов и Евсей Корнеич, застигнутые тревогой в училище, оказались на чердаке столарной мастерской. У них была только одна винтовка, но

патронов к ней много. Винтовкой завладел Лютюв, как лучший в училище стрелок, а Евсей Корнейч, стоя на коленях в тевлой чердачной пыли, раскладывал патроны рядком, чтобы их удобно было брать во время боя. Полотняный пиджачок Евсея Корнейча был весь измаран, на белой бороде висел клок пыльной паутины.

Катя стояла у слухового окна и смотрела на сады, видные до самой реки, на голубое небо в белых барашках облаков, на крыши, крыши, крыши, на трубы, трубы, трубы на этих крышах. Ветер был такой сильный, что песок дымился в желобах и крутился по кровлям сморчки сорванных с деревьев листьев. Уже не было слышно выстрелов; в поселке, незримо отсюда, хозяйничали немцы, переназначивали и мучили русскую жизнь.

Из слухового окна видна была Верхняя улица, пустынная, как выгон.

— Наши подойдут ночью. Это известно, — сказал Лютюв. — Десант большой выбросили, а ходу им нет. К ночи им будет панихида.

— А ты молчи, — сказал Евсей Корнейч.

— Что же молчать?

— Не трать силы на большие планы командования. Береги силу, чтобы спланировать свой маленький долг.

— Слышите? — спросила Катя от окна.

Слышен был шум железных лап, шлепающих по земле.

— Танки, — сказал Лютюв, — легкие, на самолетах перекинута. Ничего нет посаженного. Сейчас они ваши, завтра будут наши.

— Да не танки! — Катя обернулась от окна, завернула прядку волос за ухо, чтобы лучше слышать, — на лестнице стучат...

— Ты на всякий случай винтовочку-то сядь, — сказал Евсей Корнейч.

Лютюв взбрел винтовку на руки, шаркнул к дверному пробою, остановился в тени бора, хохлатого от пыли. Но это был Выручалкин, как они и ждали. Из пробою высунулась его рыжая голова в каске, сдвинутой на ухо. Он озирался глазами совы, ничего не видя со свету.

Катя подошла к пробою и протянула руку. Выручалкин схватился за нее пыльные кисти и вылез из пробою, потер ладони, молча пошел, перешагивая через деревянные балки. Подошел к Евсею Корнейчу, бросил кепку в сторону, сел на пол и сказал, тыча себя в грудь пальцем:

— Связной. Явился.

— Вижу, что явился, — тихо сказал Евсей Корнейч. — Как прошел?

— Плевал я на них! Слушайте, что говорит Охахюв. Обстановка таковая. Десант будем истреблять немедленно. На пристани, как предлагается, тайничок, фамилию того,

кто по нашей части, никому не говорить. Звать его будем Шурка. Это Ванька Шершнев. Водники-партизаны стали в лесу, недалеко, командиром Яков Охахюв. У них пулеметы и автоматы есть. Немцы здесь не задержатся, прут дальше, чтобы выйти из кольца. Охахюв говорит, что брюхо у них пивное, тесно вылезать из колечка-то!

Выручалкин залился, захлебнулся смехом, зажал рот ладонью.

— А ты после будешь шутить, — недоброльно сказал Лютюв.

— Охахюв говорит так, — продолжал Выручалкин, — чтобы наши снайперы и ребят зря не стреляли, а то всех повзвудят, как лещей. Бить надо равнодушно.

— Не равнодушно, а рассчитливо, — поправила Катя.

— Считаюсь с данными боевой обстановки, — сказал Лютюв.

Выручалкин усмехнулся.

— Ученые! Бить надо, когда видишь, что он один идет. И уж так стукать, как Нина Опалова, чтобы не встал. А улицы-то! — он зажмурился от удозовольствия. — Ну, чисто мертвые, калиточка не стукотнет. Я садами шел, так и там ни души. Шел я садами, Евсей Корнейч, слышь-ка, шел я садами, а там под вишней старая бабка сидит, и колун у ней в ногах. Чума ее ешь! Я иду, а она меня манит: «Комсол, — зовет, — комсол, подь-ка!» — «Что изволите, уважаемая?» — «Сына моего, Якова Охахюва, не видели?» — «Да повидаемся как-нибудь на свободке», — говорю. А она, чума ее возьми: «Скажи моему сыну, Якову Охахюву, что Евфросинья на топоре сидит и в дом их не пустит, все сделает хорошо, и чтобы он делал хорошо. Вон какие они мертвые, улицы да сады!»

Катя слушала, склонив голову на плечо. Когда говорил Евсей Корнейч, она не меняя положения головы, переводила глаза на Евсея Корнейча: когда говорил Лютюв, — на Лютюва. Она не боялась за себя, только непрерывно, каждую минуту думала о Лизе.

Вздохнув, она спросила не о Лизе, а о том, где Выручалкин видел Охахюва.

— Ну, где видел! Не его, конечно, видел, а связанного. Такой же, как ты, только чуть похуже.

— Что это я у тебя такая лучшая?

Выручалкин взглянул на нее ненадолго, быстро сказал:

— Да я не про то. А про то, что связанной тоже девчоночка, Клаша Машинна.

— Наших-то много по крышам сидит? — спросил Евсей Корнейч.

— В ремесленном Апкин сидит с ребятами. Вот оказался боевой: уж двук фрицев сбил с копыт. Хочет к Охахюву уходить, как стемнеет. Около аптеки тоже ребята сидят. Да много! Так вот снайперы, по скопленю нет приказа стрелять, только по-одиночкам. Пусть

один Лютов стреляет, у него девяносто из ста, а Катя пусть не стреляет, у нее пятьдесят из ста было.

— У меня шестьдесят из ста было.

— Ну, подождешь, когда будет семьдесят. Девольствие есть?

— Есть пока.

— Эй-темно навсдаюсь, если будет с чем, — сказал Выручалкин, — прощайте.

Катя нагнулась, подняла его кепку и помыла в руках, чтобы сбросить пыль. Выручалкин взял кепку из ее рук, поглядел на донышко, стал надевать бережно, слоено протыгивая. Потом он вздумал выкинуть что-нибудь этакое, чтоб долго помнили о нем. Лицо его пришло в движение. Но он вдруг остыл.

Повторил тихо:

— Прощайте, ребята.

— Да нет, да нет, — всполыхнулся Евсей Корнейч, стер паутину с усов, положил руки на плечи Выручалкина. — Ничего такого не хочу сказать, ничего плохого не жду, а по горячий мы сейчас, по разгневанной ходим: земельке. Поцелую тебя, Василий Васильевич!

Они поцеловались на-крест, по-мужски, подержали за руки. Евсей Корнейч отошел и опять разглядел усы. Лютов махнул рукой, сказал смущенно: «Ну, чего там!» Катя близко подошла к Выручалкину.

Глядя на его губы, она сказала чуть слышно:

— Я тоже поцелую тебя, Вася.

Он зарделся, как маков цвет, потом помертел, зажмурился. Поцелуй их был неслеский. Бледность разлилась по щекам Выручалкина, по его длинной шее.

— Ух, ух! — выкрикнул он несколько раз, подкатился к пробю и нырнул в него, как в прорубь.

Пыль долго еще клубилась в столбах света, встоп клубы ее разошлись, прекратили движение и вкрадчиво, мягко стали оседать.

Катя подошла к окошку, поближе к свежесму воздуху, и села на старенькую табуретку, вынесенную сюда за ненадобностью. У нее были только две ножки и, чтобы сидеть, нужно было упираться ногами в пол. От пыли у Кати зачесалась колеска, она пальцем поведила по нежному шерстяной коже.

— Любит тебя, что ли, парень-то этот? — будто про себя, спросил Евсей Корнейч. Долгую минуку Катя смотрела в доброе, ясное лицо Лозягина, потом задумчиво звистала:

— Любит.

Пришла еще час в томительном бездействии. Лютов вел наблюдение из окна и видел только пустую улицу, да тучки песка, летящие по дороге, да гусака, который на этот раз без гусынь вернулся к воробьям желтого домика, что напротив, и долго кричал, негодуя, свое пронижительное «ае-га», и толорщил крыло, меченное

синей краской, чтобы его, гусака, нельзя было украсть. Наконец, щель калитки раздвинулась, высунулась спелая бабья рука, взяла гусака за шею и втянула в калитку. «Потерял гусынех-то, потерял?» — раздалось среди тишины женское причитанье. А гусак всё скрипел и плакал, и женщина, надо думать, плакала вместе с ним.

Спустил час над крышами встал дегтярно-черный столб дыма, но где горит, отсюда не было видно. Сначала столб стоял прямо, потом медленно начал валиться на сторону, закрубился и потёк. Клубы его, снизу озаряемые огнем, позолотились.

— В центре горит, — сказал Лютов.

По улице, не спеша, шел приземистый бензозаправщик, покачивался на выбоинах дороги. Два немца сидели на нем, свесив ноги в желтых крагах, держали автоматы рылами вперед и злыми, как у молодых грачей, глазками шарили по окнам. За бензозаправщиком, щелкая выхлопами, тяжело шел мотоцикл, третий немец сидел в его седле так картинно, будто снимался для кинематографа.

— Пропустишь этих, — сказал Лозягин, — их трое.

Лютов судорожно повел своими узкими плечами, губы его раскрылись, показав сжатые зубы.

Он промывчал, не раскрывая зубов:

— Успел бы снять всех троих.

— Нужно стрелять в немцев, — звенящим голосом сказала Катя, — нужно везде и всегда стрелять в немцев. Не нужно думать о себе, нужно стрелять в немцев.

Бензозаправщик и мотоцикл прошли. Лютов, облокотясь о край окна, злыми глазами глядел на поднятую ими пыль. Евсей Корнейч погромел в кармане жестяной коробочкой, вынул ее и стал копаться в шариках чуть дрожащим сухим пальцем. Катя, вдруг позникнув, села рядом с ним. Потом ее стало трясти. Отчего? Испугалась? Или озлилась на то, что ушли немцы? Или боялась за Лизу?

Проглатив угольный шарик. Евсей Корнейч положил ей на коленку свою теплую ладонь и сказал безо всякой обиды:

— Я, ребятки, никогда воином не был, но жизни своей на войне не ценю. Я ваши жизни ценю. Надо действовать по инструкции. За одного немца три русских жизни, — это, ребятки, много, так у нас дело не пойдет.

— Да что говорить, — сказал Лютов, — сам знаю, что нельзя было стрелять. Кабы нам еще оружия, а то что, одна винтовка на троих.

— Воевать надо опрятно, хозяйственно, — сказала Евсей Корнейч. — Эта русская-то голая богатырская удалая силушка, она в этой войне не в моде.

Нельзя против машин на кулачки. Это я к тому говорю, ребятки, чтобы русскую силу тратить с умом, а не слугу.

— Евсей Корнеич! — позвал Лютов от окна.

Голос его был едва слышный, но такой напряженный, что Ловягин дернулся и тотчас же кинулся к окну. Катя увидела, как он медленно провел ладонью по плешивому затылку, потом рука его опустилась на шею и замерла там.

— Двое их, — хрипло сказал Лютов.

— Все равно, все равно, стреляй в переднего!

Лютов поднял правое плечо, приложился. Катя услышала стук своего сердца: раз и... два и... три — ударило оно, как счет на лизиных фортепианных уроках. Выстрел бухнул совсем негромко. Евсей Корнеич оттащил Лютова от окна.

— Она тоже упала, — невнятно сказал Лютов, — они сшибли ее с ног.

— Молчи! — шопотом проговорил Евсей Корнеич.

Катя спросила с бьющимся сердцем:

— Кто упал? кто?

— Молчи, молчи, невеста.

Здесь же по крыше ударили пули, как бегер камней. Посыпались с под-крыши комышки засохшей земли, мохнатая глиняная кожа бочва треснула, как зеркало. Евсей Корнеич пригнул Катю к полу, душная, скрипящая на зубах пыль забилась ей в рот. Катя обняла Евсея Корнеича за шею, прижалась к нему, и жизнь будто отошла от нее, наступило «все-равно», покой или такое дикое напряжение чувств, когда уже не слышишь всего тела.

Но это было обманчиво, это был только короткий юморок души. Вдруг Катя отчетливо увидела Лютова, стоящего у пролома двери. Она увидела, что он сейчас будет стрелять в пролом. Евсей Корнеич лег на Катю, заслонил ее, поддерживая себя упертыми в пол локтями. Лютов выстрелил. Застонала ветхая лесенка под сапогами тех страшных, которые шли. Был еще выстрел, и еще, и постом глухой мягкий звук падения тела: это упал Лютов, убитый наповал.

XXVI

Когда бой затих, Лиза отняла ладони от ушей. Она лежала на кровати, лицом в заплаканную, душную подушку. В окне сбе створки были вырваны ударом воздушной волны, на полу и стульях блестя осколки стекла. Самовар валялся под столом на боку, из крана его, журча, медленно вытекала вода. Скатерть, наброшенная на шкаф, щелкала изодраным углом — все двери были распахнуты, сквозняк гулял на свободе.

Веки распухли, и Лиза с трудом разлепила их. «Катя, — подумала она вслух, — где ты?» Вот только хлопанье скатерти

и журчанье воды, льющейся из крана, а во всем остальном тишина могилы.

Но это в ушах, в мозгу Лизы была тишина, а где-то там, в поселке, за Овражной, отдаленно и глухо ворочалось железо — по земле ползали машины войны, доставленные по воздуху. Рокот гуниц был как из не нашего мира и напомнил ей детство, когда далеко за лесом шумели обвалы, и старая бабка говорила: «Эта земля вздыхает, матушка, эта земля негодуется».

Но сейчас Лиза не слышала, как вдали под немецким железом негодует земля. Тишина на Овражной, тишина — горше могильной.

— Катя, — опять позвала Лиза, — где же ты?

Она спустила ноги с кровати, подчавшими глазами оглядела комнату. Из волос ее выпал осколок стекла и, блеснув светом, расшибся на полу. Что ж это за разгром, и где Катя? Кто ее спасет, маленькую девочку, кто ее найдет среди этого разгромленного поселка, взятого в плен?

В окно порывами тянулся сквозной ветер, вот он взбросил с улицы на подоконник комочек смятой газеты, метнул на пол, комочек дернулся туда, сюда — как мышь — потянулся в коридор, ударился о порог. Его, как на ниточке, вытянуло на крыльцо. Лиза проводила его глазами. Вот так и Катя — ветер войны затянул ее, побросал из угла в угол, потом погна... куда? кто спасет? кто защитит?

Глаза Лизы стали сухи. Ее ноги и руки, и шея, и плечи, вся она стала как-то тяжелая. «Я пойду, — сказала она, — и нет силы, которая удержит меня».

Опять она оглядела комнату, где всё было сдвинуто с мест, всё позарено и замучено. Из шкафа вывалился выходной туфелек Кати из розовой кожи, с кожаным бантиком на подъеме — куда он вздумал бежать, глупый? Карта Еврейской России, удержавшись на верхних кнопках, трубкой свернулась по стене. Лиза, делая неширокие, твердые шаги, обошла это кладбище вещей. Ей нужно было взять с собой в дорогу...

Она искала, что ей взять с собой. Но все вещи в этой женской комнате были мирные. И у мирных женских вещей были поломаны кости. Лиза нагнулась и выдернула из самоварного крана резной крантик, зажала его в кулаке, выпрямилась. «Острый», — подумала она. Провела рукой по своему бедру: — «Ну, да, в этой юбке нет кармана. Надо взять сумочку». Она огляделась, отыскивая ее глазами. Крантик, который она сжимала в ладони изо всех сил, будто вливал в нее решимость. Вода фонтанчиком била из дыры в самоварном кране и замочила чулок Лизы.

«Катя, я иду, — подумала Лиза, — не отчаивайся, где бы ты ни была сейчас. Я иду за тобой».

Ей хотелось коснуться чего-нибудь близкого, какой-нибудь самой близкой и драгоценной вещи — некому было сказать ей на дороге: «Иди, она жива, она тебя ждет». Она подошла к столику Кати, чтобы коснуться ее вещей. Но деревянная щеточка, пузырек с одеколоном, черепаховая мыльница были сброшены со стола, разметаны по полу. Она протянула руку, чтобы коснуться хоть следа их. Глаза ее были полузакрыты, а кожа на лице словно стянутая, и словно железные дужки давили на подглазницы. Она коснулась рукой маленькой квадратной темно-красной рамки. «Ты сможешь мне?» — спросила она. Она не удивилась тому, что эта рамка целела и стоит на своем месте. Так было надо, она уцелела, чтобы Лиза могла коснуться ее рукой.

Она спрятала эту крошечную рамку на груди, как женщины всех веков прятали и прячут драгоценные для сердца письма, как сводололюбивые женщины далеких веков прятали кинжал, чтобы поразить тирана. Ей сразу стало спокойнее. С нею и в ней самой теперь была Катя и всё, что для Кати было дорогое и святое в жизни. Она была спокойна и тверда, как взор человека, маленькое изображение которого она теперь несла на груди, как взор этого человека, который чувствовали на себе русские люди всякий день и всякую ночь, в радостях и в печалях, в страданиях и в ликованиях, у колыбели своих детей, у могил своих близких, на своих свадьбах и праздниках, и в шумные минуты успеха, и в черные минуты отчаяния или неудачи.

Если бы она могла подумать об этом, она поняла бы, почему слабая мать в ней стала сейчас сильной. Но Лиза не думала об этом, как не думает о родине человек, умирающий за родину. Он только знает об этом внутренним знанием своим.

Лиза вышла во двор, не притворив за собою двери. Сквозняк обнял ее, скрутил юбку, летучими пальцами пожал локотки, разметал волосы. Будку Штурмана развертывало артиллерийским снарядом, сдуло крышу с сарайчика, где они купались с Катей. Нужно было обходить поленья и доски, раскиданные по двору.

Зашибив коленку, с великим трудом добралась до калитки и вышла на Овражную. И не теряя ни минуты, наклонив голову против ветра, пошла серединой улицы, по немощеной дороге, на которой вихорьки песчаной пыли, то упоительно кружась, то прахом опадая на траву. Из густых лопухов за городьбой выкатился на Лизу огромный колобок. Это был Штурман — весь в пыли, черноседой, с гноящимися глазами и смрадно

пропахший дымом. Правая передняя лапа его, вся в занозах и крови, была разможжена. Он поджимал ее под себя. На его ошейнике болтался обрывок цепи.

Пес проскакал некоторое время рядом с Лизой, тычась ей мордой в ноги. Но она продолжала идти, не замечая его; тогда он проскакал вперед, обернул морду и глазами, заросшими шерстью, стал искать и нашел ее неизвестные глаза. Если бы она захотела разгадать говорящую немому его взгляда, она услышала бы: «Тревога, тревога! Чужие у дома! Окна, двери — настуж, порушены священные устои жизни. Где хозяева? Я должен остаться у дома — а как ты пойдешь одна? Воротись, воротись!»

Он взвился на задние ноги и ударил ее в грудь своей косматой грудью. Лиза пошатнулась, раненая лапа Штурмана замарала кровью ее серенькую клетчатую юбку. Но Лиза отстранила собаку и пошла дальше. Тогда Штурман схватил зубами подол ее юбки и, стоная и рыча от боли, остановил на дороге.

Лиза наклонилась, взяла руками челюсти собаки и бережно, но бесстрашно развела их.

— Пусти, Штурман, — сказала она, — я должна найти Катю.

И двинулась по дороге, пыля туфельками, всё так же наклонив голову против ветра. Штурман сел на задние лапы и глядел ей вслед, поставив торчком искусанные блохами уши. Лиза удалялась, ветер тут же заметал следы ее каблучков на дороге. Опустив уши, Штурман заковылял за нею, поматывая мутной от боли головой и свалив на сторону шершавый язык, с которого стекала розовая от крови слюна.

Улица как вымерла, окна закрыты на ставни, калитки на засовах. Даже у колонки не видно людей — скособочась на неровной земле, стоят два ведра, одно пустое, другое полное, с плавающим в воде деревянным кружком. В траве валялось коромысло, до черного блеска нагертное плечом, и пятнистый котенок, ужасаясь своей безумной отваге, нацелился на воробья, сидящего на колоске. Пустая улица, слепые окна, ни над одной трубой не видно дыма, печи залиты водой, не скрипнет половица под ногой хозяйки, старый дед не выйдет в сад, чтобы ощупать на яблоньках еще незрелые ядовито-зеленые яблоки.

В домике, крайнем к переулку, стукнула форточка, темная кофта мелькнула в окне.

Голос, опавший от испуга, окликнула Лизу:

— Куда идешь, сумасшедшая? Воротись!

Но Лиза, качнув головой, прошла мимо.

То здесь, то там из окон, из-за заборов, из службовых окон на крышах окликали ее сторожкие, негромкие голоса:

— Ворюгись, Лиза! Самому волку в пасть лезешь!

— У пчэты сто человек лежат, побитыэ из пулемета. Ворюгись.

— Ворюгись, тебе кричу! Ступай сюда, сейчас отэмжну калитку. Схоронись!

Лиза не слушала. В конце улицы она обшла эвэрг и стала спускаться к пчэте, ей стало трудно дышать, заломило глазные яблоки. Она подняла глаза и увидела клубы желтого, с черными прослойками дыма, стоявшего над посеками, и ясные языки пламени, лизавшие крышу. Горела почта. Ветер клочил пламя на пустырь, и туда снопами падали искры, светясь и погасая среди пыли. Перед почтой Лиза разглядела ровную цепочку немецких солдат в зеленых касках, увидела редкую толпу и выдвинутые на дорогу, цепенеющие туши танков. Смотреть было больно. Лиза зажмурилась, ей на минуту показалоэ, что всё это не то, не тэ, это не жизнь. Этого не бывает и нет, ей показалоэ, что она сама — дым, и скоро исчезнет без следа.

Но она сломила себя, разжала веки и, глядя в землю, пошла в сторону пустыря, чтобы, обогнув его, выйти к ремесленному училищу. Теперь она видела только мзяккающие носки своих туфель и землю, тихо уходящую ей под ноги: то песок, то бледную, зачашую на солнце траву, то пыльные метелочки с их тусклым, бело-зеленым цветом. Дым стаалоэ кэ этой горькой земле, он полз по коленям Лизы, по ее животу и плечам; одно время она всей кожей ощутила жар близкого пламени, она видела, как у нее осветились ресницы, слезы глаза, но не обернулася на пожар, продолжая идти и внутренним чутьем угадывая правильную дорогу.

Когда она переходила деревянный мосток через ручей, слышались удары о доски собачьих лап, — это бежал за ней Штурман, истекая кровью.

За мостком резкий голос по-немецки приказал ей остановиться.

— Она и здесь не подняла глаз.

— Оружие? — прокричал голос.

— У меня нет оружия, — сказала Лиза.

— Поднимите руки!

Лиза подняла руки. Две широкие ладони похлопали ее по бедрам.

— Куда идете?

— В ремесленное училище, — ответила Лиза, — там у меня учится дочь.

— Нельзя!

— Почему нельзя? — жестко сказала Лиза, все еще дрожа от ощущения тяжелых рук на своих бедрах. — Я у себя дома. Отойдите.

— Что, что? — закричал голос. — Глядеть мне в глаза, русская девка!

Лиза вздернула голову и сначала ничего не увидела от злобы, так сильно ударившей ей в сердце, что заломило виски. Потом она увидела перед собой загорелую широкую морду, усы моржа, чугунные скулы и наркотические глаза привычного убийцы. Их было двое — второй, солдат, держал в руках тупорыльный автомат и косил на Лизу кофейный глаз; другой его глаз был затянута туманной пленкой бельма. Лизе стало легче, что они такие, что они почти не люди. Она вдруг подумала, что сейчас, несмотря на злобу, будет хитрить и это удасться ей. Коленки ее чуть дрожали, но это ничего, сердце ее не дрогнуло.

— Милый рыцарь, — сказала она певучим голосом, — перед вами женщина, которая ищет свою дочь. Могу ли я рассчитывать на вашу помощь?

— Плевать мне на вашу дочь, — гаркнул офицер, — куда важнее то обстоятельство, что вы чисто говорите по-немецки.

— Могу я видеть вашего генерала?

— Что, что? — закричал офицер. — Какого генерала? Марш, марш за мной!

Он повернулся, показав ей свою обширную спину. Солдат встал рядом с Лизой, бельмо на глазу делало его грустным. «Марш», — сказал он тускло. Штурман оскалил зубы и заворчал. Солдат, оглянувшись, поднял свой автомат.

— Не надо, — сказала Лиза, положив руку на его рукав, — это моя домашняя собака. Она добра ко мне.

Солдат ухмыльнулся. Они двинулись вслед за офицером, и Лиза успела заметить, что Штурман, едва плетясь, оставляет за собой на земле кровавый след. «Хорошо, — думала Лиза, — они приведут меня к какому-нибудь коменданту и велят стать переводчицей. Я для виду соглашусь и поставлю условием найти Катю и опустить ее домой». Мысли ее бежали гладко, как металлические шарики по доске. Она думала отчетливо и быстро. «Как они ненавистны! как они самонадеянны! Когда они найдут и опустят Катю, я убогу от них. А если нет? Тогда я вырву у солдата автомат и ударю по голове эту свинью или коменданта. Я ударю, а не выстрелю. Это потому, что я не умею стрелять».

Они шли теперь улицей, такой же пустой и мертвой, как Овражная, но Лиза попрежнему не поднимала глаз. Из переулка в переулок, пересекая улицу, прошли немецкие солдаты, сапоги вязли в песчаной земле. Лиза думала: «Когда они будут меня убивать, я скажу им, что я не последняя. Нас много. Когда они будут меня убивать, я закрою глаза, чтобы не было так страшно и подумаю: Катя,

вот что я сделала. Я сделала всё, что умела и могла».

Таким образом она обдумала всё, что с ней может случиться и что она будет делать в том или ином случае. И это было твердо, это было решено. Ей хотелось, чтобы всё это случилось скорее. Она не знала, что сложившиеся изменят ей, но она знала, что силы ее невелики.

Немецкий офицер шел перед нею, у него был круглый широкий затылок, на логучей шее наложен кусочек черной япильской бумаги, вырезанной в виде обаятельного кружка. На этом кружке сосредоточила всю силу своего ненавистного чувства. Это помогло ей. Она теперь не разбрасывалась. При каждом повороте головы немца кружок шевелился на складке шеи. Это было гадостно. Лизу стало потащивать.

Но тут случилось неожиданное.

Офицер сделал два шага в сторону, бок, заступая одной ногой за другую. Сильные плечи его поднялись, шея вывалилась за воротник. Он медленно сел на землю, упершись в нее ладонями, потом стал встывать на бок. Звук выстрела только мог дошел до сознания Лизы.

Падая, офицер вскинул руку. Из глаза его фонтаном хлестала кровь. Лизе показалось, что он хочет поймать ее за колени. Она вскрикнула, шатнулась в ужасе и смражении. Едва не сбила с ног солдата с бельмом, тот выругался, как проказлила, ударила ее коленкой в бедро. Лиза упала.

Через голову ее, близко от лица, пролетела комматая туча. «Господи, господи!» — вскрикнула Лиза. Солдат с бельмом, выронив автомат, крутился и рычал, руками стараясь сорвать с себя Штурмана. Автомат, падая, ударил Лизу по ребру, в глазах ее потемнело.

Потом она услышала разливный, широкий стук выстрелов. Маленькая уличка, поросшая травой, была полна солдат, они были везде, впереди, сзади, по сторонам — так показалось Лизе. Они вели огонь по крыше каменного дома, обсаженного с улицы липами. На землю сыпалась штукатурка, каменная стена дымилась извещкой. Лиза уткнула голову в колени, закрыла ладонями уши.

Когда всё кончилось, ей сказали:

— А вставай-ка, белокрысыя ведьма!

Она встала. Офицер, спиной прислоненный к тумбе, лежал оцепенело и дурно. Пустыня глядела из его остановившегося глаза. Возле широких подошв его сапог валился вкособоченный неподвижный Штурман. А солдата с бельмом не было. Были другие солдаты. Один из них, низенький, рыжий, с лицом бутылочного цвета, наступил сапогом на ногу Лизы и сказал:

— За мной, за мной, марш, марш!

Лиза пошла за ним, как в темноте —

поводя протянутыми вперед руками. На какую-то долю минуты ей пришлось поставить ногу у самой головы Штурмана. Пёс открыл заперошенный пылью глаз и лиловым спекшимся языком лизнул туфлю Лизы. Лапы его дернулись и стихли.

Но Лиза не заметила этого. Пошатываясь, поводя руками в воздухе, она вдруг подумала о себе с былой своей беззащитной торжественностью:

«И занавес упал!»

XXVII

Все немцы уже были для нее на одно лицо. Так ей было лучше думать о них, потому что она могла не разбрасываться: она знала, что силы ее невелики, а сделать ее нужно непомерно много. Этот немец, что сейчас сидел за столом в светлой комнате, был меньше и тоньше офицера, убитого на улице, но это не составляло ровно никакой разницы. Все они были, как крысы одного помета: одна пожирней, другая послабже, третья порезвей, но у всех была хватка крысы, глаза крысы, резцы крысы, прожорливость и изглость крысы. Они и организованы были, как крысы, подлым инстинктом разбоя.

Это пришло ей в голову еще днем, когда немцы вели ее по улице. Тогда сознание ее было огуленно стрельбою, в себе самой она не находила защиты. Всё, что бросалось ей в глаза, тотчас будило дикие образы, неизвестно из чего и откуда возникавшие. Немецкие солдаты, друг запрудившие тесную улицу, представились ей крысами, напавшими на чужие закрома. Перед нею разорванными лоскутками развернулся давний ленинградский день. Однажды, идя с Михаилом по пустынной набережной, она увидела, как от хлебных амбаров катятся к Неве на водопой жирные, величиною с кошку, животастые крысы — их было много, тысячи; они шагали правильными, стройными рядами, в спокойном сознании своего мисжества, и тусклый свет ленинградского вечера светился в зеленоватой седине их раскормленных спин. Это теперь ей кажется, будто Михаил сказал тогда, что крысы похожи на немецкие regimenty. Да не все ли равно, сказал или нет? Теперь она знала, что это так, и все немецкие крысы стали для нее на одно лицо.

В светлой комнате ремесленного училища (вероятно, в директорском кабинете) стол был отодвинут от окна к глухой стене. За ним сидел немец в чине полковника, — крыса средней упитанности, как подумала Лиза, и все-таки главная здесь крыса. Ноги на его руках, неживых, не выразительных, не умеющих передавать движений души, были отделе-

ны, покрашены и отлакированы, как у потаскушки среднего пошиба: старательно, но безо всякого шика. Глаза, подобно глазам наившегося грызуна, были лишены хищного блеска и не отражали ничего, кроме истомы пищеварения, совершавшегося в тайниках его немолодого брюха. О-бок с ним сидел тоненький в талии офицер, женственный и насмешливый — вполне еще юная крыса, очень активная, но сдержанная, которой не даст покусать, но которая накусается вволю, как только ей будет это дозволено. Он смотрел на Лизу неотступно, с жаром в зрачках, пытаясь, вероятно, смутить ее. Крысиные глазки его были явно несыты, а маленькие черные усики прыгали, как заводные. Она чувствовала его взгляд на своих волосах, на шее, на груди, и ей казалось, что черные усики тоже бегут по ее телу.

Лиза передернула плечами.

Она сидела сбоку от стола, на кресле, сбитом изношенной клеенкой. Поджала ноги, руки уронила на колени. За спинкой ее кресла стоял часовой, безукоризненный и выделанный, как статист в бездарном театре.

Полковник наклонил голову в сторону адъютанта. Тот франтсватым голосом велел ввести партизан. Лиза не подняла головы, все натянулось в ней тугий стрункой. Вот они вошли, двое. Среди них — она. Лиза ждала ее тихого вскрика — быть может, обморока. Она не вскрикнула. Она промолчала. Когда Лизе два часа назад сказали, что приведут ее, она тоже промолчала, не вскрикнула. Полковник негнущимся пальцем толкнул чернильницу. На столе, на широком листе промокательной бумаги, лежало пятно солнца. Полковник пальцем обвел его край. Он делал много лишнего всцей: всё мешало его пищеварению. Лиза слышала, как у нее хрустнули тесно сжатые пальцы.

Прошло с полминуты, пока полковник сказал, подняв нелюбопытные глаза на Лизу:

— Опросите их имена.

Лиза, не поднимая глаз, сказала немного хриплым, но неторопливым голосом:

— Я здесь нарочно, Катя. Мы будем сговариваться, а я буду переводить, как им нужно. С тобой кто?

Она подготовилась к этой минуте, и все-таки эта минута оказалась ей не под силу. Эта минута решала все: всегда ли, во всем ли Лиза и Катя были вместе, вместе ли дышали, вместе ли плакали о Михаиле, вместе ли видели небо и землю, вместе ли ходили по счастью и горю? Эта минута решала, поверит ли ей Катя сразу и, значит, решала жизнь или смерть их двоих.

— Отвечать! — закричал молоденький офицер так пылко, что Лиза вздрогнула.

И услышала едва внятный, совсем беззвучный голос Кати, сказавший медленно:

— Со мной Евсей Корнейч.

— Евсей Корнейч Ловягин, — громко повторил мастер.

Лиза бегло взглянула на них. «Поверили!» — отозвалось в ней. Плечи ее опустились. Беглым взглядом она не успела схватить ничего: разве только морщинку под глазами Кати и разбитую губу Ловягина, его бородку в спекшейся крови.

Она перевела быстро, сухим и официальным голосом:

— Девочку зовут Катя, она ученица ремесленного училища. Гражданина зовут Евсей Ловягин, учитель этого училища.

— Почему они стреляли в немецкого офицера?

Все так же не поднимая глаз, чтобы не потерять вдали, Лиза сказала Кате:

— Ничему не удивляйся, что я скажу. Я видела Выручалкина. Ни в чем не признавайтесь. Ночью Выручалкин приведет людей Охахова. Говори мне что-нибудь быстро.

— Мамочка, я совсем не боюсь их.

— Не бойтесь за дочку, — сказал Евсей Корнейч, шепелявя: у него недоставало двух передних зубов. — Пока я жив, волоска не упадет с головы ее.

Лиза перевела:

— Они говорят, что не стреляли. Они спрятались на чердаке, очень испугались. Смотрите — ведь маленькая девочка и старик! А стрелял только тот мальчик, у которого была винтовка. Его же убили. Они были в училище, когда начали входить немецкие войска, и очень испугались.

— Чему я искренно удивляюсь, — сказал полковник, показав платиновые зубы и с видимым добродушием откинувшись на спинку кресла, — так это собранности русского языка. В двух словах маленькая девочка и сильно, кажется, побитый старик находят возможным изобразить довольно широкую картину своего испуга, своего укрыванья на чердаке, причастности к убийству мальчика с винтовкой и, наконец, своей полной непричастности к этому грозному по своим последствиям акту. Видимо, ваш язык состоит из слов-иероглифов. А? Как вы думаете, Нагель?

Тонкий Нагель, не сказав ни слова, рассмеялся резко и продолжительно.

Лиза, пожившись, проговорила бесстрастно:

— Вы ошибаетесь, господин полковник, наш язык широк. Но обо всех подробностях убийства говорили ваши солдаты на улице. Они же могут свидетельствовать, что эта девочка и этот старик не стреляли.

— Хорошо, продолжайте. Кто был тот убитый гаденыш с винтовкой? Они его знали?

— Лиза, они били Евсея Корнеича прикладом в рот, — дернув уголком губ, сказала Катя.

— Молчи, молчи, Катя...

— Ты всё поняла, что я тебе сказала?

— Мы всё поняли, дорогая моя, всё, — ответил Евсей Корнеич, придержав Катю за плечо; лицо его стало прозрачным, изжелта-восковым, он вдруг пошатнулся на ногах, протянул вперед руки с раскрытыми ладонями, и плашмя, не сгибая колен, упал на них. Его стал бить кашель, голова его несколько раз с глухим стуком ударилась о доски пола. Было жалко глядеть, как ходят под его пиджаком острые лопатки. Потом в груди его заклокотала мокрота, Евсей Корнеич выплонул кровью.

Катя села подле него, положила руки на его плечи и подняла глаза на полковника. В ее глазах была темнота. Она сказала звенящим голосом:

— Этот человек умирает, помогите ему.

Лиза, машинально шевеля помертвевшими губами, перевела ее слова на немецкий. «Этот человек умирает, — перевела она, — помогите ему».

Полковник поставил указательный палец стоймя, поглядел на него с минуту и безо всякой усмешки сказал конвойным:

— Этот человек умирает, помогите ему умереть. Уведите и барышню.

Лиза закрыла глаза, чтобы не видеть, как уводят Катю, как солдат, ухватив Ловягина подмышки, волочит его по полу, нажав тупым подбородком на затылок своей жертвы. Каблуки Ловягина, волочась по полу, издавали скрежещущий длинный звук, потом было слышно натруженное дыхание солдата, потом Лиза вздрогнула: ей показалось, что Катя сказала: «До свиданья, Лиза», но этот голос был так слаб, так зыбок и неверен, что, может быть, Лиза ослышалась.

Дверь притворили. Уже все звуки были теперь вдалеке. Полковник потрясывал ногой, отчего ручки и карандаши в плазгмассовом стакане, стоявшем на столе, стукались друг о дружку. Но и этот звук казался Лизе далеким.

«Мне ни до чего нет дела, — сказала она себе, — мне только нужно ее спасти». Она была надине с собой, с своим желанием спасти Катю, а вокруг нее были крысы, мелкие, малые, большие и огромные. Быть может, она была на пороге бессознания, ей опять представились регименты крыс, катящихся на водопой через гранитную мостовую, через сточные канавы, через бревна на набережной, уложенные близ воды. Ей представилось, что крысами полон домик на Овражной,

который она бросила: они грызут канье-вое одеяло на их постели, их платья, их обувь, они грызут их жизнь, израненную войной и все-таки живую, а в живой жизни всегда залог и возможность, и величие счастья. И ей представилось, как сонмы крыс грызут сейчас дома поселка, его сады с тяжелыми плодами, склонившими ветви долу, с его пунцовыми вишенниками и алыми малинниками, — она увидела длинные поганые хвосты, покрытые чешуйками и оставляющие в пыли змеящиеся следы-дорожки; и серомолочные брюха, устроенные так, чтобы алкать и жадать, и острые зубы, устроенные так, чтобы прогрызть дерево и камень, дуб и железо; и жесткие подвижные усы на острых мордах, и ноздри, свирепо втягивающие воздух, и злые глазки, словно иглой пронзающие мир чужого достатка. Но теперь, когда нужно было спасти Катю, она не боялась крыс.

Это хорошо, что она посидела с закрытыми глазами. Это естественно: она хрупка на вид, у нее нервы комнатной женщины. Крысам это должно нравиться. Она провела рукою по волосам. Она почувствовала свою грудь, рисунок мышц у подмышки. Крысам это должно нравиться. Она придумывала, что сказать Нагелю, прежде чем открыть глаза — безошибочным чутьем она знала, что Нагель опасен.

— Мадам, — сказал в это время Нагель.

Голос его был вежлив, интонация опрятна и воспитанна. Но он не обманул ее. Она в испуге открыла глаза. Нагель смотрел на нее немного искоса, с выжидающим, как смотрят на мыльный пузырь, который вот-вот лопнет.

— Мадам, — учтиво сказал Нагель, шелохнув чернышками усиками, — произошло досадное недоразумение. Дело в том, что я немного понимаю по-русски.

Он встал, подошел к Лизе, неслышно ступая. Она поднялась ему навстречу. Он взял ее за кисть и медленно, с запасливой коварной силой стал выворачивать ей руку. Лиза перегнулась в пояс, упавшие волосы закрыли ей глаза, ей показалось, что плечо ее разорвалось. Из-за лифчика Лизы выпала красная четырехугольная рамка, сверкнуло стеклышко, мелькнуло лицо, родное, как собственное сердце. «О, Сталин!» — сказал Нагель, нагнулся, поднял рамку и, остро поглядев на портрет, бросил на стол перед полковником. На короткую минуту боль в плече отпустила. Лиза вздохнула, как после обморка, зрачки ее расширились, она сказала про себя, потому что сказать вслух у нее не достало сил: «Я не боюсь вас, поганые крысы!»

XXVIII

Башлыков сидел на корме «Суворова» и, облокотясь о белые перила, упершись локтями в гибкую проволочную решетку, думал о том, как велика в человеке сила жизни. Сегодня в ночь миновал кризис, Леонид остался жить. Сила Саввич, стояв вахту, бурча и глотая дым, сказал, что спустится в каюту отдохнуть. Да нет! Просто пошел пореветь на радость. «Как это он там ревет, двужильный?» — подумал Башлыков; представить себе это было просто невозможно.

Время клонилось к вечеру, густели краски зримой природы, глубже и выше казались небеса с дымчатым, вечноим, едва обозначенным серпом нарожденного месяца. По левую руку тянулись зеленые и синеватые горы с меловыми осыпями, с широкими поясами глинистых отложений; по правую руку — окошечные поля с редкими озерами, с бурными пятнами кохозных стад. За кормой, за белой лодкой, вздернутой на цепь, видны были важные водные холмы, двумя равными рядами идущие от колес, а там, по песчаному берегу, бежала старательная бесшумная волна, накидывая на песок кружево пены и посверкивая своей прохладной спинкой.

Алексей Иванович слышал, как внизу, на корме, два легко раненых солдата говорят о природе, облокотясь о борт и глядя поясневшими глазами на отрядный мир земли. Оба они были немолоды и бледны от болезни, и один из них (у него сильно запали щеки) говорил с той печальной любовью, с которой русский человек, близкий к земле, говорит о ее красоте и силе:

— А то, среди июля, справишь снаряд, сидишь в лодчонку, один, и — на линия, в затонишки. Нерест у линия летний. Лодку-то чуть-чуть ведешь, шопотком, — не в голос. И вот он, затонишка, — весь в зеленых колычках, в прыске, только кой-где погуще она, кой-где пореже, а вода зеленая, на глаз проходчивая. Сиди-гляди, да послушывай. Тут он — вжик! — и мелькнет тебе перьями, выстает наружу, кувьрнется, золотистый такой с протемнью, как из меди литой либо с бронзы. А за ним другой, а за другим третий. Как прыдут шугать, вертеть, хороводит под рядком, только листья от водяных лилий пошолокживаются. Сиди-гляди, да послушывай. Ну, браток, нет того быстрого зрелища, как линия летает! Ах, проворливый, ах неунытный! А как подденешь его, то веди плавно, содрогайся, а власти не выказывай — веди его, как жену об руку ведешь, по-любю, по-любю. Веди медленной потаской, он резкой потаски не выносит. А вывел, сажом его — коц, тут и был бабы!

Рассказчик засмеялся теплым, мягким смешком, и Алексею Ивановичу почудилось, что впавшие его щеки зарозовели, словно приманив здоровье. Второй раненый тоже засмеялся с сочувствием, потом огладил ладонью круглую, низко остриженную голову и сказал в свой черед:

— Мне, как механику, баловаться этим никогда нет время. Но мальчишком у нас, в Старой Руссе, я сомов лсвал.

— Сом рыба тяжелая, — сказал первый.

— Тяжелая рыба сом. Мы, рсбятишки, его на натирку ловили, может, слыхал? Это деласшь так: надеваешь на кисть руки ременную петлю, к петле приделываешь палочку, а на палочке леска, а на леске крючок, а на крючке горох. Снимаешь штаны, задираешь себе рубашку поверх пупа и со всем этим снаряжением — в воду. Боязно, конечно, а терпишь. Как попал в речку, так одно знай: натирай нсгами дно, мути воду. В эту замученную воду и кидай леску с грузом — обязательно сом попадетсЯ. Я мальчишком каких выуживал, и сказать не хочу, а то подумаешь — брехня. Вот у нас там был случай: мальчишка потонул. Потонул и пстонул, нет его. Потом, спустя время, нашупали его рыбаки. Вытащили тело, глядят: к руке палочка привязана. Стали тянуть леску, много силы приложили, вытянули сома, а в нем пять пуд. Вон какой! Утопил мальчишку. Я не брешу, мальчишку Сережку Стриганком звали.

— А ссма? — спросил первый раненый.

Рассказчик помолчал. Потом рассмеялись оба.

До ночи Алексей Иванович вместе с Ниной Опаловой, которой было легче (или она бодрилась), обошел весь парход, от штурманской рубки до машинного отделения. Его и ее томило это медленное плавание, эти зайные ясные светом берега, лениво разворачивающиеся перед ними панорамы осенних красок.

Иногда она принималась рассказывать о крымской земле, где начала боевую жизнь. Говорила мало, а перед глазами Алексея Ивановича с живостью — как вот эти волжские берега — вставал далекий крымский край, где природа нагромодила груды скал, пригорков и сопок и выстала земляные впадины между ними зелеными коврами трав. Он видел белый город, исломанный фашистскими бомбами, и террасы его улиц, и скалы в бухте, ствечивающие розовой играющей водой. И ясно представляла себе Нину, лежавшую в зарослях казацкого можжевельника. Над зеленою кустарника, над лиловыми шариками семенника дрожит и зыбится, и колыхается воздух. И жизнь все уже, все тесней, она сошла, как в точку, в одном желании: поймать фашиста, убить, уничтожить. И сл ощущал тоску ее паль-

ца, потрагивающего спуск, озноб его не терпения, обузданного усилием воли.

Скажет несколько слов — и свернет на другое. Рассказала о том, как в камысичных степях ночью шли фашистские танки, и как гремели железом и били из пушек, и сухая пыль, поднятая ими, озарялась вспышками выстрелов. И как горели. И как товарищ — в ночи — сжал ее руку поверх локтя. Ничего не сказал, а только сжал. И этим всё сказал, за себя и за нее, всё что было на сердце: бойцовское, заветное, на что цены нет. Не хозяйничать немцу на русской земле, не сидеть в Севастополе, не оседлать Волги-реки! И вдруг, помолчав, рассказала о муже так, что он показался Алексею Ивановичу давно знакомым.

Видимо, она говорила только о важном для себя, о выстраданном. Поэтому и слова у нее были отборные, — скупые, но самые лучшие слова.

Когда Алексей Иванович вместе с Силой Саввичем стояли у двери Леонида, (впустили только Нину «помолчать две минутки»), Сила Саввич сказал о ней:

— Богаты мы на женщин, Алексей Иванович. В узкой душе только самое обиходное помещается, ну там: любовь к ребенку, к хозяйству, малость к работе. А широкая душа своего ребенка любит не только как кровного ребенка, а еще как сына государства, а? Это я к примеру говорю.

— Вон как ты заговорил. Сила Саввич, — пошутил Алексей Иванович. — А я то думал, что ты женоненавистник.

— И я так думал.

— А теперь?

— Теперь болтаив стал, — сердито проговорил Сила Саввич, побуркал в усы, и вдруг опять просветлел. — От радости болтаив: племяша моего из омота вытаскивали!

Да, племяша вытаскивали из омота смерти, а что там, в поселке, где Башлыков оставил свое отцовское сердце? На одной из пристаней Башлыков узнал, что немецкий десант своей диверсионной задачи не выполнил: даже не сумел подойти к промышленным предприятиям, расплосканным в районе выброски. Дежурный, заросший курчавой бородою, сказал, ладонями протирая глаза: «На испуг норовят взять, авантюристы. Да русский человек и в тылу не пуглив. Бита из карточка. Как ни ломят, ни прут к Волге, а всё тузы — в наших руках. Защемили этот десант где-то возле Волги».

Но разбит ли он уже, оставил ли поселок или еще сидит там, огрызаясь и отлаиваясь, этого никто не смог сказать утвердительно. «Суворов» пошел дальше, намереваясь, как и прежде, выгрузить раненых много ниже поселка, на большой торговой пристани Зеленая Лука.

После вечернего обхода врачей Алексей Иванович пошел в салон на корме, откуда была вынесена вся мебель и поставлены койки для легко раненных и контуженных.

Обыкновенно в этот час перед сном здесь завязывались задумчивые разговоры о том, что близко людям в дни всенародной войны: о смерти не как о глухой яме, в которой задохнешься навеки, а как о мостике, по которому те, кого ты любил, которых защищал и за которых отдал душу, пройдут в угоды ничем не угрожаемой жизни; о любви женщины; о терпеливом и бестрепетном ожидании жен, и о легких изменах других жен, о семье с крепкими узами и семье без всяких уз или с одной болтовней об этих узах.

Когда на отвальной пристани раненных погружали на «Суворова», пришла последняя почта, и уже на утро письма rozdali по рукам. Счастливец оказался мало, фронт был слишком подвижным, и почтовая почта не успела за передвижением адресатов. В салоне второго класса письма получили только двое: молодой сержант Сахаров, большой детина с мягкими, всегда влажными губами, с думающим, не просто глядящими глазами, раненный в ключицу и худенький, Сиянтянин из Ташкента, раненный в левый глаз, очень разговорчивый и по речи мягкий.

Оба они, как то водится в военных лазаретах, сначала прочли свои письма каждый втихомолку, потом сунули их под подушки. Глядя в потолок, каждый сам по себе переживал прочитанное. На белом потолке, преломленный через стекла, играл и реял свет воды, и вдруг погасал, когда пароход подходил близко к правому берегу. Это движение света на тонком и ребристом потолке помогало думать и переживать.

По той деликатности, которая является законом для мужчин-воинов, сторванных ст семей, никто в лазарете не спрашивал. Сахарова и Сиянтянина, что им пишут жены, а каждый старался себе представить, что он испытывал бы сейчас сам, если бы получил, как Сиянтянин или Сахаров, письмо из дому. Впрочем, каждый знал наперед, что по истечении некоторого срока письма будут обнаружены: путем ли чтения вслух, или путем переказа; законы души действовали в лазарете так же неизменно, как законы внешнего распорядка или законы лечебного режима.

Еще среди дня, проходя по балконе, Алексей Иванович увидел через широкие окна: Сиянтянин и Сахаров сидят рядом на койке, разглаживая каждый на своем коллеге конверты полученных писем. Тогда же ему бросилась в глаза живая выразительность рук Сахарова. Пальцы у него были короткие, рубленые, очень

спкойные и говорили о прочном равновесии его нравственных сил. Он медленно говорил, касаясь плечом Синтянина. Губы его плавали в широкой улыбке. Окснная рама была спущена.

До слуха Алексея Ивановича долетели его слова:

— Возмужал мальчонка. Да вот... как бы это сказать? Ровно бы другой человек его персом водит. Когда я еще в санбате лежал, пришла мне мысль: «А ты другим стал, Сахаров». Помню, поднял руку, гляжу — будто другая рука, и своя, да новая. Был я слесарь, а теперь стал бывалый солдат. Ну, а когда о семье подумашь — всё такими же представляются, как ты их оставил. А получишь письмо от братишки, и будто не год прошел, а пять лет. Я в его годы жил, ручьем растекался. А у него ум сжатый, на фашиста нацелен. Он и гайку крутит так, будто петлю на фашисте затягивает. В душе мальчонка, а каждым поступком своим — тоже солдат.

— Моя жена в партии уже, — оживленно сказал Синтянин, — вона! Дочь — в комсомоле. Я на фронте вступал, думал — приеду, убеждать буду.

Перед вечером, когда Алексей Иванович сидел у Силы Саввича в штурманской рубке, к ним поднялась Нина Опалова — проститься. Ленивый ветерок вальсировал на розовой в вечернем свете палубе. Придерживая полу халата, Нина своей прямой походкой пробежала от лесенки до рубки. Краснота и опухлость ее век стали, кажется, исчезать. Жучок приветливо улыбнулся ей от своего колеса.

— Посидела бы здесь с вами до зари, — сказала Нина, — да дисциплину нужно помнить. На Зеленой луке перед светом будсм, ты — Башлыков, видно, сразу уедешь. Не увидимся.

— Желаю тебе руку так залечить, чтобы сильнее прежнего была, — сказал Алексей Иванович. — Чтобы немцев еще крепче била. Чтобы, когда мир придет, здорвенного младенца качала эта рука. — Это обязательно, — сказал Жучок от колеса.

Грусть прошла в глазах Нины. Тряхнула головой, улыбнулась, показав яркие зубы. Минутку так и побыла с полуоткрытым ртом, вдыхая чуть влажный, прохладный ветерок. Потом вынула из кармашка пухлый конверт, перевязанный бичевкой.

— Отдашь ребятам на поселке, — проговорила она, протянув конверт Алексею Ивановичу. — Здесь не одна я пишу им — раненные тоже пишут. Им, некоторым, долго лежать, пусть у каждого заведется дружок или подружка.

— Если целы сны там у нас, дружки и подружки, — строго сказал Сила Саввич.

— Целы, — так же строго сказала Нина, — солдат много смерти видит, а в смерть не верит. Он верит в то, что жив будет.

— Это верно, — отозвался Жучок со своего поста.

Сладкий дымок полетел из трубки Силы Саввича. Гремела цепь при каждом движении рулевого колеса. Нина сказала:

— Прощай, Башлыков. Встретимся, думаю, не раньше, как до немецких границ дойдем.

— Может, и раньше доведется, Нина.

— Поцелуемся.

Они обнялись. Она ушла. В провале лесенки исчезли ее легкие плечи под коричневым халатом, низко подстриженные, расчесанные на пробор воронные волосы. Все трое думали о ней, а говорить не хотелось. Ночь Алексей Иванович провел на скамейке у рулевой будки, подая Силы Саввича.

Перед самой зарей Сила Саввич сказал:

— Если дом мой цел, придешь ко мне чай пить. Понимаю я всего тебя, Алексей Иванович, от фуражки твоей до сапог твоих. Чай-то крепкий любишь?

Алексей Иванович ответил:

— Крепкий люблю.

На заре «Суворов» подчалил к Зеленой луке, где началась выгрузка раненных. Уже в пристаньской конторке от дежурного стало известно, что немцы очистили поселок и в двадцати километрах от него на запад разбиты наголову.

Алексей Иванович взял катер. Спустил два часа, катер вышел на стрележь. Голубое утро смотрело Алексею Ивановичу прямо в глаза, и глаза его слепли от этого неиссякаемого безграничного света. Голова его была тяжела, и он знал, что сейчас заснет, привалившись к моторной будке. Он хотел представить себе лицо Кати, но это не вышло. Вместо этого очень ясно встало перед ним бескровное лицо Леонида, как он видел его час назад — прозрачное лицо, которого снова коснулось одушевление. Алексей Иванович попытается вспомнить о том, что Леонид просил передать Кате. «Обязательно взять деньги в левом ящике шкафа... в левом шкафе ящика...»

Алексей Иванович спал, и рулевой снял с него кепку, чтобы она не свалилась за борт.

XXIX

Быть может, Катя дремала с открытыми, полными сухого света глазами; быть может, думала; быть может, она прислушивалась, не ведут ли Лизу к двери темной училищной кладовки, где они были заперты с Евсеем Корнейчем. Но нет, все шаги были мимо. Только у самой двери переминался с ноги на ногу немецкий

толстый солдат и мурлыкал куплетцы о веселых девчонках с реки Эдер.

Евсей Корнейч умирал, лежа на полу. Время от времени его бил кровавый кашель. Его череп, обтянутый бледной, словно истаявшей кожей, лежал на коленях Кати. У нее затекли ноги, но она не могла пошевелиться, чтобы не потревожить его встречи со смертью.

Евсей Корнейч думал, что умирает в саду.

Он сказал внятно и горько:

— В зеленый сад пришли враги, вот как. Мы садили зеленый сад, окапывали, берегли его. Вот как. А трава потоптана, а яблонки поломаны. Вот как, вот как.

— Придут наши русские войска, с ними Алексей Иванович придет, — сказала Катя, — и выгонят врагов.

— Мы садили зеленый сад, и был он от года к году все плодovитей и краше, — тихим голосом сказал Евсей Корнейч. — А стоишь ли ты еще, моя яблонька?

— Я еще стою, — ответила Катя.

Это была темная конурка, куда уборщицы складывали половые щетки, лопаты и мусорные ведра. Окошка тут не было, и свет шел только из щели под дверь; он стоял на полу тонкой смутной полоской; когда там, на воле, облака открывали солнце, полоска наливалась красным золотом, и в конурке становилось светлей, становилось видно, что в смеженных ресницах Евсея Корнейча еще трепещет жизнь.

Потом Катя перестала понимать затаившее бормотанье Евсея Корнейча, понимать внезапную тишину его уст, его молчаливое боренье со смертью. Ее охватило оцепененье, и она не слышала больше ни жизни своего сердца, ни бега своей мысли.

Наконец, она закрыла глаза, и ей тоже стало казаться, что она в саду: пахнет свежe взрытой, пряничной, хлебной землей, чуть-чуть железным запахом ягодных листьев, согретых солнцем, и слышен воздушный трепет листья, похожий на шопот, на сладкий секрет ветра, на тайный секрет, сообщаемый наушко. Так она сидела долго. Ее посетила глухота ко всем звукам отдаленной жизни и, быть может, эта временная глухота оберегла ее душу от смертельного слома и сохранила ее на радость людям.

Пробудили ее голоса, совсем близкие, топот ног по лестнице. Резко ударили по замку двери, о каменный пол загремела железка. Катя молча повернула голову к двери. Сердце ее не забилося чаще. Только вдруг колени почувствовали, что им не в мочь больше терпеть тяжести: она медленно взяла голову Евсея Корнейча и бережно переложила ее на пол. Дверь в это время раскрылась так резко, что с притолки посыпались комочки извeстки. Свет, кинувшийся в кладовку,

ошеломил ее. Она зажмурила глаза и вдруг вздохнула так глубоко, что почувствовала донышко легких. Она успела увидеть только силуэты вошедших людей, непомерно большие в этом спящем свете, но она уже знала, кто они.

И пока они кричали, и звали ее: «Катя!», и трогали ей то плечи, то руки, она дышала всё глубже и глубже. Когда они замолчали, испугавшись ее неподвижности, она медленно раскрыла глаза. Теперь она могла их видеть. Среди них она узнала Охачова и Ваню Шершнева.

Она сказала, медленно ворочая языком:

— Это Евсей Корнейч лежит. Он умер от побоев.

Ваня и Охачов сняли шапки. Пока они стояли, опустив головы и глядя на угасшее лицо Евсея Корнейча, она оглядывала их одного за другим, словно мать, к которой из опасности вернулись дети: вот Ваня, невредимый, с тяжелым кобуром на ремешном поясе, с бисеринками пота, выступившими на ключицах; рубашка тоже пропотела, пошла пятнами на спине; вот Охачов, высокий, с длинными руками, с патронными лентами, перепоясавшими его грудь; и двое других, взрослых, — она не знает их: один бородатый, а другой плотный, с розовыми щеками и быстрыми, твердыми глазами.

Охачов дернул головой, надел картуз на сваленные, склеившиеся в поту волосы, сказал громко, не размеряя силы голоса:

— Расшибли немцев, девушка горе мигнуло. Вставай, выйди отсюда. Кончилась твоя неволя.

— Не шуми, товарищ Охачов, — тихо сказал Ваня.

Катя перевела глаза с Вани на Охачова, устало зажмурилась и, когда снова открыла их — увидела в дверях кучку ребят.

«Это наши ребята, — подумала она, мучительно собирая мысли. — Они пришли в училище. И я в училище, а не в немецкой тюрьме». Нет, она не могла справиться с этим, она омертвела! Здесь все были мальчишки и среди них Вася Выручалкин. Она не сразу поняла, что это он. Это был уже не тот Выручалкин, с которым она подалась в лесу, и не тот, который сидел невдали от нее на митинге в салоне парохода, и даже не тот, который недавно приходил связанным на чердак училища. У этого: втянутые щеки, серое лицо, брови, сдвинутые по-мужски. Глаза его искали ее.

Нашли, приказали: «Идем. Вставай. Обойрись на ребят, Катя». Она вдруг поняла, что жизнь не задохнулась, а продолжается. что она продолжалась все время, пока на коленях у нею умирал Ловягин, и будет продолжаться дальше.

Что ж она стоит здесь, и жизнь идет мимо, и она не может идти вместе с нею и быть в ней?

Катя посмотрела Ване Шершневу прямо в лицо.

Сказала не спеша:

— Лютов убит.

— Знаю.

— И Лиза умерла.

— Откуда знаешь? — испугавшись, быстро спросил Ваня.

— Так.

Она побледнела, кровь отхлынула от сердца, ушла в ноги, ушла из тела совсем.

«Лиза умерла», — подумала она и стала вставать, держась за стенку, потную, как в погребке, и всю в пузырьках усохшей краски. И ей было непонятно, почему она встает, почему стоит, почему ноги держат ее, а она не падает и не гнется, и живет.

Она, сделала несколько слабых шагов к двери, потом уверенной пошла дальше. Ваня шел следом, делал вид, что кобур нехорошо устроен на поясе и поправлял его обеими руками. Охав с двумя другими остался в училище. Слышно было, как они пронеслись по коридору, хлопая дверьми. Катя и Шершневы вышли на крыльцо, медленно стали сходить со ступенек.

Оказывается, был вечер, солнце ушло, но небо еще не погасло. Пожар не дымил уже, и воздух был чист и свеж.

— Сюда, — сказал Ваня, когда они сошли со ступенек.

Она увидела деревянные ворота училищного двора с нехитрой резьбой, распахнутую во двор перекошенную калитку. Перед калиткой валялся окурок сигары с лиловой чешуйкой пепла на кончике. Катя остановилась перед ним. Словно кто-то накручивал на тугие колышки нить ее жизни, всё тоньше она, всё опасней, всё тоньше, всё опасней. Ей подумалось, что она не сможет перешагнуть через окурок, что она упадет.

Ваня сильно, как мужчина, взял ее за локоть.

Она услышала, как он сказал:

— Не надо глядеть, Катя. Зачем?

— Надо.

— Пусть она останется в твоей памяти живой. Так лучше, я знаю.

— Надо.

Она резко перешагнула через окурок и вошла во двор. Увидела небольшую толпу возле кирпичного фундамента училища. Пошла прямо на нее. Не заметила, как люди перед нею раздвинулись. Осталась только Дарья Дмитриевна, в темном платье, высокая, с прямой спиной, которой, казалось, ничто не могло согнуть. Губы ее были сжаты. Она медленно протянула руку и широкой ладонью коснулась катиной головы. Если бы Катя взглянула на нее, она увидела бы в ее

глазах такое глубокое лоно души, такую любовно-согратательную силу, что защитилась бы ею от своего недетского ужаса.

Она не узнала своих девочек, стоявших за спиной Дарьи Дмитриевны, и Клашу Машину среди них. Клаша Машина держала на плече лопату. Острый конец ее, блестящий от частых соприкосновений с землей, сиял на теплом свете солнца.

Катя увидела такие же лопаты в руках других девочек, но у нее нехватало душевных сил догадаться о том, что они пришли разгрести мусор во дворе училища, счищать известку с крыльца.

Она не узнала ни Дарьи Дмитриевны, ни девочек.

У фундамента стояли деревянные козлы, на них — полуоструганные доски, и на досках лежала женщина в лизинном платье, в лизинных чулках и туфлях, с лизинными волосами, такими легкими, что если взять их в руки, то они, кажется, провект меж пальцев, как ветерок. Женщина лежала на боку, лицом к стене, левая рука ее была вывернута, все пять пальцев собраны пучком и в них зажата горстка земли с зеленой травинкой. Катя остановилась и стала смотреть на женщину в лизинном платье, чужую, неподвижную, неживую.

И так прошла минута, пока сердце Кати стало понимать, что это бывшая Лиза лежит в своем платье, что в своей смерти она все-таки Лиза, что она никогда не оживет, она расстреляна фашистами, что ее губы не могут и не будут говорить, и только эта рука, зажавшая горстку земли, говорит ей неслышно ото всех: «Меня убили фашисты, какой ужас, ты теперь без меня, Катя!»

И тогда Катя крикнула так резко, как кричит птица с дробинкою в сердце:

— Убейте их!

С этой поры, с момента крика, потрясенного всё ее существо, для Кати началась жизнь то зорких, то слепых и дымных снов и наваждений, жизнь в долинах омраченного сознания. Зеленые сады повертывались перед нею, открывая заветные уголки своей тени, свои ягодные питомники и яблоневые заповедники, и сучковатые рогатки, подставленные под обремененные плодами ветви, а она искала меж яблонь Лизу, а Лиза искала ее. «Ау, ау!» — кричали они друг другу, и всё не могли встретиться, всё не могли сбежаться, как на игре в горелки. Потом разверзались глубокие колодцы и было страшное паденье вниз, на их дно, скудное мерцающее черной слепой водой. Тянулись скошенные луга, и над ними, к опушкам леса, посверкивая крылышками, летели пчелы, чтобы в густых пустошах и некосях взять сладкий взяток с розовых цветков боровицы, с метелочек кипрей-травы. А среди пчел шел женствен-

ный Нагель и говорил, помахивая ручкой: «Такая странность, — говорил он, — такая странность, я немного понимаю по-русски». И пчелы кидались от него золотой и злой тучей, и гнались по некоему за Лизой, которая бежала, крича крупным голосом: «Катя, фашисты убили меня!»

«Ты старайся, старайся», — говорил ей кто-то сердитым голосом из цветной мглы, — это ходит около смерти, ты старайся одолеть это». «Я не хочу одолеть, я не могу без Лизы, — отвечала она, — лучше я так». «Тебе нельзя так, ты должна одолеть. Ты слышишь меня?» «Я слышу тебя», — отвечала она голосу извне — голосу Дарьи Дмитриевны или, быть может, голосу Вани Шершнева, голосу, который не велел ей оставаться в темноте смерти, хоть она была желанной, и Катя послушалась голоса.

Она ушла от наваждения. Однажды она открыла глаза и увидела белую стенку и на ней плавающие в солнечной заводи тени широких листьев. Ей всё было больно, как свежей коже, затянувшей ранку, бывает больно всякого касания. Ей было больно того, что она смотрит,

того, что дышит, что слышит, что живет. Она полежала минуточку и, услышав чужое дыхание, собралась с силами и повернула глаза.

Большой человек, облокотясь на колени и вставив пальцы в пальцы, сидел против нее на табурете и сторожил ее у порога жизни. Он не похудел и не изменился, был такой, как всегда, большой и надежный.

Катя облизала губы и сказала тихо, через силу:

— Ты приехал, Алексей Иванович Башлыков.

— Я всё знаю, — ответил он и бесшумно наклонился над нею. — Я приехал, как только смог.

— Алексей Иванович, ты должен очень помочь мне теперь, — сказала она одними губами с самого дна своей болезни. — И ребятам скажи, что я не буду умирать.

— Да. Теперь ты будешь со мной. Катя заплакала. Это было хорошо, нужно: ее сердце вытолкнуло смертную крошечку и всей кровью своей пожелало жизни.

1943 г. январь — июль.

ЗЕМЛЯ РОДНАЯ

ГАЛИНА МОРОЗОВА

★

Не надо плакать, если даже горе,
В тоске смертельной руки заломив.
Тяжелый день твой чересмерно черен,
Но ты горяч, ты должен жить, ты жив!

Какое горе властно над простой
И мудрой гордостью родной природы?
Ее характер нежный и крутой
Волнует сердце русского народа.

Земля родная силу нам дала
Переносить и отражать напасти.

Так светлая янтарная смола
Врачует лес. И вырастает счастье!

И лес стоит ровесником былин
Величественный в радости и горе,
Зарыв навечно в глубину земли
Неистребимый и могучий корень.

Как много в нем неутомленных чувств
И ненависть, и смелая угроза.
А он стоит так первобытно густ,
Что как-то даже негде плакать росам!

ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

МИХ. ГОЛОДНЫЙ

★

ЮНОСТЬ

Другу детства, летчику,

Всё канет вдаль — пройдет пора лихая,
И, чудом сохранившись за селом,
Старуха мельница, одним крылом махая,
Начнет рассказывать легенды о былом.

Мальчишка выйдет в степь с бумажным змеем,
Похожий на меня, — такой же взгляд и рост, —
Его курносый брат, товарищ по затеям,
Расправит на земле у змея длинный хвост.

Пускай! Пускай — и в небо змей взовьется
И, еле видимый, уйдет под облака.
И братья лягут рядом у колодца
В зеленую траву глядеть издалека,

На степь широкую, на небо голубое,
На мельницу, притихшую в тени.
Она расскажет им о том, как мы с тобою
Под этим небом коротали дни.

Как выходили в степь мы на рассвете
Томиться высотой, бумажный змей пускать.
О вечной юности напомнят людям дети,
И будут взрослые их к небу поднимать.

Всё канет вдаль — не канет мир нетленный,
Он нас переживет и встретит песней труд.
И перед ним — там, на краю вселенной
С бумажным змеем мальчишки пройдут.

НАД УБИТЫМ РЕБЕНКОМ

В траве нескошенной — замученный ребенок,
Смерть не дала ему больших ресниц смежить,
И чудные глаза глядят как бы спросонок
На этот мир в цвету, где я остался жить.

А солнце высоко; не зная преступленья,
Щебечут птицы, сердце полонив,
Не это ли предел кричащего глумленья:
Труп нежной девочки среди цветущих нив?!

И, вспомнив вдруг о том, что за поселком где-то
Мать жаркую слезу смахнет с лица тайком,
Я не от неба жду на мой вопрос ответа, —
Я, шапку сняв, молюсь над праведным штыком!

★

ПОЭЗИЯ ПОКОЛЕНИЯ, СОЗРЕВШЕГО НА ВОЙНЕ

Статья вторая: МАРГАРИТА АЛИГЕР

Е. ТРОЩЕНКО

★

В предвоенной поэзии Маргариты Алигер мы находим те же темы и мотивы, что и в поэзии ее литературных сверстников. Но у Алигер они получили своеобразное преломление — не в фактах гражданской биографии героя, как у Долматовского и Симонова, а проведены сквозь сферу личной, интимной жизни героини, молодой женщины, испытавшей все то, что положено испытать женщине, — любовь, семейную жизнь, материнство. Поэзия Алигер вращалась, в конце концов, в этом извечном кругу женской лирики с той разницей, что у Алигер этот круг не был замкнутым. Поэтесса стремилась привести в связь свой личный, жизненный, душевный опыт с общими вопросами жизни, с общим ее ходом. Связь эта осуществлялась прежде всего все в той же проблеме характера, воспитания воли, стойкости, сильных свойств души. И любовь, с ее радостями и печальями, и семья, и материнство, с его счастьем и его страданиями, все переживания и чувства героини, все содержание ее жизни подводилось к одной общей цели — воспитанию характера, и здесь получало свой общий смысл и обоснование. Мы употребили слово «подводилось», ибо дело обстояло именно так — изображались переживания, чувства, а затем из них выводилась мораль, поучение: не поддавайся трудностям и несчастьям, будь стойкой, не падай духом в беде, — несчастья закаляют характер, страдания воспитывают волю, — учила Алигер свою героиню.

Поэзия Алигер, оставаясь поэзией личного чувства и интимного переживания, и будучи в этой сфере правдивой и искренней поэтессой, становилась, таким образом, поэзией дидактической, приобретала элемент рассудочности, который принимался и самой поэтессой и теми, которыми из ее критиков за «философичность». Вот несколько примеров из стихов Алигер 1938 года, из книжки «Железная дорога», в которой яснее всего выразилась эта рассудочно-морализирующая тенденция поэтессы. Вот любовь (стихотворение «Муром»).

Поэтесса размышляет о пережитом, вспоминает, жалеет, грустит:

Что я помню?

Мелочи, улыбки,
спутников,

случайные стихи?

А когда же начались ошибки,
первые обиды и грехи?

Ах, когда бы все начать сначала,
чтобы все дурное растворя,
для меня впервые зазвучала
мне родная музыка твоя.

Чтобы неприкрашенно и голо
быт не стал меж мною и тобой
теснотой,

нуждою невеселой,
матерью тяжелой и больной.
Первым раздраженьем,

первой скукой,

наконец,
смертью сына —

нестерпимой мукой
даже это вынесши сердце.

Это правдиво, жизненно, искренне. Но вот мораль, поучение, вывод из пережитого:

Так идет закалка.

Непогоду
мы с тобой познали до конца,
Вынесши и огонь, и воду
видно крепнут чувства и сердца.
Торный путь короче,

если в ногу
двое им идут...

Это тоже искренне, но не жизненно, а, напротив, искусственно и рассудочно. Чувство человека, переживание его рассматривается здесь с точки зрения цели, полезности его для какого-то другого, в самом чувстве не заключающегося содержания. Любовь полезна и нужна, ибо любящие не одиноки, и любовь

помогает им стойко переносить трудности жизни. Трудности жизни, огорчения и беды также принесли свою пользу — они закаляли сердца.

В большой поэме, составляющей целый раздел книжки «Железная дорога», являющейся основным крупным произведением Алигер довоенного периода, поэтесса рассказывает историю одного года своей жизни, вместившего в себя, собственно, весь ее жизненный опыт — жены, друга, матери — опыт, в котором было много тяжелого, но который оказался чрезвычайно поучительным. Поэма называется «Зима этого года», но ее можно было бы назвать «Уроки этого года», ибо по замыслу своему, по своей идее она насквозь дидактична. Одно из первых и основных требований, с которым мы встречаемся в этой поэме, — это требование полноты жизни. Не чувство, не ощущение, не желание, а именно требование, доказанное и обоснованное тем же общим соображением полезности испытать и изведать в жизни все, что она может принести, — и радостного и горького, Алигер рассказывает:

В то лето милое, когда
мы повстречались и сошлись,
как это водится всегда,
друзья-советчики нашлись.
И говорили: — Засосут

уютю топкие пески.
Поймешь, как многие живут,
растя ребят, чиня носки. —
Тревогу горькую тая,
у песни спрашивала я:
— Ужели, песня, это так?
Ответь, рассей постылый мрак.
Верни мне силы, молви «нет»,
моя подруга и сестра.
.....
Тебе не верить мне нельзя.
Свои законы предъяви,
чтоб прояснилось впереди.
Великой радости любви,
тепла ребенка на груди,
неясным маревом мая,
ужели ты лишишь меня? —

С такими вопросами, однако, не обращаются к музе, ибо кому же придет в голову от казыватьсь от любви, если испытываешь чувство любви, отказываться от радости материнства, если жаждешь познать эту радость. Но муза Алигер рассудительна так же, как и ее героиня. Поразмыслив, она сказала:

Ждала ты слова моего?
Ступай, не бойся ничего.
Изведай все в свои года,
от ненависти до любви.
Все протерпи, переживи,
и переживши, мне отдай.

Итак, право на любовь доказано и обосновано. Без любви и материнства нет полноты

жизни, а полнота жизни полезна творчеству. Любовь полезна творчеству.

Это любовь. Но вот — дружба. Отважившись пуститься в жизненное плавание, героиня и впрямь сталкивается со многими бедами и невзгодами. Но ей приходят на помощь друзья, как раз тогда, когда она более всего нуждается именно в дружеской поддержке, в товарищах. Легко понять, что случай этот не мог быть оставлен поэтессой без того, чтобы не извлечь из него соответствующего наидания. Следует рассуждение о дружбе, о ее свойствах, правилах и законах:

И без друзей прожить нельзя,
и без друзей не стоит жить.
Но чтоб тебе нашлись друзья,
ты должен сам уметь дружить.
Без пышных фраз, умилых слез,
не ради красного словца,
дружить сурово и всерьез,
поверив другу до конца.
Но помни:

если ты погряз
среди недостойных склок и дрызг
и сам себя зарыл в беду,
друзья на помощь не придут.
И не придут они и там,
где должен ты пробыться сам...

и т. д.

Все предусмотрено заранее, размерено, рассчитано. Без друзей прожить нельзя, друзья полезны, но надо, чтобы человек был достоин дружбы. Если он недостойн дружбы, друзья на помощь не придут. В таких-то случаях следует приходить на помощь другу, в таких-то не следует. Одним словом, целая моральная бухгалтерия.

Есть, однако, беды, которых не могут поправить и друзья. Героиня, познавшая лишь недавно счастье материнства, теряет ребенка. Рассказ о переживаниях молодой матери очень трогателен у Алигер, глубоко прочувствован. Но и здесь она остается верна своей дидактической идее. Горе матери служит поводом для многословного рассуждения на тему о том, что жить следует вопреки несчастьям, ибо ты нужен для дела. Потребность жизни у страдающего человека также получает свое оправдание и обоснование. Что же касается самого страдания, то и оно имеет свою цель: оно закаляет характер, воспитывает мужество. И из страдания должно извлечь пользу. Таков конечный дидактический вывод поэм.

Мы видим, таким образом, в чем состоит главный недостаток поэзии Алигер в этот первый период ее творчества. Алигер правильно нам доказывает, что личные переживания человека связаны с большим миром его общественной деятельности, с его ролью в этом большом мире. Она это понимает, и это справедливо. Но Алигер не умеет еще провести эту связь через самый предмет изображения, она не умеет найти те узлы, где эти большие вопросы жизни естественно пересекаются с во-

просами личной жизни человека. Поэтому, переходя к этим общим вопросам, она покидает область художественного изображения и становится на путь отвлеченных рассуждений. Мысль в поэме Алигер не заключена в ее образах, а поставлена отдельно, как одна из возможных точек зрения на предмет. Алигер занимает вопрос о связи личных переживаний человека с процессом выработки того типа характера, который нужен сегодня в общественной борьбе. Но эта связь устанавливается лишь тем способом, что во всех случаях, при изображении самых различных событий жизни героя, провозглашается требование стойкого и мужественного характера. В результате мы не видим как раз того, что составляло цель изображения — мы не видим характера. Есть изображение различных переживаний, и оно вполне реально, а характер дан только в рассуждениях.

Следующая книга стихов Маргариты Алигер «Камни и травы», вышедшая незадолго до войны и подвергшаяся несправедливой критике как раз именно за отсутствие дидактизма, была, несомненно, более поэтична. Дидактический элемент сменился здесь элементом романтическим. Романтика юности взяла верх над скучной рассудочной прозой, и это был, несомненно, живой и плодотворный момент в художественном развитии молодой поэтессы.

Критиковать эту книжку стихов следовало, но на ее собственной почве — за ее художественную несамостоятельность, за наивный, заемный «демонизм» некоторых ее стихотворений, за искусно скрытую под внешней простотой заемную манерность интонаций, за обнаруженный в некоторых стихах дурной вкус, одним словом, за все то, что в самом стиле, в форме, в поэтическом выражении противоречило серьезному, вдумчивому внутреннему облику этих стихов.

Что же есть в этих, написанных накануне войны лирических стихотворениях живого и плодотворного? В них есть знакомое нам по произведениям других молодых поэтов этого времени ощущение неисчерпанности, незавершенности жизни, мотив ожидания, душевной готовности ко всем тревогам и волнениям, которые таит в себе грядущее, неиссякающий интерес к жизни, предчувствие значительного и важного, что ждет тебя на твоём жизненном пути. Это чувство свойственно сильной, здоровой молодости, и вполне уместен и верен был здесь романтический образ пути, дальней дороги, и образ путника, не успокаивающегося, но вечно ищущего, смело и уверенно идущего по трудным дорогам жизни. Уже в сборнике «Железная дорога», неслучайно так названном, мы встречаемся с этим мотивом, в книжке же «Камни и травы» он — основной, создающий поэтическую ее атмосферу.

Видно, мой извечный жребий
отродясь таков, —
видеть, как листья светлеет,
догоревший хворост тлеет,
как меняется на небе

лепка облаков.
Так же, как реке течучьсть
переменных вод,
мне по сердцу эта участь,
это светлое круженье,
это вечное движение
и всегда вперед!

(Стих. «Кош»)

За ранний ветер странствий,
за шум воды, за облачные дали
я тропку трудную благодарю.

(Стих. «Заря»)

Этим романтическим духом «раннего ветра странствий» овеяно все — и любовь и дружба. Друзья — это спутники, верные товарищи в далеком и трудном пути (стих, «Спутникам»). «Человеку в пути» — называет Алигер цикл любовных стихотворений, в котором образ любимого встает поэтически преображенным, очищенным от всего будничного, прозаического, повседневного:

Хочу тебя запомнить навсегда —
моим знакомцем, путником, влюблен-
ным
в дороги, реки, горы, города,
беспечным, ненасытным, изумленным.

И сама любовь также приравнена к пути, и в символическом этом образе выражено страстное и чистое желание видеть свою любовь живой, неиссякающей.

путь,

Теперь я уверена: наша любовь — это
путь,
чуть видная тропка и снова большая
дорога.
Ночевки под звездами, вздох, (напол-
няющая грудь
усталость и счастье — сладчайшая в
мире тревога.

Жизнь не исчерпана и не завершена,
Жизнь еще при самом начале. Что она при-
несет с собой?

Уже первое стихотворение, открывающее книжку стихов «Памяти храбрых», дает представление об основной теме Маргариты Алигер в первый период войны:

И вот теперь
в нелегкий час,
когда
разгул войны особенно неистов,
когда в мои родные города,
врываюся дивизии фашистов,
когда в мои любимые дома
врывается ночной фугасный ветер,
когда не понимаю я сама,
какою силой я живу на свете,
детей своих не видящая мать,
живущая под взглядами чужими,
беззвучно повторяющая имя

стоит, в ней всегда потенциально заключена огромная жизненная сила — она хранит и растит детей, в ней — продолжение рода, она — носительница неукротимой, вечно продолжающейся жизни. Вот почему в стихах женщин-поэтов в разгар войны рядом с образами ненависти, страдания и смерти встречаем мы нежный и вечно женственный образ материнства.

От конца уже недалеко
я осталась жить.
Не потому ли,
что в далеком камском городке,
там, где полночи светлы от снега,
где лихой мороз берет свое,
начинает говорить и бегать
счастье и бессмертие мое, —

рассказывает Алигер. Об этом же говорит в конце своей «Ленинградской поэмы» Ольга Бергольц. В осажденном Ленинграде, «в блокаде и в бою», она складывает песню своему будущему сыну:

Здравствуй, крестник
Красных командиров,
Милый вестник,
Вестник мира,
Сны тебе спокойные приснятся,
Битвы стихли
на земле ночной...

Мы выбрали из книжки военных стихов Алигер лишь те стихотворения, в которых есть живое развитие и существование поэтической темы. Строфы из «Дороги на Запад», «Русская песня», цикл «Казанская тетрадь» — это лучшие стихи книги и в отношении чисто художественном. В этих стихах почти преодолено уже противоречие между широтой и осмысленностью содержания, к которым всегда стремилась Алигер, и узостью даже не столько формы, сколько манеры одинажды усвоенной, преждевременно установившейся. В манере этой был какой-то органический дефект, что-то механическое, заученное, не натуральное, что мешало выявиться полно художественной натуре поэтессы.

В лучших стихах военного времени манера эта ломается и непременно должна быть сломана, чтобы дать ход новому, обогатившемуся за время войны содержанию.

Между стихами «Казанской тетради» и «Зоей» прямая и непосредственная зависимость. «Зоя» была бы недоступна Алигер, если бы личная ее лирика не соприкоснулась с драмой войны и не выросла в огне большого человеческого страдания. И, вместе с тем, переход от «Казанской тетради» к «Зое» был отнюдь не простым. Тема «Зои» — это также тема мужества в испытании. Но и мужество здесь другое, и испытание другое. «Казанская тетрадь» — это лирический рассказ о человеке

обыкновенном, с обыкновенной женской судьбой во время войны. «Зоя» — это лирический рассказ о человеке, обнаружившем не просто душевную стойкость в общих для всех тяготах войны, но совершившем подвиг самоотвержения ради высокой идеи любви к родине. Зоя — это героиня, эпос великой народной войны. Рассказать историю подвига Зои, раскрыть его патриотическое содержание, пафос, его великий смысл и значение для народа — это было бы почетной и трудной задачей и для более опытного и зрелого художника, чем молодой лирический поэт Маргарита Алигер. Как же решила эту задачу Алигер?

В поэме о Зое она осталась всецело на почве лирики и сумела оправдать этот свой особый решения героической темы. В истории Зои она рассказала внутреннюю душевную историю своего поколения. Подвиг Зои был для Алигер не только эпической темой, но глубоко личной, субъективной. Поэма эта была ее долгом, делом ее жизни, обобщением и выражением того, что было совершено, пережито и передумано советской молодежью за время войны. Вот почему произведение это лирично по самой своей сути, по своей крови и плоти. Когда Алигер писала о муках Зои под немецкой пыткой, она как бы пережила вместе с ней ее последние предсмертные минуты, в воображении своем она поставила себя на место Зои, чтобы рассказать о ее подвиге людям от имени всего молодого поколения.

Может, я затем жива осталась,
чтобы ты в стихах не умерла.

«Зоя» начата буквально с того мотива и образа, которыми завершалась книга «Камни и травы».

Бывают на свете такие мгновенья,
такое мерцание солнечных пятен,
когда до конца исчезают сомненья
и кажется: мир абсолютно понятен.
И жизнь твоя будет отныне прекрасна
и это навек, и не будет иначе.
Все в мире устроено прочно и ясно
для счастья, для радости, для удачи.
Особенно это бывает вначале
дороги,

когда тебе лет еще мало,
и, если и были какие печали,
то грозного горя еще не бывало.
Все в мире открыто глазам человека,
он гордо стоит у высокого входа.

Это тема вступления к поэме — тема душевной открытости миру, трепет молодости, полной творческих сил, возможностей и надежд. И дальше эта тема будет развиваться, обогащаться и распадаться на другие темы, из которых составится Зоиная юность. Здесь будут и будни, и быт, и школа, и первый очерк волевого характера. И через все это, как подводное течение, увлекающее поэму вперед, к героической трагедии в финале, проходит все тот же основной мотив: думы о выборе судь-

бы, мечта о подвиге. Каким будет то главное дело жизни, которое предстоит совершить ей, в чем назначение, в чем высшая радость и счастье жизни?

За пронзенной солнцем плененой та весна дымилась пред тобою, странною, незадуманной, иной, тайной и заманчивой судьбою. Что-то будет!

Скоро ли?

А вдруг!

Тополя цветут по подмосковью, и природа светится вокруг странным светом,

может быть, любовью,

Ответ еще неясен, точного ответа еще нет. Есть только слитное сильное чувство, в котором соединились идея правды и идея творчества.

Алигер говорит в первых строках поэмы:

Я так приступаю к решению задачи, как будто конца и начала не знаю.

Это был верный поэтический прием представит довоенную Зою юности во всей счастливой полноте сил. Это довоенная эпоха, отраженная в короткой жизни одной советской девушки-школьницы, но отраженная с полным знанием и ощущением всех последующих событий. Этот двойной свет — безоблачное сияние Зоинной юности и грозовой свет надвигающейся войны — и придает первым картинам поэмы особую внутреннюю напряженность, выдвигает их из обыденности.

Война, наложившая свою неизгладимую печать на каждого из нас, какими бы мы ни были до войны, каким бы мирным и скромным делом ни занимались, вошла в жизнь и той, еще не решившей своей судьбы молодежи, к которой принадлежала Зоя. Юность кончилась, и вместе с ней кончилась эпоха смутной тревоги, ожидания, волнующих и неясных мечтаний о будущем. Пришла пора ясных и бесповоротных решений, определяющих сразу и резко судьбу и биографию человека, решений, которые принимаются людьми однажды в жизни в важнейшие, переломные исторические эпохи. Так уходила в революцию шестнадцатилетняя юности и девушка в октябре 1917 года, так шли комсомольцы на гражданскую войну. И так пришла Зоя в октябре 1941 года в московский комитет комсомола, чтобы вступить добровольцем в отряд партизан. Дорога выбрана, путь решен. Вот оно — то главное дело жизни, о котором мечталось в юности, и вот ответ на вопрос, волнующий всякую размышляющую юность — вопрос о смысле и назначении жизни. Борьба за дело народа, подвиг! — отвечает Зоя.

Алигер прекрасно почувствовала и очень хорошо передала резкий душевный перелом, происшедший в ее героине, эту сразу наступившую сдержанность, серьезность, внутреннюю сосредоточенность Зои.

Она отвечала сначала стоя, сдвигая брови при каждом ответе: — Фамилия?

— Косьмодемьянская.

— Имя?

Зоя.

— Год рождения?

— Двадцать третий.

Потом она села на стул.

А дальше следил он, не кроется ли волнение и нет ли рисовки,

и нет ли фальши.

и нет ли хоть крошечного сомненья.

Она отвечала на той же ноте:

— Нет, не заблудится.

— Нет, не боится.

И он, наконец, записал в блокноте последнее слово свое:

— Годится. —

Заметил ли он на ее лице играющий отблеск далекого света?

Ты

не ошибся

в этом бойце,

Секретарь Московского комитета.

И все последующее в поэме идет верно и поэтически точно, правдиво без изъяна. Когда человек пошел в дело, в борьбу, и она становится повседневной его жизнью, наступает период того особого спокойствия, той уверенной ясности, которую дает прочное сознание своей правоты, удовлетворенное чувство выполненного долга. Такой ясной, уверенной, спокойной мы видим Зою в отряде. Ее не отличишь сначала от других бойцов, и думы у нее те же, что у них, те же простые человеческие заботы:

И во мраке полночи вороньей

Зоя вспоминает в свой черед: что там в Тимирязевском районе?

Как там мама без нее живет?

Хлеб, наверно, ей берет соседка...

В заключительной части поэмы Алигер разбивает до конца намеченную в первых строках тему предчувствия высокого жребия. История подвига Зои у Алигер поэтически раскрывается, как осуществление — идеала, судьбы, характера. Осуществилось все, что было заложено в прямой правдивой натуре Зои, осуществилось мужество, обнаружилась в действии и невиданном сопротивлении великая сила души. Осуществилась в образах сегодняшней борьбы идея гражданского долга, героическая биография поколения, реализовалось, стало поступком и поведением чувством любви к родине. И здесь — полнота жизни, радость свершения, вдохновение, величайший душевный подъем, — все то, что составляет атмосферу подвига, столь ответственную, по мысли поэта, атмосфере творчества. Да, Зоя была счастлива, когда взяла на себя трудное и опасное поручение, когда она сказала командиру отряда:

— Я пойду,
Я еще не очень-то устала,
Я еще успею отдохнуть,
Как она негаданно настала
жданная минута.

До этой минуты Зоя была вместе со всеми и как все в отряде. Но вот она одна, маленькая героиня, мужественная девушка в зимнем ночном лесу, наедине со своими мыслями о родине, о войне, о людях, о великой борьбе, которая идет в стране.

Одна! Алигер очень хорошо поняла, что это значило в тот момент и в той обстановке.

Когда ты сражаешься в рядах, бок-о-бок с товарищами, в строю, ты сознаешь себя частью целого, ты — один из многих. Другая обстановка, когда ты один в стане врага и возле тебя враги. В эту минуту ты не один из многих, а один за всех, и ты должен найти в себе силу выстоять, какая бы мука ни была уготована тебе. Зоя про-веряла, спрашивала себя, и знала, что сможет, выдержит, и была счастлива и горда этим со-знанием.

Тихо так, что ты все еще слышишь
в ту ночь,
потрясенной планеты взволнованный
житель:

— Дорогие мои, я хочу вам помочь!
Я готова.

Я выдержу все.

Прикажете.

Зоя была одна в стане врага, но она не была одинока. За нею и с нею была ее стра-на, ее народ, и сама она была как бы душой народа в эту минуту. Сжваченная врагами, беззащитная, обезоруженная, истерзанная пыт-ками, Зоя поступала и вела себя так, как если бы глаза всей страны были устремлены на нее. Презрительным и гордым молчанием от-вечала она врагу, она говорила толь-ко с народом. Какая сила души! Из ка-кого драгоценного материала создан был этот характер, характер подлинного народного бор-ца и героя!

Люди смотрят.
Есть еще слова...

— Граждан,
не стойте,
не смотрите!

(Я живая — голос мой звучит).

Убивайте их, травите, жгите...

Я умру, но правда победит!

Родина! —

Слова звучат как будто

Это вовсе не в последний раз.

— Всех не перевешать,

много нас!

Миллионы нас...

Еще минута
и удар наотмашь между глаз.

Лучше бы скорей,

пускай уж сразу,

чтобы больше не коснулся враг.
И уже без всякого приказа
делает она последний шаг.

Так звучит героическая тема финала.
Нет никакого сомнения в том, что толч-ком, побудившим Алигер к созданию поэмы, зерном, из которого развилась она, было то первоначальное душевное потрясение, которое испытали мы все, когда читали первый газет-ный рассказ о страданиях и подвиге Зои.

Навсегда сохрани фотографию вырытой
Зои,
я, наверно, вовеки ее позабыть не
смогу.

Поэма по содержанию своему дает неиз-меримо больше, чем газетный рассказ о Зое, но в поэме не упущено ничего из того, что чувствовал каждый из нас, когда читал этот рассказ. Здесь было и восхищение подвигом, преклонение перед благородством человеческой души, и вспыхнувшая с новой силой ненависть к врагу, скорбь о гибели большого человека и была еще жалость, раздиравшая сердце, жа-лость при мысли о Зоиной молодости, о зверски загубленной юной жизни.

Алигер не забыла этого чувства жалости, особенно остро пережитой женщинами, мате-рями. Во всех сценах заключительной части поэмы в мужественную мелодию героизма вплетаются образы, напоминающие о нежной Зоиной юности:

Эти детские губы,
сухие огни,
почерневшие, стиснутые упрямо.
Как недавно с усиьем лепили они
очень трудное,
самое главное
«мама».

Пели песенку,
чуть шевелились во сне,
раскрывались взволнованы страшною
сказкой,
перепачканы ягодами по весне,
выручали подругу удачной подсказкой.

Алигер не нарушила этим и объективной правды образа Зои. Именно тогда, когда Зоя стала бойцом, когда она созрела, возмужала, с необычайной, надрывающей сердце трога-тельностью выступило все то, что было в ней юного, детского, так же, как в первой части поэмы, в еще неформившемся очерке юно-шеского характера Зои проступали черты строгости и недетской сосредоточенности.

Однако Алигер не остановилась у этой гра-ни, обогатившей поэтическим теплом образ Зои. Она пошла дальше и утерjala меру. Тему загубленной Зоиной юности она раскры-вает в финальных строфах поэмы и как тему неосуществленной любви:

Эти детские губы,
сухие огни,
своевольно очерчены женскою силою.

Не успели к другим прикоснуться они,
никому не сказали: «люблю»

или
«милый».

Обыкновенный поэтический слух должен был подсказать Алигер, что уже в этих строках она взяла не совсем верный тон. Вот несколько строф из лирических стихов М. Светлова о Лизе Чайкиной, Светлов говорит о том же, о чем и Алигер:

Счастья называть между другими
Что-то уменьшительное имя,
Счастья жить, скрывая от подруг
Сердца переполненного стук,
Счастья, нам эяакомого, не знавшей
Чайкина ушла из жизни нашей,
Это счастье быть большим могло бы,
Если б вашей встрече быть...
Может, он салютовал у гроба,
Тот, кого б могла ты полюбить?

Стихи эти проще, скуднее стихов Алигер, но они твернее, потому что они более соответствуют облику героини. Но Алигер в дальнейшем не исправила ошибки, а еще углубила ее в заключительном фрагменте поэмы.

Здесь мы переходим уже, собственно, к вопросам формы и к критике поэмы с этой стороны. Она нуждается в такой критике.

Поэма Алигер вся лирична, но лирические планы ее — разные. Один план — это воссоздание внутреннего, психологического состояния Зои во все моменты ее героического пути. Прием, который применила здесь Алигер, можно назвать приемом лирического перевоплощения. Усилием художественной фантазии она поставила себя на место Зои и передала чувства Зои, как свои собственные чувства. Это то перевоплощение, которое ближе всего к искусству актера. Если представить себе актрису, которая будет играть Зою в ненаписанной еще героической трагедии о ней, она должна будет сделать то, что сделала Алигер. И Алигер имела право на применение этого приема в поэзии — она почерпнула его из жизни:

Мне хотелось написать про Зою,
чтобы той, которая прочтет,
показалось: тропкой снеговою
в тыл врага сама она идет.

Мы все это пережили, все примерились к подвигу Зои, каждая поставила себя на ее место.

В поэме есть один фрагмент — десяток строф, — которые по художественному своему достоинству должны быть поставлены выше всех других. Это описание видений Зои в момент пытки. За недостатком места мы не можем привести его полностью и отсылаем к нему читателя. Он начинается строками:

Коптящая лампа, остывшая печка,
Ты спишь или дремлешь, дружок?
... Какая-то ясная — ясная речка,
зеленый крутой бережок.

Мы бы очень порадовались за Алигер, если бы ей в дальнейшей ее работе довелось еще раз написать такие стихи. В этом отрывке есть не только лирическая выразительность — она есть у Алигер почти всегда — но и художественный лаконизм, и, главное, строгость, благородство образа.

Другой план поэмы — лирические описания и диалоги. Это те ее моменты, когда автор отделяется от героя и выступает как единственный свидетель происходящего с ним и единственный его собеседник. И, наконец, третий план: лирические и лирико-публицистические отступления в собственном смысле слова. В поэме происходит непрерывная передвижка планов, непрерывная смена их. Казалось бы, при таком подходе к делу никак не должно создаваться впечатление единообразия звучания, а у Алигер сплошь и рядом оно создается, может быть, потому, что она оперирует только основными красками и не различает полутонов. Во-вторых, самая смена планов происходит приблизительно одинаково по данному образцу почти в каждой сцене, в-третьих, потому, что сменяются они без убеждающей логики. Поэтесса врывается со своими вопросами к герою, вступает с ним в разговор в момент, когда читатель хотел бы побыть наедине с ним, тут же оставляет героя, кидается в лирическое отступление, часто передерживает эти кадры, уходит слишком далеко в сторону, точи-дело перебивает сама себя, и в итоге не достигает особенно необходимой в большом произведении стройности, цельности конструкции.

Если достоинства поэзии Алигер могут быть обособованы по-разному, то недостатки ее, как правило, имеют один источник — нарушение художественной меры. Лирике Алигер свойственна экспрессия — острая, резкая выразительность, но она не умеет остановиться у той черты, за которой эта выразительность будет уже преувеличенной и потому неправдивой, нехудожественной. Особенно неумеренна Алигер в выражении чувств трагических.

Слабые сентиментальные строки есть и в лучшей, сильнейшей, третьей части поэмы и их особенно много в первой главе. Вот конец вступления, четыре строки, как будто бы вполне скромных и непритязательных:

В сияющей рамке зеленого зноя,
на цыпочки приподымаясь немножко,
выходит семнадцатилетняя Зоя,
московская школьница-длинноножка.

Хорошая рифма, милые, теплые стихи. Однако вслушайтесь в них, и вы уловите едва заметную фальшь в интонации, ноту излишнего умиления, излишней детскости. «На цы

почки», «немножко», «длинноножка». Употреблены не те слова, какие нужно. Это искусственное детское умиление чувствуется и в обилии нежных эпитетов, и в подчеркнутых ласковых риторических обращениях:

Девочка, а что такое счастье?
Разве разобрались мы с тобой?

Девочка, ты все чему-то рада...

Горячась, не уступая, споря,
милая моя, расти скорей.

Вырастай такому счастью впору,
девочка богатая моя.

Все это в одном отрывке. Здесь же и уменьшительные: «туфельки», «силенки», «ручек».

Все предметы, относящиеся к Зое, все, что характеризует ее внешность, называется только уменьшительно: «платице», «ладошка», «ямочка», «прядка». О глазах Зои говорится, что они «поставлены чуточку косо», живёт она в «комнатке», ее «золотистая юность» бежит, как «облачко в небе».

— Что же таится в ней?

— Не знаю я.

— Что, она красивая?

— Не знаю.

Но, какая есть, она — моя.

Золотая,

ясная,

сквозная, —

пишет Алигер.

Говорят, здесь будто бы влияние Блока. Но в данном случае — это Блок осентиментальный, с примесью безвкусицы.

Алигер обладает даром подлинного лирического поэта — даром лирической откровенности. Но и тут она переступает меру. Алигер смешивает подчас интимность поэтическую с той натуральной домашней интимностью, которая вовсе не принадлежит поэзии.

И еще на одно нарушение меры нужно указать Алигер, на ее многословие. Мысль Алигер почти всегда верна, интересна. Но, чтобы выразить ее, она употребляет подчас так много слов, что, по крайней мере, половина из них оказывается лишней. Она кружится иной

раз вокруг какой-либо совсем простой мысли, захлебываясь в словах, как ребенок в плаче. Примером такого словесного кружения на одном месте может служить рассказ о том, как Зоя читала книги (глава 1-я), и вытекающее из него рассуждение о творчестве. Здесь слишком много вопросов, восклицаний, восторга, прерывающегося дыханием.

Многословием страдают и некоторые другие места поэмы, в частности эпилог, который ничего не потерял бы в своей радостной торжественности, если бы был проще и лаконичнее. Алигер слишком дорожит каждым своим словом, не отбирает тех, которые максимално поэтически нагружены, и не жертвует пустыми и слабыми.

Короче говоря, «Зоя» написана еще не мастером. Это еще не зрелость искусства, но это уже зрелость поэтической мысли и чувства, и в главных, основных мотивах поэмы — это волнующая живая поэзия.

Алигер открыла в своей поэме для избранного ею содержания то, что называется «внутренней формой», но далеко не везде, не во всех звеньях поэмы найдена ею точная и верная форма внешняя.

Выше мы сказали о необходимости ломки манеры, которую Алигер выработала себе прежде, чем развилось и выросло, как должно, содержание ее поэзии. Если бы Алигер осталась в пределах этой манеры в поэме о Зое, она попросту не смогла бы ее написать. В этом произведении ей предстояло сделать скачок, превзойти самое себя. Удалось ли ей это? И да, и нет. В этом смысле поэма представляет собой довольно своеобразное зрелище. Лучшие — строфы, отдельные сильные ее сцены — сцена в лесу, превращение Зои в Татьяну, картина ее страданий под немецкой пыткой, отмеченный нами выше отрывок «Коптящая лампа, остывшая печка», картина казни — «как морозно, как светла дорога» — это как бы прорыв фронта в нескольких местах. Здесь вступала уже в свои права подлинная большая поэзия. Но в других местах, она осталась на пороге поэмы, как напоминание о возможностях молодого таланта и о той строгой школе прекрасного, которую ему необходимо еще пройти, чтобы осуществить в искусстве весь суровый опыт жизни, чувства и размышления, приобретенные во время войны.

ДОЛГ ПИСАТЕЛЯ

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ



Третий год наш народ ведет войну против сильного и беспощадного врага. Эта война не похожа на былые войны. Германия преследует две безумных цели: уничтожение народов и уничтожение человеческого начала. История не знала подобного покушения на самое существо человека. Мы защищаем высокие идеи и наши города, наш строй и нашу землю, наш язык и наше будущее. Мы защищаем и нечто большее: справедливость, человеческое достоинство, красоту. Былые войны кончались переговорами, выкупом, перемещением границ. В той войне, которую ведет наш народ, нет ни для республики, ни для отдельного человека другого выхода, как уничтожение зла.

Прежде бывали страны и люди, остававшиеся в стороне от войны. Сейчас нет нейтральных. Фронт всюду: от «зоны пустыни» в смоленщине до Рура, от Украины до улиц Парижа, от Мурманска до Эпира, от Ленинграда до Италии. Пастухи далекого Канхаса среди песков Африки или среди шотландского вереска выстраиваются в боевые порядки. Война охватила мир. Война охватила и сердце каждого. В том, как работают женщины, подростки, дети, в суровой нужде, в бессоннице, в ожидании, в гневе есть нечто еще невиданное: война продолжается в тылу. Она заполняет ночи. Она смещает мысли. Она не дает передышки. От нее никому не дано укрыться. Куда ты запрячешься, слепец? В Чили? И Чили воюет. В мир цветов или звуков? Но и музы в походе. На тебя глядит девушка. Она в Минске. Плачет ребенок. Он в Новгороде. Ещё высятся своды киевской Софии. На тебе ответственность за жизнь ребенка, за державу, за красоту. Кто прежде воевал? Воля. Иногда страсть. Иногда рассудок. Теперь воюет совесть, и только тот, в ком нет совести, может назвать себя нейтральным.

Да позволено будет сказать, восстанавливая полузабытые слова, что мы, писатели, были и останемся совестью народа. Не раз в истории человечества искусство принижалось до роли драпировщика в доме зла и развлекателя

на пиру веселья. Но подлинное искусство — подвиг, миссия, служение истине, красоте, народу. Много дано писателю, многое с него и взывается. Он отвечает не только за каждое слово, он отвечает и за свое молчание. Большие испытания проверяют природу таланта. Что придает силу писателю? Глубина и полнота чувств. Он вмещает страсти многих, страсти народа. Как Антей к земле, он припадает к душам. Вспомним роль писателя в прошлом веке. Строфы Пушкина и Лермонтова колебали трон. Наполеон Третий боялся поэта: на островке Джерсей жил Гюго, и в нем — совесть Франции. Голос Льва Толстого потрясал мир. Истинный писатель не только описывает, он предписывает.

Накануне этой страшной войны многие писатели Запада забыли о своей миссии. Они кобланились легкостью. Расплата была тяжелой. Во Франции, где ученые идут в первых рядах народа, где Сорбонна, не склонившись перед завоевателями, предпочла концлагерь лже-науке, в гордой и свободолюбивой Франции некоторые писатели решили отойти в сторону, переждать, отмолчаться. Физик Поль Ланжевен идет в тюрьму, а поэт Поль Валери пишет стихи о красоте нарциса — в этом приговор той литературе, которая отреклась от служения добру. Престарелый Кнут Гамсун выступил на съезде фашистских журналистов с речью приниженной и злобной. Норвегия страдает, Норвегия борется, а первый ее писатель благославляет палача. Как это случилось? Кнут Гамсун не был пророком, он был вассалом, и вассал переменял сюзерена. Я не хочу этими словами осудить всех писателей Запада. Когда итальянцы заняли Грецию, старейший и крупнейший ее поэт Костис Паламас отказался встретиться с победителями. Фашисты ему предлагали почет, собрание сочинений, дворец в Венеции. Костис Паламас в последней своей поэме проклял насильников, он завесил окна дома, выходящие на поруганный Акрополь, и умер непобедимым. Когда Испания сражалась против захватчиков, ее лучший поэт старый Антонио

Мачадо отдал свой дар народу. Он ушел с республиканцами из оскверненной Испании, и, перейдя границу, умер. Расстрелян немцами честнейший чешский писатель Ванчур. Огонь и кровь очистили литературу Европы от дурхоты, от плесени, от конформизма. Теперь и там нет нейтральных. Теперь есть только поэты-лакеи и поэты-герои. Между ними кровь.

Война показала глубокую связь советских писателей с народом. Это была жестокая проверка совести каждого. Я не стану сейчас говорить о том, как ее выдержал тот или иной писатель. Ее выдержала наша литература. До войны не все понимали подлинную роль писателя. Мы опасались громких слов: призвание, вдохновение, творчество. Однако вне этих слов немислимо понятие литературы. Грустно, когда писатель становится регистратором событий, комментатором комментариев, велеречивым пересказчиком. Увлекаясь терминологией, чуждой природе искусства, иные литераторы говорили о планировке романов по кварталам года. Они выезжали на сбор материала, как будто чувства людей — это ягоды в лесу или утильсырье. Они разбирали темы, как разбирают товары в универсаме. Они создавали иллюзорное представление о том, что писатель может писать всегда и про все. Однако искусство куда ближе к биологии, нежели к производству. Писатель заблуждается темой. Он ее находит не только в переживаниях людей, но и в своем сопереживании — в себе. Лев Толстой говорил, что следует писать о чем-либо только тогда, когда нельзя об этом не писать. Я не боюсь быть старомодным и напомнить, что все большие книги написаны кровью. Это стало ясным в дни войны. Писатели сделались необходимыми народу. К их голосу с волнением прислушиваются миллионы, и в мире, заполненном грохотом, громычанием танков, разрывами снарядов, ревом сирен отчетливо слышен слабый человеческий голос — друга, совести, поэзии.

Как бы ни готовилось государство к войне, человеческое сердце не может быть к ней готовым. Нельзя себе представить войну накануне войны. Солдат, идя в бой, как бы видит мир впервые. Я напомню вам о наших юношах, о вере в братство, о книгах и мечтах довоенных лет. Когда враг напал на нашу страну, поднялся народ. Люди знали, что нельзя уступить насилию, но в сердце каждого был хаос. Писатели помогли народу найти себя. Они помогли каждому человеку почувствовать до конца, осознать происходящее. Для того, чтобы идти в атаку, мало разума, нужны большие чувства. Не будет преувеличением сказать, что войну поддерживает возмущенная совесть народа. Писатели помогли понять сущность этой войны, природу того зла, которое обрушилось на нашу страну.

Враг в тот памятный день, когда он напал на нас, для многих был абстракцией. Воспитанные на принципах человеческой солидарности, наши юноши часто пытались увидеть в насильнике насилуемого. Писатели помогали

увидеть врага. Ненависть — это моральное оправдание войны. Мы ненавидим немцев не только за то, что они убивают беззащитных людей. Мы ненавидим немцев и за то, что мы должны их убивать. В этом основное отличие той войны, которую мы ведем, от былых войн. Тогда сражались между собой противники, обуреваемые одними и теми же заблуждениями, увлекаемые схожими страстями. Тогда моралист мог найти себе место «над войной». Теперь моралист взял в руки штык, а место «над войной» занимает не Ромен Роллан, но Пьер Лаваль.

Когда мы говорим о презрении к врагу, мы вкладываем в эти слова большое моральное содержание. Дело, конечно, не в том, что зимой фрицы жалки, и даже не в том, что они легко переходят от наглости к подхалимству. Мы мало знали зарубежный мир. Германия многим представлялась страной философов и музыкантов или краем спартаковцев, или показательным миром высокой техники, точных наук, урбанизма. Мы к тому же страдали некоторым фетишизмом материальной культуры. Нам трудно было сразу воспринять солдата, который вечной ручкой записывал в дневнике свои наблюдения. Между тем в презрении к врагу — глубочайший смысл нашей войны. Не потому мы презираем немцев, что они — немцы, а мы — русские. Наша правда выходит из пределов государственных границ, а победы Красной Армии приветствует Томас Манн. Мы сражаемся за истину, за справедливость, за торжество добродетели. Об этом говорит совесть народа. Об этом говорят писатели. В этом их долг. В этом их заслуга.

В первые же дни войны все поняли, как велика роль писателя. До войны порой к нам обращались газеты за так называемыми «откликами» на события. Когда началась война, голос писателя зазвучал, как ветолевой колокол. Ожили самые прекрасные традиции русской литературы. Писатель понял свой долг и писатель нашел свое место.

Я должен здесь сказать о некоторых молчаливых. Я не хочу никого осуждать, но позволительно напомнить, что молчание не всегда золото. Семь примерок не всегда мудрость. Если фронтовики не услышали голоса того или иного писателя, которого любили, которому верили, то они вправе сказать: «Он был с нами в дни любви и мечтаний. Он нас оставил в эти грозные дни».

Почему народ ждёт голоса писателя? На войне люди стали и грубее и чувствительнее. Заштампованные слова режут сердце. Трафаретные фразы оскорбляют. Фальшь слышна каждому. У писателя есть свой голос: я говорю о настоящем писателе. Он не эхо, он человек. Для своих чувств он находит слова, которые доходят до сердца. Напрасно говорить о «доходчивости». Этот неологизм произволен. Доходит всё искреннее. Писатель смотрит на мир своими глазами, и это позволяет ему заглянуть глубже в темноты чувств, осветить их гармонией. Вот почему в дни испытаний журналист не может заменить писателя.

Редакции газет во время войны стали чаще обращаться к писателю. Казалось бы, нет недостатка в газетном материале. Одними телеграммами можно заполнить не четыре полосы, а сорок. Но вот газеты отводят место не только статьям, памфлетам, призывам писателей, не только их очеркам, но даже стихам, рассказам, повестям, драмам. Это значит, что писатель может сказать то, чего не могут сказать другие. Это значит, что писатель умеет говорить так, как не умеют говорить другие.

Писатели вошли в газету, как всходят на трибуну: это не их рабочий стол, это не их место. Но и блиндаж не место сталева или садовода. Война переселяет людей и сердца. В мирное время газета — осведомитель. В дни войны газета — воздух. Люди раскрывают газету прежде, чем раскрыть письмо от близкого друга. Газета теперь письмо, адресованное лично тебе. От того, что стоит в газете, зависит и твоя судьба. Так газета узнала новых людей: писателей.

Я не скажу, чтобы эта встреча прошла без помех, без столкновений, без трудностей. Зачастую наши журналисты пишут на языке, который равно далек и от литературного, и от разговорного. Мы называем его в отличие от русского «газетным языком». В сознании читателей он откладывается, как условный код. Я приведу отрывок из полученного мною письма, который показывает, как отражается газетный язык на языке читателей: «Постарайтесь писать в разрезе ненависти и больше того, насыщайте ваши книги в разрезе нашей культуры, взаимодействий частей и личных уважений товарищей к товарищам или общей нашей монолитности гражданских уважений». Газета долго культивировала скудность словаря, безличность стиля. Позволю себе привести пример из личного опыта. В начале войны редактор одной газеты предложил мне написать передовую. Напрасно я говорил ему, что не умею писать передовые, он настаивал. Я написал. Прочитав, он рассмеялся: «Но ведь по статье видно, кто ее написал...». Это относится не только к передовым. Многие редакторы испугались того багажа, с которым пришли писатели, а именно — живых слов. Будет несправедливым умолчать, что и некоторые писатели, придя в газеты, не сразу поняли особые условия работы, пытались писать статьи по рецепту доброго старого романа. Однако много препятствий уже преодолено. Писатели твердо завоевали право говорить с народом. Теперь трудно себе представить центральную или армейскую печать без писателей.

Я остановлюсь прежде всего на чисто газетной работе: на статье-призыве, на публицистическом эссе, на памфлете, на очерке. Достаточно назвать имена Алексея Толстого, Тихонова, Василия Гроссмана, Горбатова, Симонова, чтобы перед нами встали видения двух грозных лет, жестокая осень сорок первого, когда слово писателя приподымало, защитило Ленинграда, Сталинградскую эпопею, наши победы. В статьях и в очерках писателей раскрылись два мира: царство лжи и корысти, олицетворяемое

гитлеровцами, и вся полнота советского мужества, русской самоотверженности.

Много писателей с первых дней войны работают в армейской печати. Они делают с Красной Армией трудности походной жизни. Другие писатели, в качестве военных корреспондентов центральной печати, выполняют ответственную работу на фронте. Наша семья узнала много потерь. Писатели показали себя смелыми солдатами. Об этом необходимо напомнить. Один неврастеник порой заметней сотни героев. Вряд ли товарищ Корнейчук хотел в персонаже своей пьесы названным «Крикуном» что-либо обобщить. Наш долг перед погибшими друзьями, работниками армейской печати и военными корреспондентами сказать, что в своем огромном большинстве писатели-фронтовики не крикуны, но солдаты.

Работа в армейской печати нелегка. Не все редакторы понимают природу писателя. Конечно, любой прозаик или поэт может написать заметку о том, что нужно доставлять горячие щи на передний край или что некорошо ходить с оторванной пуговицей. Вопрос в другом: следует ли для таких заметок прибегать к труду писателя? Я не говорю об исключительных случаях: бывает, что мастера артиллерийского огня должны идти в стыковую атаку. Я говорю о каждодневной работе. Писатель не может писать автоматически. Все написанное отражается и на самом писателе. Если писатель будет сто дней писать о бане, в сто первый он не сможет написать о красоте и величии родины. Такова специфика творчества. Если мои слова дойдут до некоторых редакторов, пусть они вспомнят старую сентенцию: не всегда разумно топить печи красным деревом.

Рассматривая произведения писателей фронтовых или центральных газет, нельзя ни на минуту забывать о том, что зачастую характер их работы определяется внешними обстоятельствами. Чтобы написать повесть, нужно обладать некоторым количеством свободного времени. Это ясно каждому. Многие наши поэты с первых месяцев войны на фронте. Если пребывание в тылу опустошило некоторых писателей, то пребывание на фронте не дало возможности многим, душевно обогащенным, создать то, что они могли бы создать и что они еще создадут. Искусство требует времени.

Есть много несправедливого в оценке работы того или иного писателя. Есть много глубоко случайного и преходящего в успехе того или иного произведения. Иногда дело решает имя: отблеск довоенного горения. Иногда автору удается прельстить читателей или зритель жартинками войны, которой автор не видал и которая поэтому показана такой, какой ее хочет увидеть тыл. Иногда писатель, увидевший фронт, как турист, переживает солдата. Однако все это глубоко временные явления. Справедливость неизбежно восторжествует. Лучшие читатели на фронте. Они отличат драму от мелодрамы. Долго нельзя жить за счет прошлого. Турист опорожнит содержимое своей записной книжки. Настанет день, и мы увидим вы-

страданные зрелые книги. Их напишут писатели, которые эти годы прожили с народом.

Теперь часто слышишь беседы о необходимости монументальных полотен. В этих рассуждениях есть и правда, и самообман. Правда в том, что за два года народ безмерно вырос. Мысли и чувства созрели, углубились. Строже, целомудренней должен отнестись к своей работе писатель. Читатель теперь знает, как выглядит война, он хочет знать, как выглядит душа человека. Описание подвигам или злодеяний не удовлетворяет читателя, он ищет того, что скрыто за делами, ключа к познанию своей эпохи.

Я сказал, что в разговорах о монументальных полотнах есть и самообман. Мы часто слышим сеговотания: «Почему у нас нет «Войны и мира» Второй Отечественной войны?» Многие писатели настолько приучили читателей к мысли, что произведение искусства рождается от наличия материала и доброй воли исполнителя, что подобные претензии кажутся логичными. Но писатель должен уметь и отказывать. «Война и мир» была написана писателем, который узнал войну, как ее участник. Вряд ли без душевного опыта, приобретенного в Севастополе, Толстой смог бы создать свой гениальный роман. Замечательные книги о войне напишут не согладаты, а участники, у которых теперь подчас нет возможности написать даже письмо родным.

Когда мы говорим о «монументальных полотнах», мы обычно представляем классический русский роман XIX века. Он замечателен познанием природы человека, отсюда его глубокий реализм. Писатель, который два минувших года был занят литературой, накопил ограниченное знание войны. Даже обладая даром высокой наблюдательности, он увез с фронта отдельные впечатления. Он описывает человека, которого встретил, он не может выбрать героя из сотни досконально им изученных людей. Он приводит такой-то эпизод, не потому что он его облюбовал, а потому, что ему рассказали именно этот эпизод. Может быть, таких наблюдений и достаточно для новеллы, для романтического или сатирического романа, для поэмы, для трагедии, их недостаточно для реалистического романа. Толстой знал не только своих героев, он знал всю их родню, сотни их сверстников и знакомых, о которых и не упомянул. Он прекрасно знал, что делал тот или иной его персонаж между двумя главами романа. Писатель, знакомый с фронтом как турист, напрасно попытается написать классический роман о войне: его повествование будет узкой дорогой, освещаемой фарами, направо и налево от которой мрак. Но зародыш реалистического романа уже живет в голове фронтовика, который теперь думает куда меньше о литературных формах, нежели о прорыве вражеской обороны.

Роман требует перспективы. Его нельзя создать на ходу, когда описываемое событие еще незакончено. Мы твердо знаем, что мы победим. Но лица победы никто из нас не видит. А ведь последний день определяет пред-

шествующие. Сейчас впервые можно написать классический роман о той эпохе, которая закончилась 21 июня 1941 года. Военное время благоприятствует расцвету заменителей, но от одного удержимся: от заменителей литературы.

Неправда, что война убивает литературу. Неправда и то, что война благоприятствует литературе. Некоторые литераторы всегда говорят, что каждый переживаемый ими период благоприятствует расцвету литературы. Они это повторяют уже много лет. В часы опасности страна или город объявляются состоящими на исключительном положении. Война — исключительное положение сердца. Человек на фронте многое приобретает, одновременно он и многого лишается. В воздухе войны выживают, крепнут одни виды искусства, чахнут другие. Война не допускает нюансов, она построена на белом и на черном, на подвижничестве и на преступлении, на отваге и на трусости, на самозабвении и на подлости. Тот, кто вздумал бы усложнить психологию врага, выбил бы винтовку из рук своего защитника. Мы не станем утверждать, что война — идеальный климат для искусства. Пушкин или Гюго могли бы описать оборону Сталинграда. Не думаю, чтобы это удалось Чехову или Флоберу.

Во время войны расцветает самая эмоциональная форма литературы — поэзия. Заново возрождается романтика, способная изменять пропорции и пренебрегающая внешней правдоподобностью во имя эмоциональной правды. Наша поэзия за время войны очистилась и выросла.

В прозе господствует лирическая и романтическая новелла или повесть: «Народ бессмертен» Гроссмана, рассказы Платонова, Соболева и других. Они, наверно, будут подвергнуты тщательному разбору. Мне хочется только подчеркнуть, что за два года войны, несмотря на все трудности, наша литература обогатилась произведениями более значительными, чем в довоенные годы. Мы можем не прибедняться. Мы не должны и торжествовать: по сравнению с душевными событиями, с людьми Севастополя и Сталинграда наша литература еще очень бледна.

Мы видим, как с начала войны исчезли споры о примате того или иного литературного направления. Это не апатия, это душевное напряжение. Если находятся писатели, которые упрекают современных авторов в мнимом консерватизме формы, то мы можем ответить, что вчерашние новаторы незаметно для себя, но вполне заметно для других, стали фанатичными консерваторами некоторых литературных приемов. Война рождает любовь к тишине, к строгости, к целомудрию. Грозность тем проясняет стиль. Литературные бури всегда подымаются в спокойные годы. Оправдано временем стремление к ясности, к законченности. Неудивительно, что поэтика Маяковского многим молодым поэтам кажется большим анахронизмом, чем поэтика Пушкина. Однако у нас нет сейчас врагов дерзаний и блюстителей канонов, нет и надо надеяться

не будет. Ямб наших поэтов непохож на ямб пушкинского времени. Цезуры видоизменили его. В нем сказывается опыт символистов, Маяковского, поэтов советской эпохи. Тот же опыт сказывается и в отборе слов, в образах, в архитектуре стиха. Проза Гроссмана или Платонова это не возвращение к реалистическим рассказам прошлого века, это и не те стилистические и синтаксические искания, которые прельщали авторов в двадцатые годы нашего века.

В дни войны писатель особенно остро чувствует свою связь с языком: это та святыня, за которую летят кровь. В дни войны особенно страстно мы любим наш великий язык. Любовь взыскательна. Писателю не простятся преступления против языка. Этим я не хочу поощрять шуризм: живой язык не в словаре Даля, а в сердце народа. Язык меняется, и наш язык не язык пушкинской эпохи. Но долг писателя оградить этот живой язык.

С вопросом об языке тесно связан вопрос о национальной природе искусства. Мы многое пересмотрели за два года. Наши дни напоминают бушующее море. Ещё ничего не проверено, не оформлено. Мы равно должны остерегаться и мелей космополитизма, и рифов национализма.

Космополитизм это мир, в котором вещи теряют цвет и форму, слова лишаются их значимости. Можно на эсперанто написать меню или расписание, даже трактат, нельзя на эсперанто написать «Гамлета» или «Медного всадника».

Ошибочно воспринимать национальные особенности, как сущность национальной культуры. Пушкин столь же национален в «Пире во время чумы», как и в сказках. Поэтика Кольцова может показаться более самобытной, нежели поэтика Тютчева, но разве Тютчев не выразил загваенную страсть русского сердца—образами, ритмом, словами? Ведь Россия это не только избяная Русь, это не только поле и перелесок, это также Петербург, Адмиралтейство, гранит набережных. Поверхностному классификатору Лесков может показаться более национальным, нежели Тургенев, но в истории нашей страны Тургенев сыграл роль не меньшую, чем Лесков.

Национальная культура маленького государства иногда выражается во всемогущающем самоутверждении. Миссия России всегда мнилась лучшим представителем русского народа в утверждении братства, добра, всечеловеческих идеалов. Мы недаром выбрали литературным знаменем светлый гений Пушкина. Он был русским в лучшем смысле этого слова. Он слышал биение родной речи, он вдохновлялся русской природой, русской историей, русскими добродетелями. Одновременно он был передовым умом человечества. Его волновала судьба Европы. Он восхищался поэзией чужих народов. Он написал «Онегима» и «Мощарта и Сальери», «Полтаву» и «Каменного гостя», «Медного всадника» и «Пир во время чумы». Корни искусства уходят глубоко в национальную почву. Верхушка дерева выситя над всеми границами. В дни глубокого затемнения, которое принес миру фашизм, необходимо

с особенной страстностью говорить о всечеловеческом значении искусства.

Гитлеровская Германия показала миру, что националистическая спесь и культурная автаркия приводят к одиночанию. Народ, возопивший «я первый», стал последним. Чванству фашистов мы противопоставляем наши идеалы всечеловеческого братства. Мы знаем, что в девятнадцатом веке русский роман изменил облик мировой литературы. Толстой, Достоевский, Чехов оказали благотворное влияние на всех писателей Запада. Но мы не зарекались и не зарекаемся от учения. Мы приветствуем те ветра, которые разносят по миру семена прекрасного. Мы помним о роли Байрона, Стендаля, Гейне, французских символистов в истории нашей литературы. Мировая культура не подсчет импорта и экспорта, но живой организм. Только сомневающийся в своей душевной силе художники, только люди, не верящие в гений России, способны мечтать о закрытии границ в искусстве.

Я горжусь тем, что даже в самые горькие дни испытаний наш народ не перенес своей справедливой ненависти к солдатам Гитлера на Гёте. Мы хотим покарать преступников, заливших нашу землю кровью, это не только наше право, это наш долг. Но никто из нас не хочет сжечь дом Гёте в Веймаре. На отвратительные немецкие тирады «Мы — народ господ» мы отвечаем пулеметной очередью, артиллерийским огнем, но не тирадами: «Народ господ это мы». Наш патриотизм чист, он лишен чванства, нетерпимости, зоологического начала.

Наше государство — образец национального многообразия. Если узбеки и казахи, татары и башкиры, армяне и грузины краются рядом с русскими, то это потому, что наша родина осуществила чудо, о котором мечтали философы и подвижники всех времен. Мы, писатели, должны ревностно оберегать наше братство от всех напастей. Война выводит чувства из равновесия. Мы знаем, как необходимо нам единство. Для нас были откровением поэма Руставели и «Джангар», Стихи Исаакяна и Рыльского обогатили русскую поэзию, как русская поэзия обогатила сознание всех советских народов. Русский народ завоевал первое место в нашей семье не самообожествлением, а самоотверженностью. Злобе и уничижению фашизма мы противопоставляем любовь, внутреннее единство в прекрасном многообразии языков, форм, чувств. Долг русских писателей окружить любовью, участием, пониманием наших друзей — украинских, белорусских, литовских, латышских, эстонских писателей. Никогда они не были нам так дороги, как теперь. Я хотел бы, чтобы в нашей писательской семье царил боевая дружба, как на переднем крае.

В дни войны нам открылось как бы заново прошлое нашей страны, ее суровая и высокая история. Мы часто говорим о традициях, о наследстве. Слепое приятие прошлого столь же нелепо, как и огульное его отрицание. Наследство бывает разным: можно унаследовать сад и пустырь, дом и задолженность. Мы любим в нашем прошлом всё, что мы считаем

прекрасным и справедливым. Любя страстно Пушкина, мы не жалуем ни Аракчеева, ни Беркендорфа, ни литературных комформистов пушкинской эпохи вроде Фадея Булгарина. Мы не можем воспринимать прошлое равнодушно: оно для нас не мертвые камни, но живая земля.

Я говорю об этом потому, что сейчас, как никогда, ответственна роль советского писателя. Наши читатели за два года очень изменились. Они ищут в статьях, в стихах, в книгах ответа на сложные и мучительные вопросы. Они хотят понять себя, своё время. Мы недостаточно думали об этике, а вне этики нет искусства. Этику нельзя сформулировать в своде законов. Она раскрывается в искусстве. Молодая душа верит добру, потому что добро прекрасно. Это добро нужно показать. Мы видим, как восторжествовали великие чувства: любовь к родине, дружба, верность. Они уже запечатлены кровью на родной земле. Они требуют воплощения в искусстве. Мы должны показать чистоту и силу любви, величие рыцарских чувств. Недостаточно декретировать уважение к старости или заботу о слабых. Необходимо воспитать эти чувства не проповедью моралиста—вдохновенным словом поэта. Когда бушует стихия войны, писатель пишет скрижали человеческих заповедей. Не примем той лиры, которая пробуждает добрые чувства и славит свободу.

На фронте слово писателя—это и письмо ст любимой, и голос друга, и совет старшего. Красная Армия уже освободила от немцев обширные территории. Близок час, когда Киев, Крым, увидят свободу. Десятки миллионов советских людей ежедневно более двух лет слышат звериный вой фашизма. Слово писателя поможет им вернуться к живой жизни. Нужно большими пламенными словами

заполнить душевные бреши страшного двухлетия.

Трудна жизнь наших людей в тылу. Они самоотверженно работают. Многие из них потеряли близких. Война зачастую доходит до них обесцвеченной. Кто подымет их сердца повестью о героизме бойца, как не писатели фронта?

Вспомним о детях. Это наша надежда. Это то, за что умирают герои. Война у них часто отбирает детство. Долг писателя найти путь к сердцу того поколения, ради счастья которого мы идем на все жертвы.

Велик долг писателя, труден он, не похож на те литературные сенсации, которые порой потрясали комнаты Клуба писателей в довоенные времена. Война продолжается. К войне нельзя привыкнуть. Войну нельзя толковать, как естественное состояние. Для рабочего, для землемашца, для инженера, для каждого советского гражданина война нечто исключительное, Я не раз называл ее иступлением. Огонь требует, чтобы его поддерживали. Когда война становится бытом, она умирает. Нет, не может стать бытом наша война: ее ведет оскорбленная совесть. Будем помнить: немцы в Киеве. Будем помнить: немцы обстреливают Ленинград. Будем раздувать огонь. Пробудим ещё большую ненависть к злу, ещё большую любовь к доброму и прекрасному. Народ нас создал. Он вскормил нас чудными песнями, сокровенными словами, историей, материнской лаской. Мы в долгу у него. Народ воюет за право жить. О чём нам думать, как не об этой войне? Чем нам жить, как не ратными трудами? О чём мечтать, как не о победе? Мы будем теперь говорить о книгах, удачных или неудачных, о формах, о приемах. Но пусть над нашими спорами стоит образ войны, суровой и требовательной: музы в походе.

„ГЕНЕРАЛ БАГРАТИОН“

А. ДЕРМАН

★

Две грозные опасности подкарауливают писателя, который отваживается положить в основу своего произведения тему и сюжет, уже использованные до него кем-либо из великих мастеров. Одна из этих опасностей ясна, открыта и хорошо всем известна: хождение по избитой тропе, исключающее самую сущность творчества. Примеров подобного рода — сколько угодно в истории литературы, и говорить об этом не стоит.

Гораздо сложнее и коварнее вторая опасность, мало изученная и не столь резко бросающаяся в глаза. Я имею в виду случаи, когда писатель, находясь в плену концепции и образов своего великого предшественника, сознает это, пытается сбросить с себя иго плена, но прибегает с этой целью к приёмам чисто внешнего порядка: если герой у предшественника изображен был добрым и умным, он нарочито рисует его глупым и злым; если герой изображен был верхом на вороной лошади, он перекрашивает эту лошадь в белый цвет и т. п. Другими словами: писатель покорно идет по следу, продолженному предшественником, но при этом выворачивает ногу, ставя ее носком назад. Зрелище получается довольно жалкое.

Ни о чем таком не приходится заботиться писателю, если он не чувствует себя в плену у своего предшественника. А это возможно лишь при одном условии: когда у него есть своя собственная концепция, свой собственный взгляд на события и лица изображаемой эпохи, свое личное к ним отношение. Если в иных случаях у него даже получается совпадение с предшественником, — его это не смущает; не корбит его также и читателя, который видит перед собою существенно новую картину жизни, хотя трава, которую топчет конь изображенного и там, и здесь героя, в обоих случаях зеленая, а снег белый.

Именно такую самостоятельную картину Отечественной войны 1812 года дал нам С. Голубов в своей книге «Генерал Багратион», обратясь к теме «Войны и мира» Толстого.

Таким образом, прежде всего встает вопрос об исторической концепции книги «Генерал

Багратион». Кратко ее можно формулировать так: характер и исход Отечественной войны 1812 года обусловлены величайшим духом активности, которым проникнута была в ту пору русская армия сверху донизу.

Выбор центральных фигур в книге Голубова находится в точном соответствии с этой основной концепцией автора. Багратион поставлен в центре повествования и притом Багратион пламенный, вдохновенный, красноречивый, подлинный герой в классическом смысле этого слова.

Четыре разряда фигур заполняют нарисованную Голубовым историческую картину: генералитет, офицерство, солдатская масса и народ. С наибольшей полнотой и детальностью изображены фигуры знаменитых генералов Отечественной войны: Багратиона, Кутузова, Барклая, Раевского, Ермолова, Бенигсена, Воронцова, Неверовского, Тучкова и др. Менее подробно, но все же обстоятельно нарисованы портреты офицеров: полковника Толя (одна из самых удачных фигур во всей книге), Кантакузена, Травина, Олферьева и др. Фигуры солдат: Ворожейкина, Старынчука и крестьян.

Книга «Генерал Багратион» — это книга об Отечественной войне 1812 года, главным образом о руководителях русской армии и офицерстве. Генералы и офицеры Отечественной войны живут в книге, каждый в своей индивидуальности, по большей части резкой и характерной. Здесь даже затрудняешься, кого поставить на первое место по меткости, богатству и цельности изображения.

Самое название книги указывает, кого автор считает в ней главным и центральным лицом. Но если Багратиону отведено здесь первое место в смысле композиционном, то другие исторические портреты, как, например, Кутузова или Барклая-де-Толли не уступают ему в смысле значительности и выразительной законченности изображения.

Автор рисует Багратиона в стиле сугубо-романтическом, как бы постоянно озаренным вулканическим пламенем боевого героизма.

Почему фигура Багратиона поставлена Голубовым в центре его повествования?

Думается, потому, что в образе этого генерала собрано, как в оптическом фокусе, все самое характерное и существенное, символизирующее дух и сталь Отечественной войны в исторической концепции автора: пламенный патриотизм ее участников и народа в целом, беззаветное мужество, непреклонность веры в победу над Наполеоном, не знающий пределов героизм, огромная энергия и т. д. Багратион — кумир и любимец армии не только потому, что он боевой генерал, отмеченный печатью гениальности, что в его славой военной карьере блестящие победы и ни одного поражения, но и потому, что каждый офицер и каждый солдат чувствует в нем живое и наиболее полное воплощение того самого, чем он сам живет, что его самого переполняет.

Это становится особенно ясным при сравнении Багратиона с Барклаем и того, как относится армия к этим двум генералам.

Надо сказать, что в изображении Барклая автор показал себя настоящим мастером исторического портрета. Именно здесь, да еще в фигуре полковника Толя и почти в такой же степени в портрете поручика Травина чувствуется, во-первых, широта замысла и затем то счастливое соединение твердости и смелости штрихов с осторожностью и вдумчивостью, которое позволяет художнику вскрыть характерное для целой эпохи в изображении отдельного исторического лица.

Автор рисует Барклая прежде всего с большим чувством справедливости. Барклай не только умен, образован, вдумчив, но он самоотвержен. Он ясно видит, какую ненависть против себя со стороны армии порождает он своею медлительностью, своей стратегией и тактикой, бесконечными уклонениями от боя с Наполеоном. Но он убежден, что в сложившейся обстановке это необходимо, что иначе армии и России грозит гибель, и он с огромным чувством ответственности приносит в жертву себя и свое имя. В то же время автор показывает, что в расчетах Барклая недостает чего-то очень существенного, того, что переполняет сердце Багратиона и любого солдата русской армии.—боевого духа, нетерпения сразиться с врагом, которое удесятерит силы воина. — и этот роковой недостаток делает Барклая непригодным для той исторической роли, выполнять которую он поставлен. В изображении С. Голубова Барклай отнюдь не изменник, как это казалось многим его современникам. Это — трагическая фигура, трагизм которой обусловлен отсутствием гармонии между его логическими и эмоциональными

данными, явным преобладанием первых над вторыми.

С большой яркостью и обдуманностью изображен у Голубова Кутузов. Он насквозь воин, подлинный боевой генерал, но боевой дух сочетается в нем с глубокой вдумчивостью, с широтой стратегической мысли, с обширным умом и мудрым опытом. Когда его назначают на место Барклая главнокомандующим русских вооруженных сил, радость и уверенность охватывают армию, потому что каждый чувствует то самое, что мысленно высказывает Багратион при назначении Кутузова: «Не надо больше ни воевать с чужой осторожностью, ни бежать от своей собственной предприимчивости. Во всем — смысл». Кутузов у Голубова чрезвычайно активен и инициативен, он лишь неопытлив в оных приемах, он чрезвычайно уравновешен. Те простые слова, которые он с такой непринужденностью то-и-дело словно роняет по тому или иному поводу, в действительности наперед им рассчитаны, взвешены и обдуманы. И так велика вера, вселяемая Кутузовым русской армии в целесообразность его действий, что, даже отступив без боя от Москвы, он сохраняет эту драгоценную веру в него войска во всей силе и чистоте.

Не будем останавливаться на ряде других превосходных исторических портретов книги Голубова: типичного генерала-рубака Платова, картинного Ермолова, страстного Кантакузена, отважного Ковуньицына... Сложен и очень интересен образ поручика Травина, в суровом и демократическом мужестве которого предчувствуется будущий декабрист. Выделяется тонкостью отделки фигура полковника Толя, — сообразительного и лукавого карьериста. Иным из этих образов автором уделено всего несколько штрихов, но фигуры получились живые, запоминающиеся в своей индивидуальности.

Большим достоинством книги является уверенная свобода автора в обращении с материалом, опирающаяся на военно-техническую и военно-историческую осведомленность. Во всем этом чувствуется рука «хозяина», а не дилетанта, знакомящегося с вопросом по справочникам.

Чисто повествовательный, собственно авторский язык в книге — хорош и меток.

Книга иллюстрирована хорошими рисунками художника Кузьмина. Вообще книга в целом производит очень сильное впечатление общим своим духом, — глубоко патриотическим, бодрым, исполненным живого динамизма в описании великой години русской истории, столь волнующе близкой тому, что переживаем все мы в дни второй Великой Отечественной войны.

БИБЛИОГРАФИЯ

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ О ПРУССАЧЕСТВЕ*

Это — самая современная книга, какую только можно себе представить, хотя она и начинается с стихотворений XVIII века. В ней собраны высказывания русских писателей и поэтов, начиная с Ломоносова и Посошкова и кончая Горьким и Маяковским, о том отвратительном явлении, которое обозначается словом «пруссачество».

Ломоносов в стихах, написанных 181 год тому назад, восхищаясь тем, что «за Вислой и за Вартой грады падения или отрады от воли росской власти ждуд и сердце гордого Берлина, неистового исполина перуны, близ грёмя, трясут», вместе с тем призывает зорко смотреть, «чтоб гордостью своей наказанный Берлин для беспокойства царств не умышлял причин».

Фонвизин, путешествуя по Германии, приходит к заключению, что «у нас всё лучше и мы больше люди, нежели немцы».

Лермонтов иронически отзываясь о том народе, который «без таланта правит и за деньги служит, всех давит сам, а бьет его — не тужит», у которого «всякий чорт — барон и уж профессор «каждый их сапожник».

Гоголь комическими чертами рисует портрет «совершенного немца» — жестяных дел мастера Шиллера. Белинский находит, что «многие из немцев даже рождаются филистерами».

Герцен, больше всех писавший о реакционной Германии, ровно сто лет тому назад, в 1843 году, утверждал, что Германия «ниже всей Европы в развитии гуманности». Он же давал убийственную характеристику немцев, при самодержавной власти занимавших многие высшие должности в России: «Без всякой связи со страню, которую они не трудились изучать и презирали, как варварскую, высокомерные до наглости, они были самыми раболопными орудиями императорской власти». Герцен кон-

статировал как факт, что немцы «ненавидят вообще всё русское и всех русских», что их отличает высокомерная ненависть ко всему русскому, отвращение к нам, которое они едва могут скрывать». Его возмущало то, что немецкие публицисты считали «ни во что» тот бесспорный факт, что в 1812 году Россия освободила Германию от власти Наполеона. С тревогой наблюдая всё увеличивающийся рост милитаризма в Германии, Герцен предвидел, что Германия «будет предписывать законы Европе до тех пор, пока законы ее будут предписывать штыком и исполнять картечью по самой простой причине: потому что у нее больше штыков и больше картечи». Но вместе с тем Герцен выражает твердую уверенность в том, что это преобладание Германии не может быть продолжительным. «Я не верю, — пишет он, — чтобы судьбы мира оставались надолго в руках немцев и Гогенцоллернов. Это невозможно, это противно человеческому смыслу, противно исторической эстетике».

Тургенев в романе «Накануне» рассказывает эпизод с солдафоном немцем, пристающим к девушке. После полученного им решительного отпора он быстро теряет свою развязность и превращается в жалкого труса.

Чернышевский определенно считал, что теория о коренном различии между разными расами придумана рабовладельцами для оправдания рабства. Люди эти, говорит Чернышевский, — любители насилия, хоть и умеют говорить языком цивилизованного общества, остаются в душе людьми варварских времен.

Некрасов в своей знаменитой поэме «Кому на Руси жить хорошо» устами старого крестьянина Савелия дает такую зловещую характеристику немца управляющего, жестокого эксплуататора крестьянского труда:

У немца хватка мертвая:
Пока не пустит по миру,
На отойдя, сосет.

* Русские писатели о пруссачестве. Сборник высказываний. ОГИЗ. ГИХЛ. М., 1943.

Как не вспомнить это классическое определение немецкой жадности именно теперь, когда

гнусные немецкие жишники высасывают последнюю кровь из насильно угнанных в Германию мирных русских людей.

Салтыков, посетив Германию, приходит к выводу, что Берлин «ни для чего другого не нужен, кроме как для человекоубийства» и что «вся суть современного Берлина, всё мировое значение его сосредоточены в настоящую минуту в здании, носящем название: Главного штаб». В Берлине Салтыков испытывал «щемящую скуку». «Трудно представить себе, — пишет он, — что-нибудь более унылое, нежели улицы Берлина».

Но самое сильное, что написал наш знаменитый сатирик о немцах и, пожалуй, самое сильное, что написано о них во всей русской литературе, это — известный сатирический очерк Салтыкова «Мальчик в штанах и мальчик без штанов». Какой современностью дышат негодующие речи против самоненятия, жадности, жестокости и варварства немцев! Измените только некоторые выражения и вы получите точную картину того, что происходит в настоящее время во всех оккупированных Германией странах. «Вы подъезжаете с наукой, — говорит русский мальчик немцу, — а всякому думается, что вы затем пришли, чтобы науку прекратить». Читая эти строки, так и видишь гитлеровцев наших дней, которые уверяют, что они защищают культуру, а всякое очевидно, что они пришли только затем, чтобы всякую культуру у них истребить. «Вы указываете на ваши свободные учреждения, — говорит далее русский мальчик, — а всякий убежден, что при одном вашем появлении должна умереть всякая мысль о свободе». Так сейчас всякий видит, что гитлеровский «новый порядок» есть не что иное, как система неслыханных насилий, грабежей и ужасающего зверства.

Сатирик обращается к немцам с такими словами: «Только зависть и жадность у вас первого сорта, и так как вы эту жадность произвольно смешали с правом, то и думаете, что вам предостой слопать мир. Вот почему вас везде ненавидят, — не только у нас, но именно везде. Все вас боятся, никто от вас ничего не ждет, кроме подвоха». В этих гневных словах, написанных 63 года тому назад, ничего не приходится менять в наши дни. Этими словами наш великий сатирик из-за гроба приговора дает к позорному столбу гитлеризм, возбудивший ненависть к себе во всем мире.

Глеб Успенский, посетивший Берлин в годы шовинистического угара после разгрома Франции в 1871 году, утверждает, что в любом немецком военном «сидит образцовый, сознательный зверь».

Достоевский в письмах к жене из Германии отмечает, что «немцы народ по преимуществу самодовольный и гордый собою», а в своих печатных статьях указывает на то, что немцы отличаются «беспредельным высокомерием перед русскими» и непоколебимой уверенностью в том, что «выше германского духа и слова нет ничего в мире» и что поэтому Германия пред-

назначена к руководству всем миром». В романе «Подросток» Достоевский упоминает о существовавшей уже тогда в Германии возмутительной теории, будто бы «русский народ есть народ второстепенный..., которому предназначено послужить материалом для более благородного племени, а не иметь своей самостоятельной роли в судьбах человечества».

Лев Толстой в «Войне и мире» говорит, что «немец самоуверен хуже всех, и тверже всех, и противнее всех», а в одной из позднейших статей называет германского императора Вильгельма II «ограниченным, мало образованным, тусклым человеком с идеологией немецкого юнкера» и упрекает его и его подданных в том, что «нет той глупости и гадости, которую бы он не сказал и которая бы не встречена была восторженным hoch (ура)».

Чехов, живя в Германии, пишет сестре, что в немецкой жизни «не чувствуется ни одной капли таланта ни в чем, ни одной капли вкуса» и что «наша русская жизнь гораздо талантливее».

Горький, не доживший до вероломного нападения Германии на нашу страну, тем не менее предвидел это нападение. Еще при его жизни итальянский фашизм предпринял свой разбойнический поход против Абиссинии, и Горький с возмущением писал о том, как «итальянский фашизм устанавливает рекорды бесчеловечья, разрушая бомбами лазареты Красного Креста, добывая раненых, уничтожая медицинский персонал, отравляя мирное население газами, отравляя ядами скот, землю, воду, растительность». «Фашизм немецкий,— прибавлял Горький,— усердно готовится к той же деятельности». «Совершенно ясно,— негодуяще писал Горький,— что Европой, ее трудovima народом правят люди обезумевшие, что нет преступления, на которое они не были бы способны, нет такого количества крови, которое они побоялись бы пролить». Горький не сомневался, что «поголовное истребление абиссинцев фашистами Италии немецкие фашисты, конечно, оценивают, как «пробу меча», который они, как известно, предполагают употребить именно для истребления пролетариев и колхозников Союза Советов». Но Горький не сомневался также и в неминуемой гибели, которую сам себе готовит фашизм своими кровавыми преступлениями. «Враг осужден,— уверенно заявлял Горький,— и погибнет тем скорее, чем более безумна и подла будет его неистовая жажда крови».

Сборник заканчивается патристическими стихами Маяковского, написанными в первую мировую войну, и его известным стихотворением «Наглядное пособие», призывающим к борьбе с фашизмом.

Таково в самом кратком изложении содержание сборника.

Некоторые из помещенных в книге выдержек нуждаются в пояснениях, которые редакцией не сделаны. Так, например, Чехов в письме к Суворину из Феодосии внушает ему написать в газете о том, «чтобы деньги, затрачиваемые

на колбасный Дерптский университет, где учатся бесполезно немцы, министерство отдало бы на школы татарам, которые полезны для России». Не всякий читатель знает, что в царской России министерство народного просвещения ежегодно тратило на университет в Дерпт (Юрвее) 200 тысяч рублей, что преподавание в этом университете велось исключительно для проживавших в этом городе немцев на немецком языке и что на получаемые от русского правительства деньги Дерптский университет печатал свои немецкие издания, в том числе и такие, в которых категорически утверждалось мнимое превосходство немецкой расы над славянской.

Как ни богат собранный в книге материал, всё же и к нему можно было бы сделать некоторые дополнения. Необходимо было поместить выдержку из письма Рыльева из Парижа от 19 сентября 1815 года, где он описывает жестокое обращение пруссаков с побежденными французами, чему он сам был свидетелем. — «Наши союзники, — писал Рылев про пруссаков, — надменностью и жестокостью скоро выведут из терпения народ, в сердцах которого еще с прежней горячностью кипит любовь к независимости и к славе... Мы, русские, совсем иначе обходимся». Рылев сам слышал, как французы «громко проклинали пруссаков» (К. Ф. Рылев, «Полное собрание сочинений», изд. Academia, 1934, стр. 377—378).

Не мешало бы также поместить выдержку из стихотворения «А. С. Хомякову», написанного одним из поэтов пушкинской плеяды Н. М. Языковым, где читаем такие строки:

Враги ж твои да сокрушатся
Все, все — и тот, который смел,
В своем неведении глупом,
В разгаре чувств, кипеньи слов,
Провозгласить бездушным трупом
Русь наших умных праотцов.
Несчастный книжник! Он не слышит,
Что эта Русь не умерла,
Что у нее и сердце дышит,
И в жилах кровь еще теплая;
Что, может быть, она очнется
И встанет заново бодра!
О как любезно встрепенется
Тогда вся наша немчура:
Вся сволочь званных и незванных,
Дрянных, прилипчивых гостей,
И просвещенных палачей!

Значительно мог бы быть дополнен Герцен, посвятивший так много ярких страниц борьбе с ненавистным ему немецким засильем в России. В статье «Русские немцы и немецкие русские» Герцен вспоминает, как его отец отдавал своих дворовых мальчиков в ученье к немцам. Все эти хозяева немцы, говорит Герцен, «были неумолимые, систематические злодеи и притом какие-то беззаботные, что еще больше делало невыносимым их ти-

ранство». Немцы в России, говорит Герцен в той же статье, «глубоко презирают всё русское, уверены, что с нашим братом ничего без палки не сделаешь».

Следовало бы поместить также две небольшие заметки Герцена о немцах в России, помещенные в «Колоколе». В первой из них, относящейся к 1863 году и озаглавленной «Немцы и не немцы в Зимнем дворце», Герцен передает появившееся за границей сообщение о том, что в Петербурге «немецкая партия победила старорусскую» и затем от себя задает вопрос: «Отчего немецкая партия притихает, когда делается что-нибудь нужное, и свободно дышит, оживает, как только в России снова начинается бирюшщина, экзекуция, Ordnung und strenge Disziplin?» Вторая заметка, озаглавленная просто «Немцы», относится к 1867 году. Герцен начинает ее словами: «Откуда вта печальная масса немцев на русской службе, растущая и все не уменьшающаяся со времен шутки А. П. Ермолова?» И далее Герцен оглашает фамилии шести генералов, командовавших войсками на параде в Петербурге 15 октября 1866 года. Все шесть генералов были немцы: Дрентельн, Дубельт, Петерс, Гершау, барон Бюллер, барон Бистром. Подписал приказ о порядке парада так же немец — генерал Рихтер.

Более богато мог бы быть представлен также и Лев Толстой. Следовало бы дать его запись в дневнике 1860 года о том, какое «ужасное» впечатление произвели на него немецкие школы, «молитвы за короля, побои, всё наизусть, испуганные, изуродованные дети»; далее из «Войны и мира» столкновение Кутузова на Бородинском поле с генералом Вейротером, немцем на русской службе, затем отрывок из первой главы повести «Божеское и человеческое», где изображен генерал-губернатор южного края, «здоровый немец», подписывающий смертный приговор революционеру Светлогубу. Можно было бы также поместить слова Толстого по прочтении газетных статей о подавлении вооруженного восстания на Московско-Казанской железной дороге в 1905 году, о том, что при подавлении этом «самые жестокие дела делали люди с немецкими фамилиями» (Мин, Риман).

В сборнике должен бы занять свое место и В. М. Гаршин с его превосходным рассказом «Из воспоминаний рядового Иванова». У всякого, кто прочтет этот рассказ, навсегда останется в памяти злобная фигура ротного командира капитана Венцеля, немца на русской службе (солдаты так и звали его — Немцев), с варварской жестокостью избивавшего солдат своей роты. — «Зверь, кровопийца!» — вот что такое был Венцель по отзывам солдат.

Повторяем, однако, что уже собранный в книге материал настолько обилен и содержателен, что требует самого внимательного изучения. Все крупнейшие наши писатели и поэты, чей голос звучит нам со страниц этой книги, принадлежали к числу великолепных знатоков русской, а многие — и иностранной

жизни; все они были истинными патриотами своей страны и желали блага своему народу. И все они, отделенные друг от друга десятилетиями, а иные даже целым столетием, как бы сговорившись, говорят нам одно и то же. Они говорят о той позорной реакционной роли, какую играло пруссачество в Европе и у нас в России, где придворные и иные немцы являлись самыми ревностными слугами системы насилия и гнета, проводившейся царским правительством. Они говорят о немцах в России, как жестоких и безжалостных эксплуататорах русского трудового народа. Они говорят нам о том, как задолго до появления Гитлера в правящих кругах Германии уже культивировалась гнусная теория о том, что немецкая раса должна господствовать над миром, а славяне должны быть в подчинении у

немцев, и что этого господства Германия должна достигнуть вооруженной силой.

Таким образом, становится очевидным, что отвратительная зараза гитлеризма потому так быстро захватила худшие слои германской нации, что семена этой ядовитой заразы попали на подготовленную почву. Почву для самого дикого и разнузданного шовинизма и национализма, который в наши дни выразился в омерзительной форме гитлеризма, подготовило прусское юнкерство и самодовольное немецкое филистерство.

Этому учит выпущенная Гослитиздатом книга, и в этом ее несомненное актуальное поучительное значение для нашего времени.

Н. Гусев,

„ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА“*

Под таким названием вышла недавно в Трансжелдориздате объемистая книга писателя Льва Гумилевского. Внешне она напоминает обстоятельный справочник или учебное пособие. Этому впечатлению способствуют строго деловое название глав, многочисленные фотографии, схемы машин и, наконец, издательская марка. Но уже с первых страниц книги, написанной удивительно просто и популярно, автор увлекает нас в мир технических дерзаний, творческой борьбы, изобретательских поисков человечества.

Книга рассказывает об очень многом. И о первых паровых машинах, и об эволюции паровозного устройства, и о строительстве железных дорог во всем мире и особенно подробно рассказывает о железных дорогах в России. Но нигде читатель не почувствует искусственного расширения материала. Все в книге органично, слитно. Материал многообразен, но нет ничего лишнего и случайного.

Автор умеет рассказывать об общеизвестных вещах так, словно он присутствует при их открытии, борется за осуществление мечты изобретателя.

Так история усовершенствования паровой машины представлена, как галерея выдающихся изобретателей. Тут и Горчелли, и Герике, и Папен, и Ньюкомен, и Уатт, и знаменитый русский изобретатель Ползунов. Каждому из них посвящены две-три страницы, но в них обнаруживаются и своеобразные творческого гения каждого, и характер неизбежных заблуждений, и полет творческой фантазии, и новаторское упорство, и, наконец, особенности личной судьбы великих изобретателей, обусловленные временем и историей их народа.

В этом смысле примечательна характеристика Ползунова. О нем автор говорит: «В Пол-

зунове воплощена замечательная особенность русской технической мысли, как сходная особенность русской научной мысли олицетворена в его современнике Ломоносове. Это — способность русского ума обобщать выдающиеся явления, выводить широкие заключения, проникать в самую сущность вещей».

Обычно отцом паровоза называют Стеффенсона. Его имя запомнилось всем с малолетства. Но из книги Гумилевского мы узнаем о всех тех, кому обязан был Стеффенсон своими изобретениями, кто проложил путь к развитию железнодорожного сообщения. Пусть имена предшественников Стеффенсона не удержались в истории, но прав был автор, напомнив об этой плеяде изобретателей, ибо тем самым он вовлек читателя в увлекательный мир закономерности и преемственности технического творчества.

Во всем, о чем пишет автор, сказались не только обширная эрудиция и добросовестность, но и меткость писательского глаза, подлинная влюбленность в творческий труд.

Автор не упускает ничего, связанного со строительством и эксплуатацией железных дорог. Тут и выбор профиля, и укладка пути, и система безопасности движения, и специфика вождения различных подвижных составов. О каждом из этих процессов рассказано не только с исчерпывающей полнотой, но и с проникновением в самую суть дела, в его романтику, в его возможности и перспективы. О чем бы ни шла речь, перед вами фигуры вдохновителей, энергичных и талантливых исполнителей дела.

В книге возникают образы выдающихся русских инженеров, строителей первых железных дорог и мостов в России — Мельникова, Журавского, Белелюбского и других старых инженеров. Их работы в наши дни продолжают и совершенствуют показанные в книге талант-

* Лев Гумилевский. «Железная дорога», Трансжелдориздат, 1943.

ливые советские конструкторы и знатные железнодорожники нашей страны — такие, как Яблонский, Луниин, Кривонос.

С особенной теплотой повествует автор о людях, влюблённых в свою профессию, об энтузиастах-железнодорожниках. Используя для этого многочисленные примеры из практики железнодорожного дела в нашей стране, вкрапывая в текст яркие образцы художественной литературы, автор добивается той поэтической настроенности, которая неизменно сопутствует подлинно творческому отношению к труду.

Особенно показательна в этом смысле глава о детских железных дорогах, построенных пионерами и школьниками в СССР. В строительстве этих дорог сказались не только распространённая у нас любовь к детям, но и особенно советского воспитания, прививающего молодежи активное стремление к созидательной деятельности во имя родины. Тысячи участников этого детского строительства стали и не могли не стать выдающимися мастерами-специалистами железнодорожного хозяйства, его патриотами, связавшими свою судьбу с раз-

витием транспорта—одной из важнейших жизненных артерий государства.

Много интересного и поучительного рассказывает автор о работе железных дорог, их роли и значении в дни Отечественной войны...

А. М. Горький, рисуя перед писателями увлекательные перспективы всестороннего развития нашей литературы, писал, что у нас не должно быть «резкого различия между научно-популярной книгой и художественной литературой». Прошел сравнительно короткий срок, и перед нами — книга, которая может служить примером выполнения этого горьковского завета.

Простота, доступность, широта даваемых сведений и поэтическая влюблённость в предмет описания делают книгу не только познавательной ценной, но и воспитательно значимой. Она, несомненно, вызовет интерес молодежи еще и потому, что сама жизнь дана в ней живо, увлекательно и взволнованно.

О. Резник.

✽

АЛИШЕР НАВОИ И ЕГО ПОЭМА „ФАРХАД И ШИРИН“*

Государственное издательство Узбекской ССР выпустило на русском языке поэму Алишера Навои «Фархад и Ширин» в переводе Л. М. Пеньковского.

Книга снабжена предисловием профессора Е. Э. Бертельса, в котором читатель найдет сжатую и ясную характеристику эпохи Навои, биографию поэта, оценку его творчества и необходимые сведения о переведенной поэме.

Таким образом, теперь, во время войны, русский читатель впервые получил возможность ознакомиться с Навои по одному из лучших его поэтических созданий.

Алишер Навои — один из величайших и культурных деятелей Востока.

Пробуждение национального самосознания всегда находит свое выражение прежде всего в утверждении родного языка. Ломоносов теоретически и практически доказывал богатство, силу, гибкость и выразительность русского языка. В качестве ратоборца за родной узбекский язык выступил Алишер Навои, потому что до него узбекский язык считался языком низкой и грубой черни в отличие от персидского, игравшего для Востока роль основного литературного языка. В «суждении о двух языках» Навои, вполне аналогично Ломоносову, с жаром оспаривал антидемократический и реакционный взгляд, согласно которому на узбекском языке «нельзя выражать глубокие тонкие мысли и чувства».

Борьба за родной язык была вместе с тем для Алишера Навои борьбой за популяризацию науки и искусств, за распространение их в среде родного народа. Великий узбек говорил в «Лейли и Меджнун», что пишет свое произведение на «тюркском» (то-есть, на старом узбекском) языке для того, чтобы им могли наслаждаться его сородичи и соотечественники, «ибо много завелось на свете тюрков с прекрасной природой и широким разумом, и тонким вкусом».

В «Фархаде и Ширин» Навои с гордостью указывает, что он первый из восточных поэтов стал писать на языке «тюрки» (во времена Навои узбекский народ не получил еще своего теперешнего наименования):

Я — не Хосров, не мудрый Низами.
Не шейх поэтов нынешних — Джами,

Но так в своем смиренни скажу:
По их стезям прославленным хожу.

Пусть Низами, победоносный ум,
Завоевал Берда, Ганджу и Рум:

Пусть был такой язык Хосрову дан,
Что он завоевал весь Индустан;

Пускай на весь Иран поет Джами,
В Аравии в литавры бьет Джами,

Но тюрки всех племен, любой страны,
Все тюрки мной одним покорены!

И от Шираза до степей туркмен
От Хорасана до китайских стен,

* Алишер Навои. «Фархад и Ширин». Пер. Л. Пеньковского. изд. УЗБССР, 1943.

Где б ни был тюрк, — под знамя
тюркских слов
Он добровольно стать всегда готов.

И эту повесть горя и разлук,
Страстей духовных и высоких мук —
Всем собственным невзгодам вопреки,
Я изложил на языке турки.

На плечи человека, выступающего в роли трибуны новых, только-что родившихся общенациональных потребностей, падает труд критики старых основ существования. Поэтому вожди и руководители общественного самосознания в эпоху прогрессивных общенародных движений всегда выступали в роли энциклопедистов. Энциклопедистами были деятели Ренессанса, энциклопедистом был и наш Ломоносов, энциклопедистом, в соответствии с характером своего времени и своей страны, был и Алишер Навои, действовавший в Герате, столице султана Хусейна. Навои был поэтом, филологом, богословом, историком, он знал современное ему естествознание и медицину, музыку, живопись и архитектуру, был государственным деятелем, наставником нравов, воспитателем целого поколения молодых художников и поэтов. По словам его биографа Гиясаддина Хондемира, он «взял на себя труд решать дела людей, ответственность за нужды избранных и простых, веденье дел царства и народа и устройство обстоятельств веры и управления. И тем не менее, по обычному своему правилу, он посвящал время, счастливое благими днями, исправлению слов, проверке мыслей, установлению доказательств, разрешению вопросов, раскрытию тайн наук, основанных на предании, и изяснению тонкостей умозрительного знания».

Навои ненавидел ханжество и торговство, он разоблачал корыстолюбие, паразитический образ жизни. Задачу правителя он видел в удовлетворении нужд народа. Он смело бичевал самодурство и произвол восточных самодержцев и феодалов, за что не раз платился немилостью и изгнанием.

Творчество Навои согрето симпатиями к простому народу, к людям труда. В одном из своих стихотворений Навои в остроумной и яркой форме выразил и осуждение тирании, и любовь к простому народу. «В строительстве государства, — говорит поэт, — тиран и справедливый не одно и то же, ибо одно дело, когда свинья взрыхляет почву, и другое дело, когда это делает крестьянин. Крестьянин, вспахав невозделанную землю, возделывает ее, а свинья, напротив, своим рылом губит возделанную почву». Навои, в век, когда феодально-клерикальное мировоззрение рассматривало труд, как унижение достоинства свободного человека, воспел творческий характер труда. Общепольный труд рождает любовь народа, трудовой подвиг, как красота и воинская доблесть вызывают женскую любовь. Искусный мастер равен богатырю. Фархад — каменотес, ирригатор и зодчий. Он не мог равнодушно смотреть на тяжкий и изнурительный труд простых людей. В Армении, в поисках Ширин, он уви-

дел, вместе с другом своим Шапуром, как строители прокладывали в скалистой почве арку.

У Фархада сердце сжалось от сочувствия, боли и жалости. Он решил помочь измученным рабочим:

Оставить их не мог беспечно он:
Горн попросил и мех кузнечный он,

И кожаный передник он надел,
И к делу приступил он, как умел.

Мех осмотрев и не найдя прорех,
Соединил затем он с горном мех,

Засыпал уголь, плюнул на ладонь
И начал в горне раздувать огонь.

Затем — негодны будь иль хороши —
Велел собрать он все кирки, тиши.

И все затем забросил в горн, и стал
Переплавлять весь собранный металл.

А переплавив, начал ковку он,
Ковал с особенной сноровкой он:

Ковал кирки подстать своим рукам:
Одна — равнялась десяти киркам!...

И вот Фархад уже долбит богатырскою рукою
гранит.

Ударом посильнее валит он
Такую глыбу, — не осилит слон.

А послабее нанесет удар,
И то обломка хватит на харвар...

Так, богатырскою своей киркой,
Свершить успел он за день, труд такой,

Который непосилен был двумстам
Работавшим три года мастерам.

Фархад один проложил водоснабжающий канал и выдолбил в цельной скале дворец. За строительные подвиги и полюбила его Ширин, армянская царица.

Навои славил не только труд, он славил силу человеческого разума, он верил в науку и ее способность обновить и украсить жизнь. В исторических условиях, когда голова любого подданного могла слететь при первой прихоти правителя, когда на рынках свободно торговали рабами, Навои выработал и воспел идеал человеческого достоинства, независимого от национальных и сословных различий. Из истории демократических идей в России и Европе мы знаем, какой освободительной силой обладала идея ценности человеческой личности. Мало того, минуя многие вековые предрассудки, Навои ставил в связь ценность человека непосредственно с народом, с народным благом. Один из поэтических афоризмов Навои гласит: «Если ты человек, то не называй человеком того, кто не проявляет заботы о нуждах народа». Понятие человеческого достоинства Навои переносил и на жен-

* Харвар — мера веса, равная приблизительно тремстам килограммам.

щину. Женщина нигде не считалась тогда равной мужчине. Ей поклонялись, как предмету любви, ее воспевали, как объект красоты, но за ней не признавали никаких прав. Мусульманский религиозный обычай превратил жизнь женщины в вечное заключение. Даже наряд для женщины был выработан униженный и страшный, являвшийся как бы тюремной клеткой, надетой на женщину, и передвижавшийся вместе с нею. А вот Ширин, и передвижавшийся вместе с нею. А вот Ширин, обсуждая со своей матерью Бану сватовство влого шаха Хосрова, сопровождаемое угрозами, произносит следующие гордые слова:

О, одинокий мученик, Фархад!
Прости: так будет лучше мне, Фархад!
Я — лишь мечта твоя, однако ты
Пожертвовал всей жизнью для мечты.
И мне, поверь, достаточно само
Сознание, что ты в мечте — со мной...
Но, джан Бану, когда б и лучший друг
Своей любви лишил меня бы вдруг,
То с гордостью свой прожила б я век,
В сознание, что я все же — человек!
А плен — мне страшен. Если средство
есть,
То пусть Бану мою спасает честь,
А если нет, — его найдет Ширин!
Сама себя тогда убьет Ширин!

Уважение к достоинству женщины наполнило поэзию Навои страстью и нежностью, гимнами в честь любви и любимой, лирикой радости и любовного горя.

Навои пламенно любил свою родину. Он знал, что враги беспощадны и безжалостны. Поэтому он призывал сограждан защищать свою землю до последнего вздоха, чтобы изгнать и уничтожить иноплеменных завоевателей, опустошительных, как саранча.

Многие изречения Навои и сегодня звучат, как боевые лозунги, как призыв, мобилизующий против врага.

Этот важный и значительный круг идей облачен у Навои в своеобразную поэтическую форму, выработанную восточной культурной традицией и характеризующую оригинальные особенности узбекской национальной жизни. Как у всякого оригинального гения, у Навои свое лицо, которое легко отличить, несмотря на то, что он охотно — по обычаю Востока — разрабатывал сюжеты, уже использованные другими известными поэтами. Так поэма «Фархад и Ширин» по сюжету является видоизмененной обработкой сюжета «Хосров и Ширин» — Низами. Идей поэзии Навои естественно отличаются по степени зрелости от более поздних идей европейских просветителей и гуманистов, действовавших в более развитых исторических условиях. Необходимо и важно

отметить, однако, что в лице Навои узбекский народ, уже пять веков тому назад, сделал заявку на идеалы, к осуществлению которых стремились все передовые народы.

«По внешнему облику Фархад, — пишет Е. Бертельс в своем предисловии, — типичный сказочный царевич. Но помимо всех полагающихся ему по сану доблестей, он обладает одной чертой, которая явно приводит нас в Ферат XV века. Это — его страстная любовь ко всякому человеческому умению, его жажда самому лично постигнуть тайны всех искусств и ремесел. Вторая, необычайная и, пожалуй, среди гератских царевичей не так-то уж часто встречающаяся черта — его любовь к народу, его стремление облегчить его страдания, не подвергать его никаким насилиям. Крайне характерно, что Фархад может уйти из плена Хосрова, но не хочет этого делать, так как тем самым обрек бы на смерть ни в чем неповинных стражей темницы. Даже и воинов вражеского стана Фархад жалеет, понимая, что они воюют не по собственному почину, что виновники бед Армении — не они, а носители власти.

Едва ли можно сомневаться в том, что в образ Фархада Навои вложил целый ряд своих собственных черт: и свой величавый гуманизм, и ненависть к насилию и гнету, и любовь к искусству и ремеслам, и неутолимую жажду знаний».

Читатель, дойдя до конца доступной ему сейчас поэмы Навои, не может не признаться справедливости этих слов.

Наследие Навои подвергалось искажениям и жетолокованиям. Передки были попытки отнять у произведений Навои всякое самостоятельное значение. Но все это были покушения с негодными средствами. Имя и творения Навои жили в памяти народа.

Сейчас Навои введен в круг общепризнанных писателей всех братских советских республик.

«Фархад и Ширин» на русском языке передано также и предисловие переводчика. Л. М. Пеньковский рассказал не только о трудностях и условиях своей работы, он раскрыл особенности стиля Навои и объяснил, какими средствами он передал эти особенности на русском языке.

Переводчик не следовал пунктуально технико-стилевым особенностям оригинала. Он поставил себе целью сохранить колорит творчества Навои и в то же время не затруднять для русского читателя восприятие поэтического мира Навои. Насколько может судить русский читатель, переводчик осуществил поставленные им себе задачи.

В. Кирпогин.

СЛАБАЯ КНИГА О СИЛЬНОМ ЧЕЛОВЕКЕ*

Интерес к личности Надежды Дуровой, знаменитой девицы-кавалериста, у нас не прекращался со времен Пушкина. Но за последние годы он, естественно, усилился, и сразу появилось несколько произведений и пьес об этой замечательной женщине. Небольшая книга Н. Кальмы ставит себе целью изображение Дуровой специально для детского читателя. Это, бесспорно, хорошая мысль.

Надо, однако, признать, что автор не справился со своей благодарной темой. Общий колорит книги сер и бледен. Это вообще не военная книжка, военного духа в ней не чувствуется, и вдобавок, она не свободна от ряда промахов чисто фактического порядка, притом промахов столь элементарных и бьющих в глаза, что, я уверен, внимательные ребята, начитанные в военной литературе, — а их у нас миллионы, — без труда их обнаружат.

Как известно, скрывшись из родительского дома и переодевшись в мужское платье, юная Дурова становится сначала рядовым казаком Соколовым, далее рядовым уланом Соколовым и лишь впоследствии получает офицерский чин вместе с фамилией Александровой (по своему отчеству). Но вот послушайте, как этот рядовой разговаривает с офицером:

«— Не хотите ли сесть на мою лошадь?»

— Ах, сделайте милость, друг мой, — отвечал едва слышно офицер».

Стиль разговора, как видите, совершенно салонный. Читатель недоумевает: почему это офицер эпохи Александра I обращается к солдату на «вы», а солдат к офицеру — без прибавления классического «ваше благородие». Но удивляться не приходится: несколькими страницами далее беседа подобного же стилистического происхождения у Соколова даже и с генералом:

«— Я вызвал вас к себе, чтобы сказать вам, юноша, что храбрость ваша сумасбродна, — начал генерал наставительно. — Вы бросаетесь в пыл битвы, когда не должно, ходите в атаку с чужими эскадронами. Среди сражений вы спасаете встречного и поперечного, отдаете свою лошадь тому, кто вздумает ее попросить... Я выведен из терпения вашими шалостями, — повысил голос генерал, — сию же минуту отправляйтесь в вагенбург**».

— Мне — в вагенбург? — пролепетал бледный Соколов. — Мне?!»

Все это — совершенные пустяки. Спасать в бою офицера, оказывать ему помощь, проявлять храбрость, — первейшая обязанность и заслуга солдата, ни один генерал не мог назвать это сумасбродством, а спасаемого офицера хотя бы и из чужой воинской части — «первым встречным и поперечным», как никогда не обращался к солдату в форме: «юноша» и на «вы». У Кальмы же это салонное «вы» употребляет в обращении к рядовому не только офицер и генерал, но даже сам царь, кото-

рый в те времена, как известно, обращался обычно на «ты» даже и к генералам. Кста-ти сказать, и весь разговор Дуровой с Александром I — нелеп до комизма:

«— Вы спасли от гибели Панина? Расскажите, как это было».

И Надя Дурова, забыв о том, что ее слушает царь, с увлечением принялась рассказывать, какое это замечательное дело, — ходить в атаку, как она себя не помнила в первом сражении, как вдруг увидела оранжевый воротник нашего офицера и шестерых французов, налетевших на него.

— Вшестером на одного — вот подлость! Вы только подумайте, ваше величество, как воронье, налетели! — говорила Надя, размахивая потмахлышески руками и трясая головой. — Ну, я, как увидел, давай ходу! Пику наперевес, сам кричу, свищу, гикаю, лицо у меня, верно, как у чорта, было, они вдруг шасть — враспынную...

Тут она оглянулась на царя и увидела его снисходительное, рассеянное лицо».

Подобным образом изображают «сражения» дошкольницы в утрированной передаче актрисы Рины Зеленой, но никак не рядовой улан-царю. Замечательно, между прочим, и это «оглянулась», хотя собеседник стоит лицом к лицу с рассказчиком..

Стиль же неважно обстоит дело с языком книги, особенно там, где автор пытается архаизировать речь своих героев или передает разговор простых людей. Например, Перфяшка, денщик отца Дуровой, обращается к ней, показывая на подарок жениха:

«— Вон на столе щикатулка лежит, велено вам передать».

Почему легко произносимое «шкатулка» превращена в труднопроизносимую фонетическую примасу «щикатулка», и почему она «лежит» на столе, а не стоит — непонятно.

Исторические источники использованы автором небрежно, даже такие, как «Война и мир». Так, у Толстого мы читаем: «Кутузов... прикладывал руку к белой кавалергардской (с красным околышем и без козырька) фуражке, которая была на нем». При этом отмечено, что Кутузов сидит верхом «на невысокой гнедой лошадке».

Кальма непринужденно вносит легкую поправку: Кутузов едет «на гнедой крупной лошади». Ладно, пусть будет на крупной, но и фуражка Кутузова, тоже явно взятая напрокат у Толстого, не удовлетворяет Кальму, идет в переделку и фуражка: Кутузов оказывается «в белой фуражке без околыша». Прочтет это место какой-нибудь малыш и расхохочется: «Что за ерунда, как это фуражка может быть без околыша?»

Хороши в книжке только рисунки Н. Кузьмина, немногочисленные, но выразительные, точно сделанные и отлично передающие стиль эпохи.

* Н. К а л ь м а. «Девушка-кавалерист», Детгиз, 1943.

** Военный обоз.

КОРОТКО О КНИГАХ

Акад. Е. В. ТАРЛЕ — «Нахимов». *Военмориздат, 1943.* — Обстоятельно и талантливо написанный очерк о жизни и деятельности великого русского флотоводца и патриота адмирала Нахимова будет, несомненно, встречен читателем с большим вниманием. Фигура замечательного русского адмирала, его героическая натура, кодекс воинской чести, бережное и любовное отношение к матросам, беззаветная преданность своему делу и целеустремленная любовь к военно-морской службе—все это делает образ Нахимова незабываемым примером, сила которого полностью сохраняется и в наши дни.

Об этом академик Тарле сумел рассказать не только исторически точно и подробно, но и с тем патристическим пафосом и вдохновением, которые так близки нам сейчас, когда горячая память о второй, еще более грандиозной Севастопольской эпопее. Это одна из тех книг, где историческая наука шествует рука об руку с поэзией, где эрудиция историка нашла соответствующее художественное выражение.

П. КАПИЦА — «Борис Сафонов». *Военмориздат, 1943.* — Книжка вышла в серии «Моряки-герои Советского Союза». Автор рассказывает в ней о выдающемся летчике, дважды Герое Советского Союза, гвардии подполковнике Борисе Феоктистовиче Сафонове. Талантливый представитель советской молодежи, биография которого напоминает обычный жизненный путь миллионов советских подростков, Борис Сафонов сумел упорным, самоотверженным трудом добиться выдающегося летного мастерства. О воинском его умении, о целеустремленном волеом характере, о пламенной силе патристического чувства рассказано в этом небольшом очерке.

А. ПЛАТОНОВ — «Бессмертный подвиг моряков». *Военмориздат, 1943.* — Изданная в той же серии, книжка эта рассказывает о пяти моряках-черноморцах: Фильченко, Красносельском, Цыбулько, Одинцове и Паршине. Весть о бессмертном подвиге этих советских патристов облетела весь мир и глубоко взволновала народы Советского Союза. В неравном бою с вражескими танками пятеро храбрцев не отступили ни на шаг и, когда не оставалось много выхода, предпочли отступлению героическую гибель. Обвязав себя гранатами, пятеро героев бросились под вражеские танки, преградив им путь своей смертью.

Об их жизни, воинской доблести и бессмертном подвиге писатель повествует ярко и вдохновенно. Образ каждого из героев возникает в этой книге во всем обаянии простоты, силы и внутренней красоты.

Э. ВИЛЕНСКИЙ — «Сын Белоруссии». *«Молодая гвардия», 1943.* — Изданная в серии «Герои Отечественной войны», книжка эта уже знакома многим читателям по газете «Известия», где печатались очерки о выдающемся

руководителе белорусских партизан, инженере Заслонове. Автору удалось передать замечательные черты героя—народного мстителя, действовавшего в особенно сложных условиях.

Своеобразие партизанской борьбы, мужество, выдержка и изобретательность Заслонова показаны в очерке ярко и правдиво.

Издательство «Молодая гвардия» правильно поступило, напечатав очерки Виленского отдельной книжкой. Она будет с интересом прочитана советской молодежью.

И. АРАМИЛЕВ — «Крылья победы». *«Молодая гвардия», 1943.* — Изданная в той же серии «Герои Отечественной войны», книжка И. Араμίлева посвящена дважды Герою Советского Союза летчику Александру Молодечу. Имя его широко известно. Оно связано с налетами советской авиации дальнего действия на логово врага—Кенигсберг, Берлин и др. Молодчий—самообытный, яркий мастер бомбардировочной авиации. О своей боевой работе он сам интересно и увлекательно рассказал в записках, напечатанных в журнале «Октябрь». Можно было ожидать, что писатель найдет живые краски и слова для изображения этого незаурядного характера. Однако автор не пошел дальше информационной добросовестности, с которой описаны боевые дела летчика. Книга во многом проигрывает из-за крайней сухости и серости языка. Это снижает ее художественное воздействие на читателя.

А. ЕРИКЕЕВ — «Салават Карымов». *«Молодая гвардия», 1943.* — Книга рассказывает об отважном сыне татарского народа, Герое Советского Союза Салавате Карымове. Поэтически-взволнованно повествует автор о детских годах героя, об его преданности своей родине, ее людям, нравам и обычаям. В книге показано укрепление в рядовом бойце Красной Армии великого чувства патристической любви к советской земле и неистребимой ненависти к ее врагам. С этим чувством в сердце совершает свои подвиги Салават Карымов, очерк о котором, несомненно, запомнится читателю.

А. МАРЬЯМОВ — «Иван Сивков». *«Молодая гвардия», 1943.* — В книжке рассказано о подвиге бойца морской пехоты, комсомольца Ивана Михайловича Сивкова.

Жизнь этого Героя Советского Союза, взорвавшего себя гранатой вместе с окружавшими его врагами, оборвалась на самой заре юности. Но подвигом своим Иван Сивков вошел навсегда в историю советского народа.

Автору удалось выразительно обрисовать краткий жизненный путь Сивкова. Детство его с мечтами о подвиге, стремление в авиацию, первые шаги на военно-морской службе, его настойчивое желание поскорее попасть в бой, всё это как бы внутренне подготовило ту решающую минуту воинского вдохновения, когда Иван Сивков отдал жизнь за счастье родины.

и умер, как стойкий защитник ее славы. В силе изображения его патристического чувства — глубокий смысл и воспитательное значение книжки.

А. ГОРОБОВА—«*Политрук Клочков*». «*Молодая гвардия*», 1943. — Книжка посвящена одному из выдающихся героев Отечественной войны, возглавлявшему 28 гвардейцев-панфиловцев. Вместе с их бессмертным подвигом в историю вошли слова политрука, слова потрясающего значения и внутренней красоты: «Велика Россия, а отступать некуда — за нами Москва».

Изображение подвига Клочкова, характеристика этой исключительной и вместе с тем глубоко типичной фигуры представителя советского народа требует от художника подлинной силы вдохновения, творческой страсти, живых слов.

Когда читаешь книгу Горобовой, сразу становится ясным, что автор взял себе задачу не под силу. Волнующая повесть о патристическом героизме превратилась в сухой пересказ анкетных данных и цитирование выдержек из писем Клочкова к своей семье. Автор не нашел ни одного точного образа, ни одного свежего слова для изображения биографии, чувств и устремлений героя, описания последней величественной страницы его жизни. Удивления достойно то странное равнодушие издательства, с которым оно отнеслось к этой книжке, поручив ее неопытному и малоталанливому автору.

ЛЮДАС ГИРА. — «*Слово борьбы*». Гослитиздат, 1943. — Читатель с интересом прочтет этот сборник стихов одного из крупнейших народных поэтов Литвы Людаса Гиры.

В фашистском рабстве ты, Литва
родная.

Но ты не покорисься никогда.
В крови ты задыхаешься, страдая,
Но духом ты свободна и горда.

Так начинается стихотворение «Порабощенной родине», которым открывается книга.

Стремлением к борьбе, яростью к врагу, проникнуты все стихи Людаса Гиры. Страдания и боль поэта за землю, оскверненную врагом, передают те чувства всего литов-

ского народа, которые порождают жажду расплаты с захватчиками, стремление к патристическому подвигу. Верой в светлое будущее Литвы, проникнута эта книга.

СТЕПАН ШИПАЧЕВ—«*Отчизна*». Гослитиздат, 1943. — В этот сборник входит 50 стихотворений. Большинство из них написано до Отечественной войны. Из старых стихов вошли такие известные вещи поэта, как «Первый москвич», «Дворец Советов», «Папанинцы», «У могилы бойца» и др. Короткие лирические стихи Шипачева передают настроение влюбленности в родную природу и землю, душевные порывы советского человека, которые питают в нем доблесть, отвагу, преданность родине, стойкость в бою.

БОРИС ЛАВРЕНЕВ—«*Портрет*». Военмориздат, 1943. — В этой книжке три рассказа: «Старуха», «Портрет», «Бугай». Первый из них широко известен читателям и радиослушателям. «Старуха» — удачный и сильный рассказ о советских моряках, попавших в оставленную оккупантами деревню, об их встрече с женщиной, облик которой как бы выразил всю глубину горя и муки, испытанных народом под пятой гитлеровцев. Этот рассказ о великой ненависти, овладевающей советскими людьми при виде фашистских злодеяний, нельзя читать без волнения. Той же теме посвящены и два остальных рассказа. Проникновенный лиризм рассказа «Портрет» и жизнерадостный юмор рассказа «Бугай» так же привлекут читателя.

А. НИКУЛИН—«*Самолет не вернулся на базу*». Рассказы. «Советский писатель», 1943. — В книгу входят повесть «Самолет не вернулся на базу» и рассказы «Душа кавалериста», «Костя Бессмертный», «Вторая жизнь», «Лейтенант Шумский» и «Бирнамский лес». «Самолет не вернулся на базу» — одна из первых попыток создания приключенческой повести на материале Отечественной войны. Попытка эта в малой степени удалась автору. Повесть немногим отличается от обычных очерков о том или ином боевом эпизоде. К тому же типу очерков должны быть отнесены и другие помещенные в книжке рассказы. Написаны они литературно умело, читаются легко, но лишены внутренней поэтической силы.

Редколлегия: М. М. Розенталь, В. П. Ставский, А. А. Сурков, А. Н. Толстой, К. А. Федян, М. А. Шолохов, В. Р. Щербина (ответственный секретарь).

Редакция: Москва, 6, Пушкинская площадь, 5.
Издательство: «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».

Подписано к печати 25/IX—11/X 1943 г.
A2636. 8 печ. листов. Тираж 50.000. Мок. 2451.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР». Москва, Пушкинская пл., 5.